# Сатанинское танго

# Ласло Краснахоркаи

Перевод В. Т. Середы

Тогда я предпочел бы пропустить его,

дожидаясь здесь.

Ф. К.[[1]](#footnote-1)

## Часть первая

### I. Весть о том, что они идут

В один из последних дней октября, на рассвете, еще до того, как на западной стороне поселка на потрескавшийся солончак падут первые капли немилосердно долгих осенних дождей (и до самых заморозков море зловонной грязи зальет все дороги, отрезав поселок от города), Футаки пробудился от колокольного звона. В четырех километрах к юго-западу от поселка, в бывшем владенье Хохмайса, стояла заброшенная часовня, но там не то что колокола не осталось, но и сама колокольня была разрушена еще во время войны, ну а город слишком далеко, чтобы оттуда хоть что-нибудь было слышно. И вообще, торжествующий этот гул вовсе не походил на отдаленный звон; казалось, ветер подхватывал его где-то рядом («Вроде как с мельницы...»). Привстав на локте, он всмотрелся в крохотное, как мышиный лаз, оконце кухни, но за полузапотевшим стеклом поселок, омываемый утренней синевой и замирающим колокольным звоном, был нем и недвижен; на противоположной стороне улицы, в далеко отстоящих один от другого домах, свет пробивался только из занавешенного окна доктора, да и то потому лишь, что вот уже много лет он не мог заснуть в темноте. Футаки затаил дыхание, чтобы в отливной волне колокольного звона не упустить ни единой выпавшей из потока ноты, ибо хотел разобраться в происходящем («Ты, никак, еще спишь, Футаки...»), и потому ему важен был каждый, пусть даже самый сиротливый звук. Своей известной кошачьей походкой он бесшумно проковылял по ледяному каменному полу кухни к окну и, распахнув створки («Да неужто никто не проснулся? Неужто никто не слышит, кроме меня?»), высунулся наружу. Лицо обдал едкий, промозглый воздух, и ему пришлось ненадолго закрыть глаза; но тщетно он вслушивался в тишину, которая от петушиного крика, отдаленного лая собак и от завывания налетевшего несколько минут назад резкого беспощадного ветра делалась только глубже, он ничего не слышал, кроме собственного глухого сердцебиения, будто все это было лишь наваждением полусна, какой-то игрой, будто просто «кто-то меня напугать решил». Он тоскливо взирал на зловещее небо, на обуглившиеся ошметки лета, не доеденные прожорливой саранчой, и вдруг, присмотревшись к ветке акации за окном, увидал, как следуют чередой друг за другом весна, лето, осень, зима, как будто в застывшем кристалле вечности выкидывало свои фортеля само время, прочерчивая сквозь сутолоку хаоса дьявольские прямые, творя иллюзию высоты и выдавая блажь за неотвратимость... и увидал себя, распятого меж колыбелью и гробом, мучительно дернувшегося в последней судороге, чтобы затем, по чьему-то сухому трескучему приговору, в чем мать родила — без знаков различия и наград, — быть переданному мойщикам трупов, хохочущим живодерам, в чьих расторопных руках он уж точно познает меру дел человеческих, познает ее окончательно и бесповоротно, ибо он к тому времени уже убедится, что всю жизнь играл с шулерами в игру с заранее известным исходом, под конец которой он лишится последнего средства защиты — надежды когда-нибудь обрести дом. Повернув голову на восток, к строениям, когда-то шумным и полным жизни, теперь же пустынным и обветшалым, он с горечью наблюдал, как первые лучи раздутого красного солнца пробиваются сквозь стропила полуразрушенной, с ободранной крышей, фермы. «Надо решаться, в конце концов. Нельзя мне тут оставаться». Он снова забрался под теплое одеяло и подложил руку под голову, но не смог сомкнуть глаз: этот призрачный колокольный звон напугал его, но еще больше пугала внезапная тишина, угрожающее безмолвие, потому что он чувствовал, что в эту минуту может произойти что угодно. Но ничто вокруг не пошевелилось, он и сам лежал на кровати не шевелясь, пока между молчаливыми до сих пор окружающими предметами не завязался встревоженный разговор (скрипнул дверцей буфет, громыхнула кастрюля, скользнула на место фарфоровая тарелка), и тогда, неожиданно повернувшись в постели, он отпрянул от пахнувшей потом госпожи Шмидт, нашарил рукой приготовленный на ночь стакан с водой и залпом осушил его. Это освободило его от детских страхов; он вздохнул, отер взмокший лоб и, зная, что Шмидт и Кранер в Соленой Пади еще только сбивают скот в стадо, чтобы затем отогнать его в расположенное к северу от поселка хозяйство, где они наконец-то получат деньги за тяжкие восьмимесячные труды, после чего пустятся в обратный путь, который займет у них добрых пару часов, он решил, что можно еще вздремнуть. Футаки смежил глаза, повернулся на бок, обнял женщину и почти уже задремал, когда снова услышал звон колокола. «Что за черт!» — откинул он одеяло, но едва его голые шишковатые стопы коснулись холодного пола, звук опять прекратился («Будто знак кто-то подает...»). Сгорбившись и сцепив на коленях руки, он сидел на краю кровати; его взгляд упал на пустой стакан, у него пересохло в горле, ныла правая нога, и он уже не решался ни встать, ни забраться назад в постель. «Завтра же и уйду». Он окинул глазами еще в целом пригодную к делу утварь убогой кухни — плиту, заляпанную пятнами жира и пригоревшей пищи, заброшенную под плиту кошелку с оторванной ручкой, колченогий стол, запылившиеся иконки, висящие на стене, горшки и кастрюли, сваленные в углу у двери; наконец, он повернулся к уже прояснившемуся окошку, увидел за ним голые ветви акации, дом Халичей с провалившейся крышей и кривой трубой, из которой шел дым, и сказал себе: «Заберу свою долю, и прощевайте! Сегодня же вечером!.. В крайнем случае — завтра! С утра!» — «О боже!» — вскрикнула рядом с ним госпожа Шмидт; она в ужасе озиралась по сторонам, грудь ее тяжело вздымалась, но когда поняла, что из мрака на нее глядят знакомые вещи, то облегченно вздохнула и откинулась на подушку. «Что, приснилось чего?» — спросил Футаки. Госпожа Шмидт, все так же испуганно, уставилась в потолок. «Не приведи господь! — вздохнула опять она и положила руку себе на сердце. — Чтоб такое!.. Ты только представь себе... Сижу в комнате, и вдруг... стук в окно. Я, конечно, открыть его не посмела, просто стала у занавески и выглянула украдкой. Но увидела только спину, потому что он дергал уже ручку двери... И рот видела, который что-то кричал... но понять ничего было невозможно... Рожа у мужика небритая, а глаза будто бы из стекла... Чистый кошмар... А я еще спохватилась, что дверь вечером на один всего оборот заперла и что, пока доберусь до нее, будет поздно... поэтому быстро захлопнула дверь на кухню, но потом поняла, что от нее у меня нет ключа. И стала было кричать, но так и не выдавила из себя ни звука. А потом... я не помню... с чего, почему... в окно неожиданно заглянула Халич — заглядывает и смеется... ну, ты знаешь эту ее ухмылочку... в общем, она заглянула на кухню... потом вдруг пропала... а мужик тот уже ногами колотит в дверь, еще секунда, и он ее высадит, и я вспомнила тут про хлебный нож, метнулась к буфету, но ящик заклинило, я его дергаю, умирая от ужаса... потом слышу, бах, дверь повалилась, и он уж по коридору топает... а ящик, хоть тресни, не поддается... мужик тот уже в дверях стоит... я наконец открываю ящик, хватаю нож, он размахивается, кидается на меня... и не знаю, как это вышло... только вижу, он уж лежит в углу, под окном... да, при нем еще были кастрюльки, синие, красные... все они разлетелись по кухне... а потом я почувствовала, как под ногами двинулся пол, представляешь, вся кухня куда-то поехала, будто автомобиль... а что было дальше, не помню...» — закончила она и с облегчением рассмеялась. «Ну мы с тобой хороши! — покачал Футаки головой. — А я, представляешь, проснулся от колокольного звона...» — «От звона?! — изумленно выпучилась она. — Да откуда здесь колокол?!» — «И сам не пойму. Причем дважды звонили, подряд...» Тут уже головой закачала госпожа Шмидт: «Так и сбрендить недолго». — «Или, может, мне это тоже приснилось, — проворчал растревоженный Футаки. — Помяни мое слово, сегодня что-то стрясется...» Она рассерженно повернулась к нему спиной: «Ты вечно так говоришь, неужто не надоело?» И тут вдруг они услыхали, как заскрипела садовая калитка. И в страхе переглянулись. «Это он! — прошептала госпожа Шмидт. — Я чувствую». Футаки нервно сел: «Как же так... не может такого быть! Они еще не могли вернуться...» — «Да почем мне знать!.. Шевелись!» Он выскочил из постели, подхватил одежду и, затворив за собой дверь горницы, быстро оделся. «Палка, черт побери. Я оставил там свою палку». Горницей Шмидты не пользовались с самой весны. Сначала зеленая плесень покрыла стены, затем в платяном шкафу, дряхлом, но регулярно начисто протираемом, заплесневели одежда, полотенца и все постельные принадлежности, а еще через пару недель поржавели приберегаемые для особых случаев столовые приборы, расшатались ножки покрытого кружевными салфетками большого обеденного стола, а когда пожелтели оконные занавески и в один прекрасный день отключился свет, хозяева окончательно перебрались на кухню, оставив горницу во власти пауков и мышей, с которыми все равно не могли ничего поделать. Прислонившись к дверному косяку, Футаки стал размышлять, как ему незаметно отсюда выбраться. Но положение выглядело достаточно безнадежным — улизнуть он мог только через кухню. Для того же, чтобы сигать в окно, он чувствовал себя староватым, да и заметят его, потому как госпожа Халич и госпожа Кранер постоянно высматривают, что происходит на улице. А тут еще эта трость — если Шмидт ее обнаружит, то сразу смекнет, что он скрывается где-то в доме, и тогда Шмидт, который в подобных делах, как известно, не шутит, может лишить его доли, и придется Футаки убираться с тем, с чем явился сюда семь лет назад, через пару месяцев после того, как пошла молва о здешнем преуспевании, — то есть в единственных драных штанах и видавшем виды пальто, с пустыми карманами и голодным брюхом. Госпожа Шмидт кинулась в коридор, а Футаки прильнул ухом к двери. «Никаких возражений, кисуля! — послышался хриплый голос Шмидта. — Будешь делать, что тебе говорят! Поняла?» От волнения Футаки бросило в жар. «Мои денежки!» Он чувствовал себя в западне. Но времени на размышления не было, и он все же решил лезть в окно, потому что «тут надо незамедлительно что-то предпринимать». Он уже потянулся к оконной ручке, когда услышал, что Шмидт прошагал в конец коридора. «Побрызгать пошел!» Он на цыпочках вернулся к двери и, затаив дыханье, прислушался. Когда за Шмидтом захлопнулась дверь, что выходила на задний двор, он осторожно выскользнул в кухню, окинул взглядом отчаянно замахавшую руками госпожу Шмидт, без единого звука прошел к входной двери, быстро выскочил, а когда уже был уверен, что сосед вернулся, громко забарабанил в дверь, как будто только что подошел. «Есть кто в доме? Эй, Шмидт! Открывай!» — зычно заорал он, а затем, чтоб не дать приятелю улизнуть, стремительно шагнул в дом и, едва только Шмидт выскочил из кухни, чтобы скрыться через заднюю дверь, преградил ему путь. «Погоди, погоди! — сказал он насмешливо. — И куда это ты так спешишь, приятель?» Шмидт в растерянности молчал. «Ну, тогда я тебе скажу, дружище! Я тебе помогу, так и быть! — продолжал он, сурово нахмурившись. — Ты решил драпануть с деньгами, не так ли? Я угадал? — И, видя, что Шмидт все еще молча хлопает глазами, покачал головой. — Эх, приятель! Вот чего никогда не подумал бы!» Они прошли в кухню и уселись друг против друга за стол. Госпожа Шмидт с напряженным видом завозилась у плиты. «Слушай, друг... — начал Шмидт, запинаясь. — Я сейчас объясню...» Футаки отмахнулся: «Мне и так все понятно! Ты лучше скажи, Кранер тоже в этом участвует?» Шмидт нехотя кивнул: «Половина на половину». — «Вот ведь сукины дети! — возмущенно воскликнул Футаки. — Хотели меня надуть!» Он опустил голову и задумался. «Ну, и что дальше? Что будем делать?» — наконец спросил он. «Что делать? — со злостью развел руками Шмидт. — Возьмем тебя в долю, приятель». — «Это как же?» — поинтересовался Футаки, мысленно прикидывая сумму. «На троих все поделим, — неохотно ответил Шмидт. — Только держи язык за зубами». — «Насчет этого можешь не беспокоиться». Госпожа Шмидт у плиты вздохнула: «Вы с ума сошли. Вы думаете, это сойдет вам с рук?» Шмидт, как будто он ничего не слышал, заглянул в глаза Футаки: «Ну вот. В обиде ты не останешься. Только я тебе должен еще кое-что сказать. Приятель! Не разоряй меня!» — «Ну мы же договорились, разве не так?» — «Да, конечно, тут никаких вопросов! — продолжил Шмидт, и голос его зазвучал умоляюще. — Я только прошу тебя... одолжи ненадолго мне свою долю... Ну хотя бы на год! Пока мы не обоснуемся где-нибудь...» Тут Футаки взвился: «А может, тебе еще что-нибудь вылизать?!» Шмидт подался вперед, вцепившись левой рукой в столешницу. «Я бы не стал просить тебя, если б ты сам не сказал намедни, что отсюда ты уже не ходок! А зачем тебе в таком случае деньги? И ведь только на год... всего-навсего!.. Нам это нужно, пойми, без этого нам никак. Что я сделаю с двадцатью-то кусками, на них разве купишь хутор? Ну хоть десять добавь, слышишь, друг!» — «Мне до этого дела нет! — раздраженно отрезал Футаки. — Ни малейшего. Я тоже не собираюсь здесь заживо сгнить!» Шмидт затряс головой, чуть не плача от злости, а затем начал заново, упрямым и все более безнадежным тоном, наваливаясь при этом на стол, который с каждым движением содрогался под ним как бы в поддержку его словам, которыми он, в сопровождении умоляющих жестов, пытался «разжалобить сердце» приятеля, и надо сказать, что еще немного, и Футаки сдался бы, но тут взгляд его стал задумчивым и устремился на мириады пылинок, мельтешивших в полоске падающего в дом света, и в нос ударил затхлый кухонный запах. Он неожиданно ощутил во рту кисловатый вкус и подумал, что это явилась смерть. С тех пор как был ликвидирован поселок и люди бежали отсюда так же безоглядно, как некогда сюда ехали, и он — вместе с несколькими семьями, с доктором и директором школы, которым, как и ему, некуда было податься, — застрял здесь, Футаки постоянно наблюдал за вкусом еды, ибо знал, что смерть сперва поселяется в супе, в мясе, въедается в стены; он подолгу не проглатывал куски, перекладывая их языком, а воду, а также изредка достававшееся вино пил медленными глотками. Иногда он чувствовал даже неодолимое желание уколупнуть кусочек грязной штукатурки в машинном зале насосной станции, где он обитал, и отведать ее, дабы по изменившемуся запаху и непривычной вкусовой комбинации распознать Предостережение, потому что он верил в то, что смерть — это только своего рода знак, а не чудовищная развязка. «Но ведь я не в подарок прошу, — вяло канючил Шмидт. — Прошу в долг. Понимаешь ты это, приятель? В долг! Через год, день в день, верну все до последнего филлера». Они удрученно сидели за столом. От усталости у Шмидта горели глаза. Футаки пристально изучал загадочные узоры каменных плиток пола, пытаясь не выдать свой страх, хотя объяснить им, чего он боится, он все равно бы не смог. «Ты мне вот что скажи! Сколько раз отгонял я стадо в Соленую Падь, один, по безумной жаре, когда боишься дохнуть, чтобы не полыхнуть изнутри?! А кто лес добывал?! Кто ставил загон?! Я намучился здесь уж не меньше, чем ты, не меньше, чем Кранер и Халич! И вдруг ты ни с того ни с сего говоришь: дай взаймы! А потом тебя поминай как звали! Так, приятель?!» — «Значит, не доверяешь мне?» — оскорбился Шмидт. «Черта лысого я тебе доверяю! — крикнул Футаки. — Вы с Кранером еще до рассвета уговорились удрать со всеми деньгами, и после этого я должен тебе доверять?! Ты за кого меня держишь? За дурачка?» Они замолчали. Жена Шмидта гремела у плиты посудой. Шмидт был разочарован. Футаки, скрутив дрожащими пальцами сигарету, поднялся из-за стола, проковылял к окну и, опираясь левой рукой на палку, стал смотреть на дождь, волнами налетающий на крыши домов, на покорно гнущиеся на ветру деревья, прочерчивающие голыми ветками дуги в воздухе. Он думал о корнях и о животворной грязи, в которую превратилась уже земля, и о том безмолвии, беззвучном ощущении полноты, которого он так страшился. «А скажи мне... — неуверенно начал Футаки. — Почему вы вернулись, раз уж решили...» — «Почему, почему?! — озлобленно прохрипел Шмидт. — Потому что мы это надумали уже по дороге домой. И когда спохватились, то были уже у поселка... И потом, ведь жена... Я что, должен был ее бросить здесь?..» Футаки кивнул. «А что Кранер? — спросил он чуть погодя. — О чем вы договорились?» — «Они тоже пока сидят дома. Решили идти на север, жена Кранера слышала, что есть там заброшенная лесопилка или что-то навроде этого... Договорились мы так, что встретимся, как стемнеет, за околицей у распятия, на том и расстались». Футаки вздохнул: «День-то долгий еще. А как с остальными быть? С Халичем, с директором?..» Шмидт подавленно потирал пальцы рук. «Да почем я знаю! Халич, поди, целый день продрыхнет, вчера у Хоргошей большая гулянка была. А что касается господина директора, то пошел он куда подальше! Если только начнет возникать, я его быстро окорочу! Так что спокойно, приятель, спокойно!» В общем, они решили дожидаться ночи на кухне. Футаки подтащил стул к окну, чтобы присматривать за домами напротив, Шмидта сморил сон, и он, склонившись на стол, захрапел, а жена его, достав из-за шкафа кованый солдатский сундучок, смахнула с него пыль, протерла изнутри и молча принялась паковать в него вещи. «Дождь идет», — сказал Футаки. «Я слышу», — отозвалась она. Слабый солнечный свет едва пробивался сквозь груду движущихся на восток туч; кухня погрузилась во мрак, как будто уже наступили сумерки, и трудно было понять, являются ли пляшущие на стене пятна всего лишь тенями, или это зловещие отпечатки отчаяния, притаившегося за их полными смутных надежд раздумьями. «Отправлюсь на юг, — уставясь на дождь, сказал Футаки. — Там хотя бы зима короче. Возьму хутор в аренду, поблизости от какого-нибудь цветущего города, и буду целыми днями парить ноги в тазу...» Капли дождя тихо скатывались по обеим сторонам стекла — внутри от верхней щели шириною в палец вода текла вниз до стыка рамы и подоконника, затем, найдя желобок, доходила до его края, откуда, опять разделяясь на капли, падала на колени Футаки, который даже и не заметил — ибо вернуться оттуда, куда унесли его мысли, было не так-то просто, — как постепенно у него отсырела промежность. «Или устроюсь на шоколадную фабрику ночным сторожем... а может, вахтером в женское общежитие... И постараюсь забыть обо всем... Парить ноги по вечерам в тазу, бить баклуши и смотреть, как проходит гребаная эта жизнь...» Дождь, до этого тихий, теперь превратился в ливень, и землю, захлебывавшуюся и раньше, залил настоящий потоп, прокладывающий себе узкие извилистые канавы к низинным участкам, и хотя сквозь стекло уже невозможно было ничего разглядеть, Футаки не отворачивался от окна, изучая изъеденную древоточцами раму, из которой давно уже выпала гипсовая замазка. Но вот на стекле неожиданно появилось размытое пятно, превратившееся вскоре в очертания человеческого лица, хотя понять, кому оно принадлежало, было невозможно, пока не прорисовалась пара испуганных глаз; только тут он узнал «собственную истасканную личину», узнал с болью и изумлением, ибо понял: точно так же размоет его черты время, как они расплываются перед ним на стекле; в этом образе отражалась сейчас какая-то новая, незнакомая обездоленность, в которой наслаивались друг на друга стыд, гордыня и страх. Неожиданно он опять ощутил во рту кисловатый привкус, ему вспомнились утренний колокольный звон, стакан с водой, кровать, сухая ветка акации, холодный каменный пол на кухне, и он с горечью скривил рот. «Ноги парить в тазу!.. Дурачина!.. Да ведь я и сегодня их каждый день парю...» За спиной у него раздался судорожный плач. «Что это на тебя нашло?» Но госпожа Шмидт, не отвечая, стыдливо отвернулась, плечи ее сотрясали рыдания. «Послушай, да что с тобой?» Та повернулась к нему, но потом, видимо полагая, что слова уже не имеют смысла, села на табурет у плиты и высморкалась. «Что стряслось? — допытывался Футаки. — Может, все-таки скажешь?» — «Ну куда мы пойдем! — вскричала она в отчаянии. — Да нас в первом же городе схватит полиция! Неужто не понимаешь? У нас даже имен не спросят!» — «Ну чего ты городишь? — сердито оборвал ее Футаки. — У тебя денег полны карманы, а ты...» — «Так о том я и говорю, — перебила его госпожа Шмидт. — О деньгах! Ну хоть ты с ума не сходи! Отправиться в путь... с сундучком этим жалким... Как сборище нищебродов!» Футаки пришел в ярость: «Довольно! Ты вот что, не лезь в это дело. Тебя это не касается никаким боком. Твое дело — помалкивать в тряпочку!» Но госпожа Шмидт не унималась: «Что ты сказал?! Что значит — помалкивать?» — «Ничего я не говорил, — тихо ответил Футаки. — И не кричи так, а то мужа разбудишь». Время тянулось медленно. Будильник, по счастью, давно уже вышел из строя, поэтому не напоминал об этой медлительности своим тиканьем, тем не менее женщина, помешивая деревянной ложкой булькающий на огне паприкаш, не отрывала взгляда от неподвижно застывших стрелок. А потом они вяло сидели над дымящимися тарелками, но мужчины, несмотря на призывы госпожи Шмидт («Ну, чего ждете? Вы будете ночью есть, в грязи, вымокшие до нитки?»), так и не притрагивались к еде. Свет они не включали, от мучительного ожидания все предметы стали сливаться у них в глазах, кастрюли у двери зашевелились, и ожили образа на стене; порой им даже казалось, будто на кровати кто-то лежит, и чтобы избавиться от этого наваждения, они временами молча поглядывали друг на друга, но у всех троих лица излучали одну и ту же беспомощность; и хотя они знали, что двинуться из дому можно будет лишь под покровом ночи (потому как знали, что госпожа Халич, да, наверное, и директор, сидя у окна, не сводят глаз с проселка, что вел в сторону Соленой Пади, и все больше тревожатся из-за того, что Шмидт с Кранером опаздывают уже на полдня), то сам Шмидт, то жена его, забыв о предосторожности, порывались отправиться в путь уже в сумерках. «Вон, в кино потянулись, — тихо доложил Футаки. — Жена Халича, жена Кранера, школьный директор и Халич». — «Жена Кранера? — подскочил тут Шмидт. — Где?» И подбежал к окну. «Ну да. Она правильно делает», — кивнула госпожа Шмидт. «Ну-ка, цыц!» — рявкнул на нее Шмидт. «Да не горячись ты, приятель! — успокаивал его Футаки. — Она умная женщина. Все равно ведь надо дождаться наступления темноты, не так ли? Вот никто ничего и не заподозрит». Шмидт, ворча, вернулся к столу и закрыл руками лицо. Футаки с удрученным видом курил у окна. Госпожа Шмидт извлекла из глубины буфета бечевку и, поскольку ржавые замки, как она ни старалась, не защелкивались, туго перевязала солдатский сундучок, поставила его у двери и, сев рядом с мужем, сцепила руки. «Чего мы ждем? — спросил Футаки. — Давайте разделим деньги!» Шмидт покосился на жену: «А куда нам спешить, дружище?» Футаки встал и тоже переместился к столу. Расставив ноги и почесывая небритый подбородок, он устремил взгляд на Шмидта: «А я говорю, давайте поделим». Шмидт потер руками виски. «Придет время, ты все получишь, не бойся». — «А чего же нам ждать, приятель?» — «Вот пристал! Давай Кранера подождем с его половиной». Футаки усмехнулся: «Да нечего тут мудрить! Поделим сначала поровну то, что у тебя. А когда встретимся у распятья, Кранер отдаст то, что нам еще причитается». — «Хорошо, — согласился Шмидт. — Нужен фонарик». — «Я принесу», — взволнованно вскочила жена. И Шмидт, сунув руку во внутренний карман дождевика, вытащил из него тугой, перевязанный шпагатом промокший пакет. «Погоди, — остановила его жена и тряпкой смахнула со скатерти крошки. — Теперь можно». Шмидт сунул под нос Футаки мятый листок бумаги («Документ, — сказал он. — Чтобы ты не подумал, что я собираюсь тебя надуть»). Тот, склонив голову в сторону, пробежал бумагу глазами и произнес: «Давай пересчитывать». Отдав фонарик госпоже Шмидт, он с блеском в глазах следил за купюрами, которые Шмидт, отмусоливая короткими пальцами, стремительно перекладывал на другой край стола в растущую на глазах кипу; он начинал понимать его, остатки гнева его улетучивались, ибо «нет ничего удивительного, что при виде такой прорвы денег человек теряет рассудок и готов поставить на кон что угодно, лишь бы заполучить их». Желудок его свело судорогой, рот внезапно наполнился слюной, сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Под рукой Шмидта пачка пропотевших купюр уменьшалась с такой же скоростью, с какой росла кипа на другом углу стола; вибрирующий, прыгающий свет фонаря слепил Футаки, как будто госпожа Шмидт нарочно светила ему в глаза, голова у него кружилась, он обмяк и встрепенулся, только услышав надтреснутый голос Шмидта: «Как в аптеке!» Но когда, пересчитывая свою половину, он дошел до середины, под самым окном вдруг послышался чей-то голос: «Вы дома, милая госпожа Шмидт?» Шмидт, выхватив у жены фонарик, выключил его и, показывая на стол, прошептал: «Спрячь скорее!» Госпожа Шмидт молниеносно сгребла деньги в кучу, сунула их за пазуху и приглушенно произнесла: «Жена Ха-ли-ча!» Футаки метнулся к стене и втиснулся между плитой и буфетом, откуда видны были в темноте только две горящие точки, как будто там притаилась кошка. «Иди скажи ей, чтоб убиралась к черту!» — прошептал Шмидт, провожая ее до двери, где она на мгновение застыла, потом вздохнула и, шагнув в коридор, откашлялась: «Да иду я, иду!» — «Если свет не заметила, то ничто не потеряно!» — шепнул Шмидт, но сам он в это не верил и, скрываясь за дверью, так нервничал, что едва мог стоять на месте. «Если только посмеет сунуться, я ее придушу», — в отчаянии подумал он и сглотнул. Он почувствовал, что на шее пульсирует вена и вот-вот расколется голова; он попытался сориентироваться во тьме, но, заметив, что Футаки неожиданно отделяется от стены, нашаривает палку и с грохотом усаживается за стол, подумал, что это ему мерещится. «Ты что вытворяешь?» — сдавленно зашипел он и отчаянно замахал руками, умоляя Футаки не шуметь. Но тот не обращал на него никакого внимания. Он закурил и, подняв зажженную спичку над головой, жестом призвал Шмидта прекратить истерику и вернуться к столу. «Болван, погаси!» — шипел яростно Шмидт от двери, но с места не двигался, понимая, что малейший шум тут же выдаст их. Однако Футаки спокойно сидел за столом и задумчиво выдувал дым. «Какой же идиотизм это все, — размышлял он печально. — На старости лет... до такого безумия... докатиться!..» Он закрыл глаза и представил себе пустынный тракт, и самого себя, оборванного, бредущего из последних сил к городу, и поселок, который все более удаляется и наконец исчезает за горизонтом; и тогда Футаки осознал, что, еще не успев получить эти деньги, он уже потерял их, ибо то, о чем он только догадывался, теперь подтвердилось: он не только не может, но и не хочет отсюда бежать, потому что здесь он хотя бы находится под защитой знакомых вещей, ну а там, вне пределов поселка, как знать, что его ожидает. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что весь этот звон на рассвете, этот сговор, это внезапное появление жены Халича глубочайшим образом между собою связаны, ибо он был почти уверен, что и в самом деле что-то стряслось, иначе как можно объяснить этот необычный и затянувшийся визит соседки... Госпожа Шмидт между тем все не возвращалась... Разволновавшись, он глубоко затянулся, и пока вокруг медленно клубился дым, воображение его — как угасший на первый взгляд костер — неожиданно вновь разгорелось. «А может, в поселок снова вернется жизнь? Поступит новая техника, придут новые люди, и все начнется сначала? Отремонтируют стены, побелят здания, запустят насосную станцию? И понадобится механик?» В дверях появилась бледная госпожа Шмидт. «Ну, хватит прятаться!» — сказала она хриплым голосом и включила свет. Шмидт, сощурившись, накинулся на нее: «Что ты делаешь? А ну погаси! Нас увидят!» Госпожа Шмидт покачала головой: «Да перестань! О том, что я дома, все знают. Разве не так?» Шмидт вынужденно кивнул и схватил жену за руку: «Ну, что там?! Заметила она свет?» — «Да, — ответила госпожа Шмидт, — но я ей сказала: разнервничалась, мол, из-за того, что вы долго не возвращаетесь, и заснула, а когда проснулась и щелкнула выключателем, перегорела лампочка. И когда она позвала меня, я как раз меняла ее, потому и фонарик включен был...» Шмидт удовлетворенно хмыкнул, но потом опять помрачнел: «А нас... Ты скажи... нас заметила она или нет?» — «Нет. Это точно могу сказать. Не заметила». Шмидт вздохнул с облегчением: «А зачем ее черт приносил?» На лице женщины застыло недоумение. «Она сошла с ума», — тихо сказала она. «Самое время», — заметил Шмидт. «Она говорит... — неуверенно продолжала госпожа Шмидт, глядя то на мужа, то на насторожившегося Футаки, — говорит, будто по тракту идут Иримиаш с Петриной... К поселку идут, сюда! И что они... возможно, уже в корчме...» Шмидт и Футаки с минуту не могли вымолвить ни слова. «Их якобы видел кондуктор с междугороднего... видел в городе, — прервала молчание женщина и закусила губу. — И что он... что они двинулись потом к поселку... пешком, в эту непогодь... Кондуктор их видел потом у поворота на Элек, где хутор его находится». Футаки вскочил на ноги: «Иримиаш? С Петриной?» Шмидт рассмеялся: «Эта Халич и правда сбрендила! Библии начиталась!» Жена его даже не шелохнулась. А немного спустя беспомощно развела руками, потом бросилась к плите, шлепнулась на табурет, облокотилась о бедра и подперла подбородок ладонями. «Ежели это правда... — прошептала она, и глаза ее заблестели. — Ежели только правда...» — «Да они же померли!» — раздраженно прервал ее Шмидт. «Ежели это правда... — словно бы продолжая мысль госпожи Шмидт, тихо проговорил Футаки, — то выходит... что этот мальчонка Хоргош просто соврал...» Госпожа Шмидт вскинула голову и уставилась на Футаки: «А мы только от него и слышали». — «Это верно, — кивнул Футаки и дрожащими руками прикурил новую сигарету. — А вы помните? Я уже и тогда говорил, что мне эта история подозрительна... Что-то мне в ней не нравилось. Но меня не слушали... а потом я и сам поверил». Госпожа Шмидт не сводила глаз с Футаки, что-то словно внушая ему. «Врал. Просто-напросто... врал мальчишка. Вполне возможно. *Очень даже* возможно...» Шмидт нервно поглядывал то на жену, то на Футаки. «Нет, это не Халичева жена спятила, а вы оба». Но те ему не ответили, а только переглянулись. «Совсем выжил из ума?! — крикнул он, повернувшись к Футаки. — Старый хрыч колченогий!» — «Нет, друг мой... По-моему, с головой у Халич действительно все в порядке, — закивал Футаки и поглядел на госпожу Шмидт. — Наверняка это правда. Я иду в корчму». Шмидт закрыл глаза, пытаясь изобразить на лице спокойствие. «Они уже полтора года как мертвые. Полтора года! И все это знают! Такими вещами не шутят! Не поддавайтесь! Это ловушка! Ловушка, вы понимаете?!» Но Футаки его слов не слышал, он уже застегивал пальто. «Все наладится, вот увидите! — сказал он, и по твердому его голосу можно было понять, что он принял окончательное решение. — Иримиаш, — добавил он, улыбаясь, и положил руки Шмидту на плечи, — это великий волшебник. Он даже из коровьего дерьма тут хоромы построит... стоит ему захотеть». Шмидт совсем потерял голову и, судорожно ухватив Футаки за пальто, рванул его на себя. «Сам ты дерьмо, приятель, — оскалился он, — но из тебя уже только перегной получится, это я тебе говорю. Ты думаешь, я позволю человеку с куриными мозгами сходить с ума за мой счет?! Ну уж нет! Мои планы ты не расстроишь!» Футаки спокойно выдержал его взгляд. «А я и не собираюсь, приятель». — «То есть как? А что будет с деньгами?» Футаки опустил голову: «Поделите с Кранером. Как ни в чем не бывало». Шмидт бросился к двери и стал у них на пути. «Идиоты! — блажил он. — Какие вы идиоты! Проваливайте оба на хер! Но мои денежки... — воздел он указательный палец, — положите на стол. — Он метнул на жену угрожающий взгляд. — Ты меня слышишь, паршивка... Деньги оставишь здесь. Поняла?!» Госпожа Шмидт не пошевелилась. Необычный и странный свет вспыхнул в ее глазах. Она медленно поднялась и двинулась к Шмидту. Губы ее вытянулись в ниточку, лицо напряглось и излучало такое презрение и насмешку, что Шмидт, с изумлением глядя на жену, невольно попятился. «Не ори, шут гороховый, — совсем тихо сказала госпожа Шмидт. — Я ухожу. А ты делай что хочешь». Футаки потеребил ноздрю. «Вот что, друг, — негромко заговорил он, — если они в самом деле здесь, то от Иримиаша тебе все равно не сбежать, ты это сам знаешь. И что будешь делать?..» Шмидт почувствовал слабость и, шагнув к столу, шлепнулся на стул. «Это надо же, мертвецы воскресли! — пробормотал он себе под нос. — А вы, дураки, клюнули на приманку... Ха-ха-ха, можно со смеху помереть! — Он хватил кулаком по столу. — Да вы что же, не видите, к чему дело идет?! Они что-то пронюхали и теперь вас заманивают... Футаки, старина, ну хоть ты поимей каплю разума...» Но Футаки не слушал его; он стоял у окна, сцепив за спиною руки. «А вы помните, как однажды мы девять дней без зарплаты сидели, и тогда он...» — «Он всегда выручал нас...» — строгим тоном подхватила госпожа Шмидт. «Вот иуды! Хотя ведь я мог бы знать...» — прорычал Шмидт. Футаки отошел от окна и стал у него за спиной. «Ну, если уж ты не веришь, — предложил он, — давай отправим твою жену вперед... Она скажет, что ищет тебя, мол, не знает уже, что и думать... или что-нибудь в этом роде...» — «Только можешь не сомневаться», — заметила госпожа Шмидт. Деньги остались у нее за пазухой, потому что Шмидт был и сам уверен, что более надежного места для них не найти, хотя и настаивал на том, чтобы привязать их шпагатом, и порывался пойти что-нибудь подыскать — насилу его усадили обратно на табурет. «Ну, так я пошла», — сказала госпожа Шмидт, нацепила брезентовый плащ, резиновые сапоги и выскочила из дому; вскоре фигура ее растворилась в сумерках, она шла, огибая лужи в глубокой колее, что вела к корчме, и ни разу не оглянулась на два омываемых дождем расплывшихся лица за оконным стеклом. Футаки свернул сигарету и, счастливый и полный надежд, затянулся; напряжение у него как рукой сняло, на душе полегчало, он мечтательно созерцал потолок и думал уже о машинном зале насосной станции и слышал уже, как, чихая и кашляя, с огромным трудом, но все же заводятся двигатели простаивавших годами машин, и в нос ему ударил запах свежей побелки... когда они вдруг услышали, как открывается входная дверь, и у Шмидта хватило времени только на то, чтобы вскочить на ноги. До них донесся голос госпожи Кранер: «Они уже здесь! Вы слышали?» Футаки, кивнув, поднялся и нахлобучил на голову шляпу. У Шмидта подкосились ноги, и он упал головой на стол. «Мой муж, — тараторила им жена Kранера, — уже отправился к ним, а меня послал к вам — сообщить, если вы еще ничего не знаете, хотя я уверена, что вы знаете, мы видели из окна, как сюда заходила госпожа Халич, ну да я пошла, не хочу вам мешать, а что касается этих денег, то муж велел передать, пропади они пропадом, эти деньги, это не для таких, как мы, да и то сказать... зачем это нам, бегать да прятаться, не зная ни сна ни покоя, это нам ни к чему, пусть лучше Иримиаш, пускай Петрина, да вы сами теперь увидите, а я, между прочим, знала, что неправда все это, чтоб мне сдохнуть на этом месте, если я хоть на минуту поверила, мне этот сорванец, младший Хоргош, всегда подозрителен был, у него на лице написано, что он плут, вот он все и придумал, а мы поверили, только я вам скажу, что с первой минуты...» Шмидт смотрел на нее, недоумевая. «И ты с ними заодно?» — сказал он и коротко рассмеялся. Госпожа Кранер вскинула брови и в замешательстве выкатилась за дверь. «Ты идешь, приятель?» — немного спустя спросил Футаки, застыв на мгновение на пороге. Шмидт шел впереди, Футаки ковылял за ним следом. Полы его пальто трепал ветер. Впотьмах нащупывая палкой дорогу, он придерживал другой рукой шляпу, чтобы она не слетела в грязь. Безжалостно льющий дождь смешивал чертыханья Шмидта с исполненными надежд ободрительными словами Футаки, повторявшего неустанно: «Ты ни о чем не жалей! Нас ждет золотая жизнь, старина! Золотая жизнь!»

### II. Воскресшие из мертвых

Часы над их головами показывают уже без четверти десять, но иного тут ждать не приходится: они понимают, зачем так кошмарно зудит неоновая лампа на потолке, подернутом паутиной мельчайших трещин, зачем отдается неумолчным эхом слаженный стук дверей и зачем в непривычно высоких коридорах тяжелые сапоги высекают подковками-полумесяцами искры из керамической брони пола; как догадываются они и о том, почему у них за спиной не горят светильники и зачем тут повсюду царит тягостный полумрак; они с изумлением и понимающим удовлетворением склонили бы головы перед этим великолепно отлаженным механизмом, не сиди они сейчас сами на до блеска отполированной сотнями задниц скамье, сгорбившись и не спуская глаз с алюминиевой ручки двери под номером двадцать четыре, в ожидании, когда будут допущены в помещение и получат («не более чем...») две-три минуты, дабы «рассеять возникшие подозрения». Ибо о чем еще можно тут говорить, если не о нелепом недоразумении, допущенном по вине несомненно порядочного, но немного перестаравшегося чиновника?.. Опровергающие друг друга слова какое-то время кружатся в бесцельном коловращении, затем складываются в хрупкие и до боли бессмысленные фразы, которые — подобно наспех сколоченному мосту на первых же трех шагах — с легким шорохом, с роковым глухим треском обрушиваются, чтобы слова из врученной им накануне вечером официальной, с печатью, повестки снова, как завороженные, кружились в бессмысленном вихре. Точный, сдержанный и несколько необычный стиль («...рассеять возникшие подозрения...») не оставляет сомнений в том, что вызвали их вовсе не для того, чтобы они доказали свою невиновность (тратить на это время никто тут не собирался), а для того, чтобы дать им возможность в рамках непринужденной беседы высказаться, в связи с одним старым дельцем, о том, на чьей они стороне и чем дышат, и, возможно, внести некоторые коррективы в анкетные данные. Ведь за минувшие, казавшиеся порой бесконечно долгими месяцы, когда в результате одного не заслуживающего упоминания глупого недоразумения они были оторваны от нормального хода жизни, некоторые их былые, еще не вполне серьезные убеждения дозрели до нужной кондиции, и теперь, если только понадобится, на любые вопросы, касающиеся того, что можно назвать «генеральной идеей», они могут — с поразительной твердостью, без малейших сомнений и мучительных внутренних колебаний — дать верный ответ, поэтому никаких сюрпризов они не ждут. Что же касается гнетущего, то и дело напоминающего о себе страха, то его можно смело списать на «опыт горького прошлого», ибо «нет человека, который остался бы невредимым после такой каторги». Большая стрелка часов уже приближается к двенадцати, когда на лестничную площадку, заложив руки за спину, пружинистым шагом ступает дежурный, его глаза цвета сыворотки устремлены в пространство, но вот, наткнувшись на двух странных типов, они оживают, и к лицу, до этого мертвенно-бледному, приливает немного краски; он останавливается, привстает на цыпочки, потом отворачивается с усталой усмешкой, лицо его делается снова серым, и прежде чем скрыться на лестничном марше, он поднимает глаза на другие часы, что висят под табличкой НЕ КУРИТЬ! «Эти часы, — утешительным тоном говорит тот, что выше, — показывают разное время, причем те и другие — неточное! Наши здесь, — указывает он наверх необычайно длинным, тонким и изящным перстом, — слишком сильно запаздывают, а вон те, на площадке... отмеряют даже не время, а вечность нашего рабского состояния, зависящего от нас так же мало, как мало зависит от ветки ливень: мы перед ним бессильны». И хотя говорит он тихо, его звонкий глубокий мужественный голос разносится на весь коридор. Его спутник, который — что видно с первого взгляда — является «полной противоположностью» человека, излучающего уверенность и решимость, устремляет тусклые глазки-пуговицы на лицо товарища, отражающее тяжесть пережитого, и все его существо наполняется легким восторгом. «Ветка и ливень... — смакует он слова, как смакуют старое доброе вино, пытаясь определить год урожая и безропотно понимая, что из этого ничего не получится. — Да ты поэт, старина! Это я тебе говорю!» — добавляет он и энергично кивает, как человек, испугавшийся, что нечаянно попал в точку. Он устраивается на скамье повыше, чтобы его голова оказалась вровень с головой товарища, запускает руки в карманы огромного, скроенного на великана зимнего пальто, где среди шурупов, леденцов от кашля, открытки с морским пейзажем, гвоздиков, мельхиоровой ложечки, оправы для очков и таблеток кальмопирина нащупывает пропитанную потом бумагу, и лоб его покрывает испарина. «И надо же было так облажаться!..» — вырывается у него, он спохватывается, но поздно, сказанного не воротишь. На лице высокого типа складки делаются резче, губы плотно сжимаются, и веки медленно закрываются; он тоже с трудом сдерживает накатившие на него эмоции. Они оба прекрасно знают, что дали маху, когда утром, желая потребовать объяснений, вломились в означенную дверь и не остановились до самого дальнего кабинета; но какие там объяснения — изумленный «начальник» и разговаривать с ними не стал, только выглянул к канцеляристам в приемную («что за публика? разберитесь!»), и они уже были за дверью. Ну как можно было так вляпаться?! Допустить оплошность?! Да они совершали их одну за другой, как будто целых трех дней было недостаточно, чтобы избавиться от проклятого невезения. Потому что с тех пор, как они вновь смогли глубоко вдохнуть свежий воздух свободы и, гуляя по пыльным улицам, по заброшенным паркам, как бы родиться для новой жизни от золотисто-желтой прелести осеннего увядания, ощутить в себе силы от сонных взглядов идущих навстречу им мужчин и женщин, от понурых голов и меланхоличных взглядов подпирающих стены домов печальных подростков, — с тех самых пор за ними тенью следует некое прежде неведомое невезение, бесформенное, то изливающееся на них из чьих-то прищуренных глаз, то угрожающее, роковое, обнаруживающее себя в чьем-то жесте. А тут еще эта («кошмарная, не будь я Петрина») сцена вчера вечером на пустынной станции, когда — догадавшись каким-то образом, что и эту ночь они собираются провести на скамье, рядом с выходом на перрон, — в дверь-вертушку вошел долговязый прыщавый парнишка и без промедления направился прямо к ним, чтобы вручить повестку. «Да неужто конца этому не будет!» — сказал тогда тот, что повыше, неуклюжему малолетке посыльному, и именно эти слова приходят сейчас на ум его малорослому спутнику, замечающему несмело: «Да они это специально делают, я так думаю...» — «Только не надо бздеть, — расслабленно усмехается длинный. — Лучше уши свои поправь. Опять оттопырились». На что коротышка, как будто его застукали за каким-нибудь непотребным делом, смущенно тянется к своим неправдоподобно большим отвислым ушам и, осклабив беззубые десны, пытается их прижать. «Уж такой уродился, судьба», — говорит он. Высокий напарник, вскинув брови, разглядывает его, потом отворачивается. «Ну и рожа!» — восклицает он с ужасом и, как бы не веря своим глазам, еще пару раз оглядывается на приятеля. Лопоухий с расстроенным видом отодвигается в сторону, грушеподобная маленькая голова его едва выглядывает из поднятого воротника пальто. «Не суди по лицу...» — обиженно бормочет он. В этот момент дверь распахивается, и в коридоре, производя немалый шум, появляется смахивающий на борца мужчина с расплюснутым носом, но вместо того, чтобы удостоить внимания двух бросившихся навстречу ему посетителей (сказав им: «Прошу пожаловать!»), тот с топотом направляется мимо них в конец коридора и исчезает за какой-то дверью. Они с возмущением переглядываются, с решительным видом топчутся на месте, как люди, которые потеряли терпение, и всего один шаг отделяет их от какого-то непростительного поступка, но тут дверь снова приоткрывается, и в коридор выкатывается маленький толстенький человечек. «Пхошу пхощения, вам кого?» — насмешливо спрашивает он, а потом с совершенно не подобающим в данной ситуации громогласным «ага!» распахивает перед ними дверь. В большом помещении наподобие склада, горбясь над полинявшими от дождей грузными письменными столами, сидят пять или шесть мужчин в штатском. Над головами у них, словно нимбы, мерцают неоновые лампы, в дальних углах таится вековой мрак, и даже солнечные лучи, проникающие сквозь щели закрытых ставен, тут же бесследно растворяются, проглоченные поднимающимся от пола затхлым воздухом. Писари (одни — в черных прорезиненных нарукавниках, другие — в сдвинутых на нос очках) строчат молча, и все же вокруг слышится беспрерывный шепот; время от времени кто-нибудь из них бросает на посетителей быстрый злорадный взгляд, словно выжидая, когда они выдадут себя неосторожным движением, когда из-под лоснящегося пиджака выглянут замызганные подтяжки или сверкнет над ботинком дырявый носок. «Что здесь происходит?» — возмущается долговязый и в изумлении останавливается, первым переступив порог небольшой клетушки, ибо видит там человека без пиджака, ползающего на четвереньках по полу и лихорадочно что-то разыскивающего под темно-коричневым столом. Сохраняя присутствие духа, он делает несколько шагов вперед, останавливается и смотрит на потолок, как бы из чистой тактичности не замечая неловкого положения, в котором застал хозяина помещения. «Гражданин начальник! — елейным голосом начинает он. — Мы не забыли и не забудем о своих обязательствах. Мы пришли, откликаясь на вашу просьбу о том, чтобы побеседовать с вами, которую вы изволили высказать в вашем письме, доставленном нам вчера курьером. Мы... мы верные граждане этой страны и поэтому хотели бы — разумеется, добровольно — предложить вам свои услуги, которыми, осмелюсь напомнить, в течение нескольких лет, пусть и не регулярно, вы любезно изволили пользоваться. От вашего внимания, видимо, не укрылось, что в последнее время случилась прискорбная пауза, когда вам пришлось обходиться без нас. Тем не менее мы заверяем вас, что впредь, как и прежде, в своей работе мы будем избегать нерадивости и прочих низменных человеческих качеств. Уж можете мне поверить, мы и впредь будем демонстрировать тот высокий профессионализм, к которому вы привыкли. Мы рады стараться». Его товарищ растроганно кивает, только чувством приличия удерживаемый от того, чтобы тут же пожать приятелю руку. Начальник тем временем поднимается с пола, швыряет в рот белую таблетку и после нескольких судорожных попыток, не запивая водой, проглатывает ее. Отряхнув от пыли колени, он садится за стол и скрещенными на груди руками наваливается на потертую папку из кожзаменителя. Он пристально смотрит на двух странных типов, небрежно застывших перед ним с устремленными куда-то поверх его головы взглядами. Губы его болезненно передергиваются, отчего все расплывчатое лицо застывает в горестном выражении. Не отрывая локтей от стола, он вытряхивает сигарету из пачки, сует ее в рот и прикуривает. «Что вы говорите?» — недоверчиво спрашивает он. Лицо его озадачено, ноги пускаются под столом в нервную пляску. Его вопрос повисает в воздухе без ответа. Двое приятелей стоят неподвижно и терпеливо молчат. «Так вы сапожник?» — пробует снова начальник и выдувает изо рта длинный шлейф дыма, который, наткнувшись на громоздящуюся перед ним кипу папок, клубится вокруг него и надолго скрывает его лицо. «Нет, простите... — с видом человека, оскорбленного до глубины души, говорит ушастый. — Нас сюда вызвали, к восьми утра...» — «Ага! — довольный, восклицает начальник. — А почему не явились вовремя?» Лопоухий укоризненно смотрит на него снизу вверх. «Тут какое-то недоразумение, если можно так выразиться... Мы были здесь как раз вовремя, разве не помните?» — «Понимаю». — «Ничего вы не понимаете, гражданин начальник! — оживляется низкорослый. — Дело в том, что мы, то есть этот вот человек и я, мастера на все руки. Столярничать? Цыплят разводить? Кабанов кастрировать? Недвижимостью заниматься? Ремонтировать всякую рухлядь? На базаре смотреть за порядком? Торговать?.. Это пожалуйста! Вы меня не смешите! А кроме того... иногда можем информацией поделиться, если можно так выразиться. Не безвозмездно, если изволите помнить. Потому что все дело в том...» Начальник в изнеможении откидывается на спинку стула, потом поднимает на них глаза, лицо его просветляется, он вскакивает на ноги и, открыв в задней стене небольшую дверь, кричит им с порога: «Ждите здесь. Только без дураков... Понимаете?..» И уже через пару минут перед ними оказывается высокий голубоглазый блондин в чине капитана, который садится за стол и, небрежно вытянув ноги, добродушно им улыбается. «Есть у вас какая-нибудь бумага?» — спрашивает он ободряюще. Лопоухий начинает рыться в бездонных карманах своего пальто. «Вам бумагу? Конечно! Одну минуту!» — радостно восклицает он. И кладет на стол перед капитаном лист помятой, но чистой писчей бумаги. «Ручечку не желаете?» — спрашивает высокий и с готовностью тянется к внутреннему карману. Капитан на минуту мрачнеет, но потом расплывается в веселой улыбке. «Остроумно! — одобрительно усмехается он. — Я гляжу, вы ребята с юмором!» Лопоухий скромно опускает глаза: «Так без этого нам нельзя, гражданин начальник...» — «Ну, тогда ближе к делу, — говорит капитан серьезно. — Мне хотелось бы знать, имеется ли у вас бумага другого рода». — «А то как же, начальник! — Лопоухий энергично кивает. — Сию минуту...» Он снова лезет в карман, выхватывает оттуда повестку и, торжествующе помахав ею, кладет на стол. Капитан заглядывает в нее и, побагровев, орет: «Вы что, читать не умеете?! Вашу мать! Какой здесь указан этаж?!» Этот взрыв настигает их так неожиданно, что оба делают шаг назад. Лопоухий горячо кивает. «Разумеется...» — бормочет он, не находя что сказать. Офицер склоняет голову набок: «Что вы сказали?» — «Третий... — отвечает тот и словно бы в пояснение добавляет: — Смею доложить». — «Тогда что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?! Вы хоть знаете, чем занимаются в этом секторе?!» Те вяло трясут головами. «Учетом работниц секс-индустрии!» — кричит, навалившись на стол, капитан. Но слова его не вызывают ни малейшего изумления. Коротышка отрицательно качает головой и задумчиво морщит губы, а его товарищ стоит рядом с ним, скрестив ноги, и делает вид, что разглядывает на стене пейзаж. Офицер, подпирая ладонью лицо, облокачивается одной рукой о стол и начинает массировать лоб. Его спина пряма, как путь праведников, грудь выкачена вперед, безукоризненно чистая униформа и ослепительная белизна рубашки великолепно гармонируют с нежной румяной кожей; непокорный завиток кудрявых волос падает на небесно-голубые глаза, что придает неотразимый шарм всей его излучающей детскую невинность внешности. «Ну так вот, — говорит он строгим, по-южному напевным голосом. — Начнем с ваших документов!» Лопоухий вытаскивает из заднего кармана брюк два замызганных, обтрепавшихся по краям удостоверения и, прежде чем передать их, отодвинув в сторону кипу досье, пытается их разгладить; но капитан с юношеской проворностью выхватывает у него документы и, не заглядывая в них, лихо пролистывает страницы. «Как зовут?» — спрашивает он у коротышки. «Петрина, к вашим услугам». — «Это имя твое?» Лопоухий печально кивает. «Ну а полностью можно?» — наваливается на стол офицер. «Это все, с вашего позволения, — отвечает Петрина с невинным видом и, повернувшись к товарищу, шепотом спрашивает: — Чего теперь делать?» — «Ты что, цыган?» — рявкает на него капитан. «Это я-то? — испуганно таращится на него Петрина. — Цыган?» — «Тогда не валяй дурака! Я слушаю!» Лопоухий беспомощно смотрит на друга, затем, пожимая плечами и заикаясь, будто человек, совершенно растерянный и не смеющий брать на себя ответственность за свои слова, начинает: «Ну... Шандор-Ференц-Иштван... или как там... Андраш». Офицер листает удостоверение и угрожающе замечает: «Здесь написано — Йожеф». Петрина смотрит на него ошарашенным взглядом: «Не может быть, гражданин начальник! А можно мне тоже взглянуть?..» — «Стой на месте!» — приказывает ему капитан не терпящим возражений тоном. На лице высокого нет никаких признаков беспокойства или интереса, и когда офицер спрашивает у него его имя, он хлопает глазами, как будто мысли его совсем далеко отсюда, и вежливо произносит: «Простите, не понял». — «Как звать?!» — «Иримиаш!» — отвечает тот звонко и даже с оттенком гордости. Капитан сует в угол рта сигарету, трясущимися руками прикуривает, швыряет горящую спичку в пепельницу и гасит ее коробком. «Ну, ясно. У вас, значит, тоже фамилии нету? Одно только имя?» Иримиаш весело кивает: «Разумеется. Как у всех». Офицер пристально смотрит ему в глаза, а затем, когда в помещение заглядывает заведующий канцелярией (и спрашивает: «Вы закончили?»), знаком велит им следовать за собой. Отстав от него на пару шагов, они снова проходят мимо столов в большом помещении, сопровождаемые насмешливыми взглядами писарей, выходят в коридор и поднимаются по лестнице. Света здесь еще меньше, и на площадке они чуть не падают; вдоль лестницы их сопровождают грубые металлические перила с отполированными до блеска поручнями, усеянными снизу ржавыми заусеницами. Пока они поднимаются по ступенькам, подернутым влажной зеленью, повсюду ощущается казарменная чистота, которую не упраздняет даже шибающий в нос на каждом повороте тяжелый запах, чем-то напоминающий запах рыбы.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ВТОРОЙ ЭТАЖ

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Капитан, по-гусарски стройный, длинными гулкими шагами следует впереди, стук коротких, надраенных до зеркального блеска сапог по выщербленным местами керамическим плиткам пола звучит почти что как музыка; назад он не оборачивается, но они знают: он сейчас видит их с головы до ног, от грубых ботинок Петрины до ярко-красного галстука Иримиаша, возможно, по памяти, а возможно, благодаря особому дару через тонкую кожу поверх мозжечка чувствовать вещи глубже, чем может открыться примитивному взгляду. «Установите личности!» — роняет он на ходу черноволосому кряжистому сержанту с густыми усами, когда, пройдя в дверь, на которой тоже видна табличка с номером 24, они попадают в прокуренный душный зал; ни на миг не сбавляя шага, он быстрыми мановениями руки усаживает вскакивающих навстречу ему людей и, прежде чем скрыться за открывающейся слева застекленной дверью, раздает отрывистые приказы: «Потом ко мне! Прессу! Сводки! Соедините со 109-м! Затем с городом!» Сержант продолжает стоять навытяжку, а услышав щелчок закрывшейся двери, отирает рукой взмокший лоб, плюхается за стол напротив входа и достает чистые формуляры. «Заполните это, — говорит он устало. — И сядьте! Только прочтите сперва, что там на обороте написано!» Воздух в зале застыл без движения. На потолке в три ряда горят неоновые светильники, свет их режет глаза, ставни на окнах здесь тоже закрыты. Меж многочисленными столами суетливо бегают служащие и, время от времени сталкиваясь в узких проходах, с виноватыми улыбками нетерпеливо отпихивают друг друга, из-за чего столы поминутно сдвигаются, оставляя на полу глубокие царапины. Но есть и такие, которые остаются на своем месте, но, невзирая на то, что перед ними высятся устрашающие груды бумаг, заняты в основном тем, что скандалят с коллегами, пихают их в спину и отталкивают их столы. Другие же, по-кавалерийски усевшись на стульях, обитых красным кожзаменителем, сжимают в одной руке телефонную трубку, в другой — чашку дымящегося кофе. В дальней части зала, за длинным, от стены до стены, и прямым как стрела столом, с неотразимым обаянием колошматят по клавишам своих машинок стареющие машинистки. Петрина с изумлением наблюдает за всей этой лихорадочной деятельностью и подталкивает локтем Иримиаша, но тот лишь кивает, углубившись в инструкцию на оборотной стороне формуляра. «Надо валить отсюда, пока не поздно...» — шепчет Петрина, но Иримиаш раздраженно отмахивается от него. Потом отрывается от бумаги и, принюхавшись, произносит, указывая наверх: «Ты чувствуешь этот запах?» — «Болотом пахнет», — определяет Петрина. Сержант, посмотрев на них, манит их пальцем и шепотом говорит: «Здесь все прогнило... За последние три недели дважды белили стены...» В его глубоко посаженных припухших глазах сверкает злой огонек, жесткий воротник упирается в двойной подбородок. «Хотите, я вам кое-что скажу?..» — многозначительно улыбается он. Сержант наклоняется к ним поближе, обдавая их смрадным дыханием, беззвучно и долго смеется, словно не в силах остановиться. А затем, подчеркивая каждое слово, как бы неспешно выкладывая перед ними бомбы («а вы уж решайте, что с ними делать»), говорит: «Все равно все развалится в жопу». Он делает злорадную мину и, словно бы про себя повторяя слова, стучит по столу костяшками пальцев. Иримиаш отвечает на его заявление снисходительной ухмылкой и продолжает изучать инструкцию, а Петрина с ужасом пялится на сержанта, который внезапно кусает губу, с презрением смотрит на них, равнодушно и холодно откидывается на стуле, и вот уже несмолкаемый плотный гомон, из которого он на мгновение выглянул, снова заглатывает его в свой адский зев. И когда он, с заполненными формулярами в руке, проводит их в кабинет капитана, на лице его уже нет и следа той усталости, того чудовищного изнеможения, во власти которого он только что пребывал, шаги его тверды, движения энергичны, слова по-военному четки. Кабинет обставлен не без комфорта: слева от письменного стола, напоминающего о былой роскоши, стоит огромных размеров фикус, радующий глаз своей сочной зеленью, в углу у дверей стоит кожаный диван вкупе с парой кожаных кресел и курительным столиком «современного дизайна». Окна занавешены тяжелыми ядовито-зелеными бархатными портьерами, по паркету от двери к письменному столу ведет красная ковровая дорожка. С потолка («это можно скорее почувствовать, чем увидеть...») с монотонным достоинством неторопливо сеется тонкая пыль. Со стены смотрит портрет какого-то военного. «Садитесь! — указывает офицер на три плотно сдвинутых стула на противоположной стороне кабинета. — Я хочу, чтобы мы друг друга поняли. — Он откидывается на высокую светлого дерева спинку кресла, устремляет взгляд в какую-то точку на потолке, и кажется, будто его уже нет здесь, в этом спертом, царапающем горло воздухе, и один только голос, неожиданно певучий голос его витает над их головами, растворяясь в кисее сигаретного дыма. — Повестку вы получили как злостные тунеядцы. И наверное, вы обратили внимание, что я не проставил в ней дату. Потому что на вас трехмесячный срок не распространяется. Но я склонен забыть обо всем. Это только от вас зависит. Я надеюсь, мы понимаем друг друга. — Время обволакивало его слова, как студенистая слизь обволакивает вековые окаменелости. — Я предлагаю: забудем прошлое. Но при условии, что вы примете мое предложение относительно будущего. — Петрина ковыряет в носу, а Иримиаш, завалившись на бок, пытается выдернуть полу пальто из-под задницы своего товарища. — Выбора у вас нет. Если откажетесь, то, как рецидивистов, я укатаю вас так, что вы на нарах состаритесь». — «А собственно, о чем речь?» — недоумевающе спрашивает Иримиаш. Но офицер, словно не слыша его, продолжает: «Вам было дано три дня. И вам даже в голову не пришло найти работу. Мне известен каждый ваш шаг... Я дал вам три дня, чтобы вы осознали, что́ можете потерять. Многого я вам не обещаю. Но свое получите». Иримиаш возмущенно фыркает, но потом подавляет гнев. Петрина напуган уже не на шутку: «Гадом буду, если я что-нибудь понимаю, извините за выражение...» Капитан пропускает это мимо ушей и продолжает, словно зачитывает приговор, в котором — между строк — подразумевается беспомощное возмущение осужденного. «Зарубите себе на носу, потому что я повторять не намерен: болтаться, лодырничать и возбуждать народ вы больше не будете. С этим кончено. Работать будете на меня. Это ясно?» — «О чем он говорит?» — глядит на Иримиаша лопоухий. «Не знаю, — бормочет Иримиаш. — Понятия не имею». Разгневанный капитан отрывает взгляд от потолка и сверкает на них глазами. «Молчать!» — говорит он прежним напевным голосом. Петрина, скрестив руки на груди, сидит, а точнее, почти лежит на стуле, прижав к его спинке затылок, и испуганно хлопает глазами; тяжелое зимнее пальто его распахнулось, как лепестки цветка. Иримиаш сидит прямо, его мозг работает лихорадочно, ярко-желтые остроносые башмаки его ослепительно сияют. «У нас есть права», — замечает он, и нос его недовольно морщится. Капитан с раздражением выпускает изо рта дым, и на лице его — правда, лишь на мгновение — показывается усталость. «Права?! — снова вскипает он. — Это вы рассказываете мне о правах? Да вашему брату закон только для того и нужен, чтоб его обходить! Чтобы было на что сослаться, когда вы в дерьме! Но с этим покончено... не препирайтесь, тут вам не дискуссионный клуб, понятно? Предлагаю смириться с мыслью, что отныне придется жить в соответствии... в строжайшем соответствии с законом». Иримиаш взмокшими ладонями потирает колени. «Ну а что это за закон такой?» Лицо капитана мрачнеет. «Закон сильнейшего, — говорит он, и кровь отливает от его лица, пальцы на подлокотниках кресла белеют. — Закон государства. Народа. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Тут вскакивает Петрина («Ну, вы все же решите, вы с нами на «вы» или на «ты». Лично я предпочел бы...»), но Иримиаш его останавливает и говорит: «Господин капитан, вы ведь не хуже нас знаете, что это за закон. Поэтому мы сейчас с вами, здесь, в общей компании. Но мы лояльные граждане. Мы знаем, что такое долг. Я хотел бы напомнить вам, что мы не однажды доказывали это на деле. Короче, мы на стороне закона. Вы тоже. Тогда к чему все эти угрозы, не понимаю...» Капитан насмешливо улыбается, заглядывая в непроницаемое лицо Иримиаша широко раскрытыми искренними глазами, и хотя в словах его чувствуется внезапная теплота, на донышке его зрачков сверкает скрытая ярость. «Я знаю вас как облупленных... Но правда и то, — он тяжело вздыхает, — что ума мне это не прибавляет». — «Правильно говорит! — с облегчением пихает товарища в бок Петрина и смотрит на капитана преданными глазами, на что тот, передернувшись, угрожающе поворачивается к нему. — Потому что, вы знаете, мне лишние треволнения ни к чему! Нервотрепки я уже не выдерживаю! — пытается он смягчить офицера, но видит, чувствует, что ничего хорошего из этого не получится. — Разве не лучше нам разговаривать, будто...» — «Заткни пасть! — ревет на него капитан и вскакивает из-за стола. — Вы что себе воображаете?! Да кто вы такие, засранцы, чтобы со мной шутить?! — Он в гневе плюхается на место. — Это мы-то на одной стороне?!..» Петрина, вскочив, отчаянно размахивает руками, пытаясь спасти то, что еще можно спасти: «О нет, упаси господь, я этого не сказал, да мы, смею вам доложить, и подумать не можем...» Капитан, ни слова не говоря, закуривает новую сигарету и напряженно смотрит перед собой. Петрина стоит в полном недоумении, вопрошающе глядя на Иримиаша. «Как вы оба меня достали! Дуэт «Иримиаш — Петрина» у меня уже вот где! — показывает капитан на шею, в его голосе слышен металл. — Да все вы такие, а я за вас отвечай, вашу мать!» Иримиаш поспешно вмешивается: «Господин капитан, вы нас знаете. Почему нельзя все оставить, как было? Да вон спросите хотя бы... («у Сабо...» — подсказывает Петрина) у старшины Сабо. Никогда с нами не было никаких проблем». — «Сабо вышел на пенсию, — с горечью говорит капитан. — И группу его передали мне». Петрина бросается к нему и пожимает запястье: «А мы тут сидим как бараны?! Ну, поздравляю вас, гражданин начальник, с величайшим моим почтением поздравляю!» Капитан раздраженно отталкивает руку Петрины. «А ну-ка, на место! Это еще что? — Он недовольно трясет головой, но потом, видя, что те двое явно струхнули, снова берет более дружелюбный тон. — В общем, слушайте. Я хочу, чтобы мы понимали друг друга. В стране сейчас все спокойно. Люди довольны. Так оно и должно быть. Но если бы вы читали газеты, то знали бы, что там, за бугром, ситуация кризисная. И мы не допустим, чтобы волны этого кризиса докатились до нашей страны, подорвав наши завоевания! На нас большая ответственность, понимаете, большая ответственность! Мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы типы навроде вас свободно шатались по нашей земле, тут нет места для конспирации. Напротив, вас надо использовать в нашем общем деле! Я знаю, что вы способные малые. Не думайте, что я это не понимаю! Ваше прошлое я ворошить не буду, вы свое за него получили. Но вы обязаны приспосабливаться к новым условиям! Понимаете?!» Иримиаш трясет головой: «Об этом не может быть речи, господин капитан! Нас обязать ни к чему невозможно. Но когда речь идет о долге, мы готовы на все, что только в наших силах...» Капитан снова вскакивает, глаза его выпучены, губы трясутся. «Что значит — невозможно вас обязать?! Да кто вы такие, чтобы мне перечить?! Так вашу в бога мать! Босяки! Ублюдки! Послезавтра в восемь утра жду вас здесь! А теперь пошли вон! Убирайтесь!» Он, дернувшись, отворачивается от них. Иримиаш, повесив голову, плетется к выходу, но прежде чем затворить за собою дверь и следовать за Петриной, который ящерицей устремился к выходу, он еще раз оглядывается на капитана. Тот потирает виски, лицо его... как бы прикрыто броней, тусклое, серое, оно поглощает свет, и вдруг кожа его наливается сверхъестественной силой: вырывающийся из пустот костей тлен стремительно заполняет все закоулки тела, проникая туда, где только что текла, приливая к поверхности кожи, победоносная кровь; один миг, и розоватой свежести как не бывало, и мышцы одеревенели, и тлен уже отражает свет, серебристо переливается, на месте красиво очерченного носа, изящных скул и тонких, как волосок, морщинок на лице появляются новый нос, новые морщины и новые лицевые кости, тлен сметает с него отпечатки минувшего, дабы запечатлеть на нем единственную печать — ту, с которой годы спустя его примет потусторонний мир. Иримиаш тихонько притворяет дверь и, ускорив шаг, пробирается по гудящему помещению, силясь догнать Петрину, который уже где-то в коридоре, он не оглядывается назад, чтобы посмотреть, следует ли за ним товарищ, опасаясь, что стоит ему оглянуться, как его позовут назад. Свет едва пробивается сквозь тяжелые облака, город дышит через шарфы, неприветливо воет ветер, и дома, тротуары, дороги беспомощно мокнут под проливным дождем. Из-за окон сквозь тюлевые занавески глядят в полумрак старухи и со сжимающимися сердцами видят на лицах людей, ищущих спасения под навесами, те же грехи и печали, что и в домах, и их уже не развеять ни теплом изразцовой печи, ни дымящимся, с пылу с жару, печеньем. Иримиаш яростно шагает по городу, Петрина с возмущенным видом семенит за ним на своих коротких ножках, иногда отстает, останавливаясь на минуту, чтобы отдышаться, полы его пальто развеваются на ветру. «Куда теперь?» — спрашивает он потерянно. Но Иримиаш его не слышит, он шагает вперед, бормоча проклятия: «Я этого так не оставлю... Он еще пожалеет об этом, болван...» Петрина прибавляет шаг. «Давай бросим к чертовой матери весь этот балаган! — предлагает он, но спутник пропускает его слова мимо ушей. — Пойдем к северному рукаву Дуная, — чуть громче добавляет Петрина. — Может, там что получится...» Иримиаш не видит его и не слышит. «Я башку ему отверну...» — говорит он и показывает, каким образом это сделает. Но Петрина не унимается: «Там тоже ведь есть чем заняться... Рыбным промыслом, к примеру сказать... Или, представь себе, какой-нибудь лох богатый задумает строиться...» Они останавливаются у корчмы, Петрина сует руку в карман и пересчитывает их наличность, после чего они открывают застекленную дверь. Внутри — всего несколько человек, из транзисторного приемника на коленях у смотрительницы туалета доносится полуденный колокольный звон; на колченогих столах, приготовившихся вновь стать свидетелями маленьких воскресений, но пока большей частью свободных, еще не просохли оставленные липкой тряпкой разводы; лишь четверо или пятеро сидящих поодаль один от другого мужчин со впалыми лицами и разочарованным видом, уставясь кто на молодую официантку, кто в стакан, кто на сочиняемое письмо, неспешно потягивают кофе, палинку или вино. Горькая спертая вонь смешивается с клубящимся сигаретным дымом, кислое дыхание поднимается к закопченному потолку; у входа, прячась за разбитой масляной печкой и время от времени с опаской поглядывая наружу, дрожит лохматая, насквозь вымокшая псина. «Ну-ка, поберегитесь, чертовы лоботрясы!» — проходя мимо столов с намотанной на швабру тряпкой, вопит уборщица. За стойкой буфетчица с огненно-рыжими волосами и детским лицом, подпирая стеллаж с черствыми десертами и бутылками дорогого шампанского, красит ногти. Со стороны зала к стойке привалилась дородная официантка с дымящейся сигаретой в одной руке и какой-то грошовой книжонкой в другой; переворачивая страницу, она от волнения облизывает губы. Вдоль всего помещения на стенах горят запыленные бра. «Двойной ром», — говорит Петрина, выкидывая два пальца, и облокачивается о стойку рядом с товарищем. Официантка продолжает читать. «И пачку серебряного «Кошута», — добавляет Иримиаш. Буфетчица за стойкой лениво отталкивается от стеллажа, аккуратно ставит перед собой флакончик с лаком, медленно и устало хлопая ресницами, наполняет стопку и ставит ее перед Иримиашем. «Семь семьдесят», — говорит она апатично. Но ни один из них не шевелится. Иримиаш заглядывает девушке в лицо, и глаза их встречаются. «Мы, кажется, заказывали две по сто!» — говорит он угрожающим тоном. Девушка смущенно отводит взгляд и поспешно наливает две стопки. «Извините», — робко ставит она перед ними ром. «А еще, кажется, речь шла о сигаретах!» — продолжает вполголоса Иримиаш. «Одиннадцать девяносто», — поспешно бормочет девушка, переводит взгляд на официантку, которая давится смехом, и машет ей, чтобы прекратила. Но поздно. «Могу я поинтересоваться, что вас так веселит?» Все взгляды устремляются на них. Улыбка застывает на лице официантки, она нервно поправляет под блузкой бретельку бюстгальтера и пожимает плечами. В помещении воцаряется тишина... У окна, выходящего на улицу, в кондукторской фуражке на голове сидит упитанный человек с лоснящейся кожей; он с изумлением смотрит на Иримиаша, быстро опрокидывает в себя стопку и неловко хлопает ею по столу. «Виноват...» — бормочет он, видя, что все оборачиваются к нему. В этот момент непонятно откуда раздается неясное жужжание или гул. Присутствующие, затаив дыхание, начинают следить друг за другом, ибо в первую минуту кажется, будто кто-то мурлычет себе под нос. Они украдкой косятся друг на друга — гул становится чуть громче. Иримиаш поднимает стопку, затем медленно опускает ее на стойку. «Здесь кто-то мурлычет? — негодует он про себя. — Кто осмелился издеваться над ними?! Что за черт?.. А может, это какой механизм?.. Или... светильники?.. Нет, все-таки кто-то мурлычет... Не тот ли сухой старикан у клозета?.. Или этот козел в кроссовках? Что тут происходит? Бунт?» Внезапно гул прекращается. Все молчат, недоверчиво переглядываясь... В руке Иримиаша дрожит стопка, Петрина нервно барабанит по стойке. Все сидят, опустив головы и потупив глаза, никто не пошелохнется. Смотрительница туалета испуганно шепчет официантке: «Может, вызвать полицию?» А буфетчица, чтобы как-то сдержать нервный смех, поспешно открывает кран в мойке и начинает греметь пивными кружками. «Да мы тут все повзрываем, — сдавленным голосом произносит Иримиаш, а затем повторяет громовым басом: — Мы тут все взорвем! Будем поодиночке взрывать их, — поворачивается он к Петрине, — этих трусливых тварей. Каждому по лимонке! Вон тому, — показывает он большим пальцем в сторону, — за пазуху! А этому, — кидает он взгляд в направлении печки, — под подушку! В дымоходы бросать, под коврики у дверей закладывать! Подвешивать к люстрам! Вставлять им в жопу!» Буфетчица и официантка жмутся друг к другу у дальнего конца стойки. Посетители в ужасе переглядываются. Петрина окидывает их ненавидящим взглядом. «Взрывать их мосты. Дома. Весь город. Их парки! Утреннюю благодать! Почту и телеграф! Одно за другим, методически... — Иримиаш, вытянув губы трубочкой, выдувает дым и елозит стопкой по пивной луже. — Надо же, черт возьми, довести начатое до конца». — «Вот именно, надоела уже эта неопределенность! — горячо кивает Петрина. — Методично все раздолбаем!» — «Города. Один за другим! — как в угаре продолжает Иримиаш. — Деревни. Лачуги самые отдаленные!» — «Бах! Бах! Бах! — взмахивая руками, кричит Петрина. — Эй вы, слышите?! Бабах — и привет! Все кончено, господа!» Он находит в кармане двадцатку и швыряет ее на стойку; приземлившаяся прямо в пивную лужу купюра медленно впитывает в себя влагу. Иримиаш тоже отходит от стойки и открывает дверь, но затем оборачивается: «Вам осталось несколько дней! Иримиаш порвет вас на части!» — выплевывает он на прощание и, презрительно оттопырив губу, обводит медленным взглядом помертвевшие от страха лица. Зловоние сточной канавы смешивается с запахами грязи, луж и вспыхивающих то и дело молний, ветер дергает провода, черепицу на крышах и покинутые птичьи гнезда; через щели рассохшихся, толком не закрывающихся низких окон в отдающий озоном мрак просачиваются наружу удушливое тепло, раздраженно-нетерпеливые возгласы обнимающихся влюбленных, требовательный крик младенцев; изгибающиеся улицы и осевшие, промокшие до корней парки покорно лежат под дождем; голые дубы, ломаные стебли цветов и выгоревшая трава безропотно стелются перед бурей, как жертва у ног палача. Петрина, посмеиваясь, ковыляет за Иримиашем: «К Штайгервальду?» Но спутник не слышит его. Он поднял воротник клетчатого пальто, сунул руки поглубже в карманы и, вскинув голову, несется куда глаза глядят, минуя одну за другой улицы, нигде не сбавляя шагу и не оглядываясь назад; свисающая изо рта сигарета давно промокла, но он этого даже не замечает; Петрина тем временем продолжает осыпать мир отборнейшими проклятиями, кривые ноги его подкашиваются, он отстал уже от Иримиаша шагов на двадцать, но тщетно взывает к нему («Эй, постой! Ну куда ты несешься! Я что тебе, угорелый?»), тот не ведет и ухом, а тут еще лужа, в которую Петрина погружается по самые щиколотки, он отдувается, в изнеможении привалившись к какой-то стене, и бормочет: «Не выдерживаю я уже таких скоростей...» Но через пару минут перед ним снова возникает Иримиаш, его мокрые патлы свешиваются на глаза, остроносые ярко-желтые туфли заляпаны грязью. С Петрины капает вода. «Ты посмотри-ка, — показывает он на свои уши. — Сплошная гусиная кожа!» Иримиаш неохотно кивает и, откашлявшись, говорит: «В поселок пойдем». Петрина смотрит на него, выпучив глаза: «Куда?.. Да ты что?.. Сейчас?.. Мы с тобой?.. В поселок?» Иримиаш достает из пачки еще одну сигарету и, прикурив, резко выпускает дым: «Да. Прямо сейчас». Петрина снова приваливается к стене: «Послушай, приятель и друг мой, учитель мой и спаситель, палач и мучитель! Я до костей продрог и оголодал, я хочу в тепло — обсушиться, поесть, и у меня нет никакого желания тащиться бог знает куда в эту проклятую непогоду, да еще и вприпрыжку бежать за тобой, будто полоумный, черт бы подрал ранимую твою душу! Вот так!» Иримиаш равнодушно отмахивается от него: «По мне, так ты можешь идти куда хочешь». И он отправляется дальше. «Ты куда? Ну куда ты бежишь? — в гневе кричит Петрина и устремляется вслед за ним. — Да куда же ты без меня... Стой, тебе говорят! Ты слышишь?» Когда они покидают город, дождь ненадолго стихает. Наступает ночь. Не видно ни звезд, ни луны. У поворота на Элек метрах в ста перед ними маячит тень; только позже они догадаются, что это одетый в брезентовый дождевик мужчина; он свернет на межу и исчезнет во тьме. По обеим сторонам дороги до самого горизонта, местами прикрытого мрачными пятнами леса, все залито грязью, и поскольку ночная тьма размывает все очертания, поглощает цвета, неподвижное заставляет парить, а все движущееся, напротив, сковывает, то дорога напоминает севший на мель корабль, загадочно покачивающийся в тинистом океане. Ни единая птица не взрежет своим полетом застывшую массу неба, и ни одна зверушка не нарушит своей возней тишину, которая, словно рассветный туман, колышется над землей, и лишь одинокая встревоженная косуля где-то вдали, приготовившись к бегству, то вскидывает, то опускает голову в такт кажущемуся дыханию грязи. «Боже мой! — вздыхает Петрина. — Как подумаю, что мы доберемся туда только к утру, так у меня отнимаются ноги! Почему было не попросить у Штайгервальда грузовик? А тут еще это пальто! Я же не Геркулес!» Иримиаш останавливается, ставит ногу на километровый камень и достает сигареты; прикрывая огонь руками, оба закуривают. «Я могу тебя кое о чем спросить, убийца?» — «Ну, спроси». — «Зачем мы идем в поселок?» — «Зачем? Тебе есть где заночевать? Есть у тебя еда? А деньги? Так что не ной, иначе я тебе сверну голову!» — «Хорошо. Я тебя понимаю. Ну а дальше? Ведь нам послезавтра придется вернуться, не так ли?» Иримиаш скрежещет зубами, не отвечая. Петрина вздыхает: «Эх, приятель, ума у тебя палата, мог бы что-нибудь и придумать! Не хочу я на этих... вот так... Не могу оставаться на одном месте. Петрина, если ты хочешь знать, родился под вольным небом, под ним прожил жизнь и под ним умрет!» Иримиаш с горечью машет рукой: «Мы в дерьме, старина. От этих мы в жизнь не отделаемся». — «О маэстро! Не надо так говорить! — молитвенно складывает руки Петрина. — У меня до сих пор душа в пятках». — «Ну, ладно, не надо в штаны накладывать. Вот отберу у них деньги, и мы слиняем. Как-нибудь обойдется...» Они двигаются дальше. «Ты думаешь, у них есть деньги?» — недоверчиво спрашивает Петрина. «У мужика завсегда что-нибудь да есть». Они долго, километр за километром, шагают молча; вот они уже примерно на полпути между развилкой и поселковой корчмой; над их головами временами проглядывают звезды, но потом все опять погружается в плотную мглу; иногда сквозь мглу просвечивает и луна и, подобно тем двум ходокам внизу, на мощенном бутовым камнем тракте, одолевая невидимые препятствия, вплоть до рассвета пробивается по небесному полю боя к какой-то цели. «Интересно, что скажут эти лапотники, когда нас увидят... — оглядывается на спутника Иримиаш. — То-то будет сюрприз». Петрина прибавляет шагу. «А с чего ты взял, что они еще там? — обеспокоенно спрашивает он. — Я полагаю, они уж давно свалили. Уж наверно хватило ума». — «Ума? — усмехается Иримиаш. — У кого? У этих? Как были рабами, так и останутся, пока не загнутся. Сидят по кухням, тут же гадят в углу да подсматривают в окно за соседями». — «Ну, не знаю, приятель, с чего это ты так уверен, — говорит Петрина. — Я думаю, там уже никого нет. Пустые дома, черепицу с крыш растащили, в лучшем случае найдем пару оголодавших крыс на мельнице». — «Ничего подобного, — уверенно отвечает Иримиаш. — Они так и сидят там, на тех же самых замызганных табуретках, по вечерам лопают свой картофельный паприкаш и не понимают, что с ними произошло. Подозрительно пялятся друг на друга, отрыгивают в тишине. И чего-то ждут. Ждут настойчиво, терпеливо, в твердой уверенности, что кто-то их обманул. Ждут, притаившись, как кошки во время убоя свиньи, — вдруг что-нибудь им обломится. Они — как прислуга в замке, где застрелился барин, — топчутся вокруг трупа, не зная, что с ними будет...» — «Хватит поэзии, командир, я уже загибаюсь!..» — пытается прервать его Петрина, держась за урчащий живот. Но Иримиаш не обращает на него никакого внимания, его понесло: «Они рабы, которые потеряли хозяина, но не могут жить без того, что они называют гордостью, честью и мужеством. Это им помогает жить, хотя они понимают своими тупыми мозгами, что всеми этими качествами не обладают, они просто привыкли жить в их тени...» — «Ну, хватит, — стонет Петрина и трет глаза, на которые с его плоского лба градом катится пот. — Умоляю тебя, давай этот разговор отложим до завтра!.. А сейчас лучше поговорим, например... о горячем фасолевом супе!» Но Иримиаш и это пропускает мимо ушей и ничтоже сумняшеся продолжает: «И с этой тенью... они неразлучны... Куда эта тень, туда и они, как стадо баранов, потому что не могут они без тени, как не могут без пышности и химер («Старина, прекрати ради бога...» — скулит Петрина)...а когда с этой пышностью и химерами их бросают на произвол судьбы, они свирепеют, как бешеные собаки, и громят все подряд. Им подайте теплую конуру, и чтобы в той конуре по вечерам на столе дымился, черт побери, их любимый паприкаш, ну а ночью для полного счастья под жаркой периной чтобы можно было еще и бабенку соседскую оприходовать... Ты слышишь меня, Петрина?!» — «Охо-хо! — вздыхает Петрина и с надеждой спрашивает: — А что, ты уже закончил?» Они уже видят покосившийся забор у дома дорожного мастера, убогий сарай и ржавый бак для воды, когда из-за высокой кучи сорняков рядом с ними раздается осипший голос: «Это я! Погодите!» Навстречу им, сверкая глазами и ухмыляясь, бросается продрогший и вымокший до нитки взъерошенный мальчишка двенадцати — тринадцати лет в закатанных до колен штанах. Петрина узнает его первым: «А, это ты?.. Ты чего здесь, негодник, делаешь?» — «Да я уже битый час вас жду, черт возьми...» — с гордостью заявляет он и быстро опускает голову. Длинные патлы свешиваются на его рябое лицо, в согнутых пальцах горит сигарета. Иримиаш пристально смотрит на пацана, тот вскидывает на него глаза, но тут же их опускает. «Ну, чего тебе, говори...» — покачав головой, спрашивает Петрина. Мальчишка обращает взгляд на Иримиаша. «Вы обещали... — начинает он, запинаясь, — что это... что если...» — «Ну, говори уже!» — подстегивает его Иримиаш. «Что если я всем скажу... — выдавливает тот из себя, ковыряя землю ногой, — скажу, что вы умерли, то вы меня... с женой Шмидта сведете...» Петрина хватает мальчишку за ухо. «Что ты сказал?! — обрушивается он на него. — Ты только вчера с горшка слез, а уже о бабах мечтаешь?! Ах ты, поганец!» Пацан выворачивается у него из рук и, гневно сверкая глазами, кричит: «Пусти, старый мерин, иди лучше подрочи!» Не вмешайся тут Иримиаш, дело кончилось бы дракой. «Ну-ка, хватит! — рявкает он на них. — А как ты пронюхал, что мы идем?» Мальчишка, стоя на безопасном расстоянии от Петрины, трет ухо. «Пусть это будет моим секретом, — говорит он. — Хотя уже все равно... Об этом все знают. Кондуктор сказал». Иримиаш осаживает Петрину, который, яростно вращая глазами, готовится к беспощадной расправе («Да уймись ты! Оставь его!»), и поворачивается к мальчишке: «Какой кондуктор?» — «Келемен. Который за поворотом на Элек живет. Он вас видел». — «Келемен? Стал кондуктором?» — «Ага. Еще весной. На автобусе дальнего следования. Только автобус теперь не ходит, вот он и болтается...» — «Понятно», — говорит Иримиаш и отправляется дальше. Мальчишка бежит за ним: «Я сделал, что вы просили... Надеюсь, вы тоже сдержите...» — «Я слов на ветер не бросаю!» — холодно отвечает Иримиаш. Мальчишка следует за ним тенью; иногда, когда удается его обогнать, он украдкой заглядывает ему в лицо и снова пристраивается у него за спиной. Петрина изрядно от них отстает, и хотя голос его до них не доносится, они знают, что он нещадно сейчас костерит непрекращающийся ливень, грязь, чертова пацана и весь остальной мир «с ним заодно». «А фотография-то у меня сохранилась!» — говорит мальчишка шагов через двести. Но Иримиаш не слышит его или притворяется, будто не слышит; высоко подняв голову, он широко шагает посередине тракта, рассекая ночную тьму крючковатым носом и выставленным вперед острым подбородком. «Не хотите взглянуть?» — не унимается мальчишка. Иримиаш медленно переводит на него взгляд: «Какая еще фотография?» Их догоняет Петрина. «Так хотите взглянуть?» Иримиаш кивает. «Да не тяни ты, бесенок!» — понукает его Петрина. «Но тогда мировая?» — «Идет». — «Только, чур, из моих рук!» — ставит условие мальчишка и лезет за пазуху. На фото они стоят в городе перед какой-то будкой, справа — причесанный на косой пробор Иримиаш в клетчатом пиджаке, в красном галстуке, брюки вытянуты на коленях; рядом с ним — Петрина в сатиновых трусах и в большой не по росту футболке; сквозь оттопыренные уши просвечивает солнце. Иримиаш насмешливо щурится, Петрина стоит с торжественно мрачным видом, глаза прикрыты, рот, напротив, слегка приоткрыт. Слева в кадр просунулась чья-то пятерня с зажатой в ней пятидесятифоринтовой купюрой. За спиной у них видна накренившаяся карусель, которая словно бы только что начала заваливаться набок. «Нет, ты смотри-ка! — восторженно восклицает Петрина. — Да ведь это действительно мы, приятель! Я готов чем угодно поклясться! А ну, дай-ка, хочу разглядеть получше свою старую рожу». Но мальчишка отталкивает его руку: «Эй, куда! Бесплатного кина не будет. Убери свои грязные лапы!» И он, вложив снимок в целлофановый пакет, прячет его за пазухой. «Ну постой же ты, братец, — заискивающим тоном просит его Петрина. — Дай как следует разглядеть, я почти ничего не увидел». — «Если хочешь как следует разглядеть, тогда... — мальчишка задумался, — тогда обещай, что этой весной сведешь меня с женой корчмаря, у нее тоже вон сиськи какие!» Петрина, чертыхаясь, отправляется дальше («Ишь, удумал чего, дьявольское отродье!»). А мальчишка хлопает его по спине и бросается догонять Иримиаша. Петрина размахивает вслед ему руками, но потом, вспомнив о фотографии, улыбается, хмыкает и прибавляет шагу. Вот они уже у придорожного распятия, откуда до цели каких-нибудь полчаса. Мальчишка с восторгом взирает на Иримиаша, забегая то с одной, то с другой стороны. «Мари сейчас с корчмарем путается, — объясняет он во весь голос, время от времени затягиваясь догоревшей до пальцев и бог знает в который раз прикуренной сигаретой. — Жена Шмидта — та связалась давно уж с хромым, ну а директор... делает сам себе... Вы представить себе не можете... до чего отвратительная эта тварь!.. А младшая моя сестренка — она совсем свихнулась... все молчит и молчит... и за всеми шпионит... все время... мамка ее колотит, только без толку... ей это не помогает... говорят, она так и останется дурочкой на всю жизнь... А доктор как сыч сидит дома... хотите верьте, хотите нет... сидит, ничего не делает, ну вообще ничего! День и ночь в своем кресле, он и спит в нем, а в доме такая стоит вонища, как в какой-то крысиной норе, свет горит днем и ночью, ему это без разницы, а сигареты он самые дорогие курит и пьет как лошадь, безостановочно, не верите — спросите хотя бы у госпожи Кранер, она подтвердит, что все так и есть. Да, чуть было не забыл: Шмидт и Кранер как раз сегодня должны вернуться с деньгами за скот, что выращивали тут с февраля все, кроме мамки моей, которую эти гады не взяли в компанию. Что с мельницей? Да туда уже только вороны наведываются да мои старшие сестры, шлюхи, они мужиков туда водят, ну а деньги, вы представляете, все подчистую у них наша мать забирает, ну они и ревут, идиотки! На их месте я не отдал бы, это как пить дать! Что? В корчме? Там больше нельзя! У жены корчмаря пасть такая — как у коровы задница, хорошо еще, она наконец-то на городскую квартиру перебралась и собирается там до весны оставаться, потому что, мол, ей неохота в грязи купаться, и это чистая ржачка, что корчмарь регулярно раз в месяц вынужден наведываться домой, а возвращается всякий раз как кусок дерьма, так жена его измочаливает... А «Паннонию» свою он продал и купил себе вместо классного мотика какую-то тачку, которая на ладан дышит, и приходится ее всем поселком толкать, потому что когда он в город едет, то всем что-то нужно, вот все ее и толкают, иначе мотор не заводится... И он еще говорит, будто на драндулете этом областные гонки однажды выиграли, вот умора, ха-ха! Кстати, он сейчас с одной из моих сестер, потому что мы с прошлого года ему за семена должны...» Вдали уже показались освещенные окна корчмы... ни слова, ни звука оттуда не слышно... тишина, как будто в корчме ни души... Но вот из корчмы доносятся звуки аккордеона... Иримиаш счищает со своих свинцово-тяжелых туфель грязь... Он откашливается... и осторожно толкает дверь... В этот момент опять припускает дождь, на востоке вспышкой памяти полыхает заря, окрашивая багрово-голубыми бликами небо, навалившееся на неровную линию горизонта, и вот, с тем же жалким убожеством, с каким попрошайка взбирается в ранний час по ступенькам паперти, уже поднимается солнце, чтобы сотворить тени и выделить деревья, землю, небо, зверей и людей из той хаотично застывшей массы, в которой они безнадежно запутались, как в паутине мухи, между тем как на западной половине неба еще видна убегающая ночь, видны ее жуткие призраки, кувыркающиеся за горизонт, как остатки разбитого и растерянного побежденного войска.

### III. В курсе дел

*С завершением палеозоя по всей Центральной Европе начинается прогибание суши. Не является исключением и территория нашей родины. На новом геологическом этапе горные образования палеозойского возраста опускаются вниз, и их покрывают морские осадки. В результате территория современной Венгрии становится северо-восточным заливом моря, обступающего юг Европы. И на протяжении всей мезозойской эры господствующим ландшафтом здесь остается морской.*

Привалившись плечом к холодной сырой стене, доктор угрюмо сидел у окна. Чтобы сквозь щель между замызганной цветастой занавеской, оставшейся от покойной матери, и трухлявым оконным переплетом присматривать за поселком, ему даже не нужно было поворачивать голову — достаточно было лишь бросить взгляд поверх книги, чтобы заметить малейшее изменение обстановки, а если — по той ли причине, что он погрузился в мысли, или же потому, что отошел от окна, — все же случалось что-либо упустить из виду, то на помощь ему приходил его безупречный слух; но в мысли он погружался довольно редко и еще реже поднимался с кресла, устеленного одеялами и зимним пальто на меху, ибо местоположение сего кресла было определено на основе всей совокупности опыта его повседневной деятельности таким образом, чтобы свести до минимума число случаев, когда он был вынужден покидать свой наблюдательный пост у окна. Разумеется, это было отнюдь не простой задачей, в два счета решить ее было невозможно. Напротив, ему пришлось собрать и расположить в оптимальном порядке все, что только могло понадобиться для еды, питья и курения, для ведения дневника и чтения, а также несметного множества всяческих повседневных дел; больше того, он должен был отказаться от всякого попустительства по отношению к самому себе и не оставлять безнаказанной ни одной ошибки; ведь поступай он иначе, то действовал бы в конечном счете против собственных интересов, поскольку ошибка, оправданная нашей рассеянностью или невнимательностью, только усиливает опасность и влечет за собою последствия куда более тяжкие, чем может показаться на первый поверхностный взгляд: за лишним движением вполне может скрываться подступающая уязвимость; положенный не туда спичечный коробок или поставленная не на место стопка уже сами по себе являются катастрофическими монументами амнезии, не говоря о том, что подобного рода ошибки влекут за собой дальнейшие трансформации: приходится передвигать уже сигареты, тетрадь, перочинный нож, карандаш, в результате меняется вся система оптимальных телодвижений, наступает хаос, и все идет прахом. Нет, создать обстановку, предельно благоприятную для ведения наблюдений, удалось далеко не сразу; система складывалась годами, ежедневно шлифуясь в процессе самообвинений и бичевания, накатывающего волнами ужаса от повторяющихся промахов, но после начального замешательства, неуверенности и периодических приступов отчаяния пришло время, когда ему больше не приходилось следить за каждым отдельным движением, все предметы обрели свои окончательные места, и он мог уверенно, не задумываясь, управлять своей деятельностью вплоть до мельчайших ее аспектов; вот когда он без зазнайства и самообмана смог наконец-то сказать себе, что его жизнь вошла в правильную колею. Конечно, и после этого потребовались еще месяцы, чтобы освободиться от страха, ибо он знал, что, невзирая на безупречность порядка внутри помещения, во всем, что касалось снабжения провиантом, палинкой, сигаретами и иными предметами первой необходимости, он — к величайшему сожалению — зависел от посторонних людей. Однако его беспокойство по поводу госпожи Кранер, которой он поручил продовольственные закупки, а также сомнения относительно корчмаря, оказались безосновательными: женщина была пунктуальна, и удалось даже отучить ее от привычки нарушать его покой своим неожиданным появлением с каким-нибудь экзотическим для поселка блюдом («Угощайтесь, господин доктор, пока не остыло!»). Что до напитков, то их в изрядных количествах и через длительные промежутки времени он либо покупал сам, либо — чаще — за определенную мзду поручал эту операцию корчмарю, который — из опасения, что непредсказуемый доктор однажды может лишить его своего доверия, а тем самым и гарантированного дохода, — делал все возможное, чтобы наилучшим образом удовлетворить все, включая на первый взгляд пустяковые, а то и совсем абсурдные пожелания. Таким образом, этих двоих можно было не опасаться, что же касается остальных поселковых, то они уж давно отвыкли от того, чтобы без предупреждения вламываться к нему из-за внезапной температуры, травмы или расстройства желудка, поскольку все они почему-то думали, что, лишившись места, он потерял и врачебные навыки, и надежность. Последнее — хоть и являлось некоторым преувеличением — было не лишено оснований: значительную часть своих сил он обращал на то, чтобы остановить разрушение своей хрупкой памяти, и не сопротивлялся, когда из нее выпадало что-нибудь лишнее. Несмотря на все это, он пребывал в состоянии постоянной тревоги, потому что — как он с заметной регулярностью отмечал в своем дневнике — «от этих можно ждать всего что угодно!». И по этой причине, стоило появиться госпоже Кранер или корчмарю на его пороге, он в течение долгих минут молча разглядывал их, пристально смотрел им в глаза, чтобы по быстроте бросаемых под ноги или в сторону взглядов, по меняющемуся соотношению светящейся в их глазах недоверчивости, любопытства и страха определить, готовы ли они и впредь соблюдать уговор, на котором покоилось их деловое сотрудничество, и лишь после этого знаком приглашал подойти поближе. Общение с ними сводилось к минимуму, на их приветствия доктор не отвечал и, едва заглянув в их набитые сумки, так неприязненно наблюдал за их нескладными жестами, с такой угрюмой и раздраженной гримасой выслушивал их неловко преподносимые просьбы и оправдания, что те (в особенности госпожа Кранер), обычно прервавшись на полуслове, поспешно и, не считая, прятали заранее приготовленные доктором деньги и убирались вон. По всей вероятности, тем же самым объяснялось и то, почему он так не любил приближаться к двери; ибо он чувствовал себя просто больным — начинала болеть голова или внезапно наступал приступ удушья, — когда ему приходилось (в основном по небрежности кого-то из этих двоих) подниматься с кресла, чтобы принести что-нибудь из дальнего конца комнаты; в таких случаях (после долгих мучительных колебаний) он старался справиться с этим как можно скорее и все же, вернувшись на место, чувствовал, что день был непоправимо испорчен: его охватывало глубокое непонятное беспокойство, стакан или карандаш начинали дрожать у него в руке, он делал в своем дневнике раздраженные записи, которые затем, разумеется, размашисто и со злостью вычеркивал. Нечего удивляться, что в этой проклятой части дома царил совершенный хаос: на прогнивший, трухлявый пол толстым слоем налипла засохшая грязь, вдоль стены у двери вольно росли сорняки, справа валялась затоптанная до неузнаваемости шляпа, вокруг которой были разбросаны объедки, полиэтиленовые пакеты, несколько склянок из-под лекарств, вырванные из тетради листы бумаги и огрызки карандашей. Вопреки своей — по мнению некоторых, чрезмерной, чуть ли не патологической — любви к порядку, доктор и пальцем не шевелил, чтобы пресечь сие безобразие: дело в том, что он был убежден, что дальняя эта часть помещения «относится к внешнему миру», является уже частью враждебного, чуждого окружения, и именно в этом он видел неопровержимое объяснение своих страхов, тревог, беспокойства и неуверенности, ведь его защищала стена лишь с одной стороны, а с другой стороны он в любой момент мог подвергнуться нападению. Из комнаты дверь вела в темный и тоже поросший сорняками коридор, откуда можно было попасть в уборную, где уже много лет не работал сливной бачок, и его заменяло ведро, которое трижды в неделю должна была наполнять водой госпожа Кранер. На одном конце коридора были две двери с навешенными на них большими ржавыми замками, а с другой стороны находилась наружная дверь. Уже здесь, едва переступив порог, госпожа Кранер, у которой имелся свой ключ, как правило, ощущала ту резкую кисловатую вонь, которая в этом доме пропитывала ее одежду и даже, как настаивала она, ее кожу, и тщетно она — в такие вот «докторские дни» — мылась с двойным усердием, это не помогало. Именно этой причиной в ответ на расспросы объясняла она госпоже Халич и госпоже Шмидт необычную кратковременность своих визитов к доктору; она просто не могла выдерживать это зловоние более двух минут, «как есть говорю вам, это невыносимо! Я просто не представляю, как можно жить в такой жуткой вони. Вроде бы образованный человек, а поди ж ты...» Но доктор не обращал внимания на невыносимый запах, как и на все остальное, не имевшее непосредственного отношения к его наблюдательному посту; зато с тем большим вниманием и знанием дела оберегал он порядок среди окружавших его вещей, отслеживал расстояние, отделявшее друг от друга продукты и столовые приборы, сигареты и спички, дневник и книги, разложенные на столе, подоконнике и изъеденном прожорливыми жучками полу вокруг кресла; иногда, оглядывая в неожиданно рано сгустившемся полумраке уютно расставленные предметы, он испытывал теплоту и некоторое чувство удовлетворения от сознания, что в центре всего этого универсума, уверенный и всесильный, стоит он. Несколько месяцев назад он признал, что в дальнейших экспериментах нет ровно никакого смысла, а затем достаточно быстро убедился и в том, что даже и при желании не смог бы произвести ни малейшего изменения; какие бы то ни было изменения не могли привести к положительным результатам хотя бы уже потому, что само по себе стремление к переменам казалось ему скрытым симптомом разрушения памяти. Между тем все последнее время он занимался тем, что пытался уберечь, защитить свою память от наблюдаемого вокруг тотального разложения; начиная с того момента, когда — вскоре после того, как было объявлено о ликвидации поселка и он решил все же дождаться здесь отмены приказа об увольнении, — он отправился на мельницу со старшей из дочек Хоргош, откуда мог наблюдать за шумными сборами, за лихорадочной беготней и воплями, за исчезающими вдали грузовыми машинами, и ему показалось, что от смертного приговора весь поселок словно бы покосился; он же чувствовал себя слишком слабым, чтобы в одиночку противостоять торжеству разрушения, этой силе, уничтожающей, губящей все подряд: дома, стены, деревья, поля, пикирующую с неба птицу и неслышно бегущего зверя, человеческие тела, желания и надежды; он знал, что сопротивление бесполезно, что, как бы он ни старался, ему не остановить это гнусное покушение на человечество, и поэтому он решил делать то, что казалось ему по силам, — противостоять этому роковому зловещему разложению своей памятью, полагая, что даже в том случае, если все, что на этой земле построили каменщики, срубили плотники, сшили портнихи, — все, что создано в поте лица женщинами и мужчинами, превратится в жижу, текущую загадочными подземными ходами неизвестно куда и зачем, его память будет все это хранить, пока его организм «соблюдает тот уговор, на котором покоится их деловое сотрудничество», то есть пока его кости и плоть не станут добычей стервятников смертного тлена. Он принял решение внимательно наблюдать за происходящим и все тщательно «документировать», стремясь не упустить ни единой малейшей детали, ибо вдруг осознал, что игнорирование незначительных на первый взгляд вещей равносильно признанию, что человек обречен беспомощно балансировать на «шатком веревочном мостике», переброшенном над бездной между распадом и некоторым порядком; поэтому, сколь бы ни были несущественны события и детали, к примеру «фигура, начерченная на столешнице» рассыпавшимися табачными крошками, направление перелета диких гусей или последовательность бессмысленных на посторонний взгляд человеческих действий, мы должны с неослабным вниманием отслеживать и фиксировать их, если хотим надеяться, что и сами не станем однажды бесследными и безгласными пленниками этого распадающегося и вечно воссоздающегося дьявольского порядка. Однако одной добросовестной фиксации недостаточно; «память сама по себе бессильна, ей с этой задачей не справиться», и нужно найти какие-то средства, совокупность устойчивых и понятных символов, благодаря которым можно расширить объем беспрерывно функционирующей памяти. Поэтому будет лучше всего — уже там, на мельнице, решил доктор — «свести к минимуму круг вещей, которые могут расширить число событий, за которыми нужно вести наблюдение», и тем же вечером, грубо турнув домой недоумевающую дочку Хоргош, которой он объявил, что не нуждается больше в ее услугах, доктор установил свой пока еще примитивный наблюдательный пост у окна и взялся за разработку основных элементов системы, которая кому-то могла показаться безумной. За окном уже брезжил рассвет, вдалеке, над Соленой Падью, медленными кругами зловеще кружили четыре потрепанные вороны. Он поправил на плечах одеяло, нащупал в потемках сигареты и закурил. *В меловой период среди пород, формирующих физический состав нашей родины, можно выделить две основные группы. Внутренний массив в это время систематически погружается. Формируется котловинная область, в которой активно накапливаются бассейновые отложения. Вместе с тем на периферии прогиба мы наблюдаем подъем коры, то есть формирование синклинальной складчатой системы... Так в истории Внутренних Карпат открывается новая глава, берет начало очередной этап геологического развития, в ходе которого, как бы в виде реакции, до этого прочные связи между складчатым обрамлением и центральным массивом начинают рушиться. Напряжение внутри земной коры ищет разрядки, и она наступает, когда внутренний монолитный, до этого прочный массив растрескивается и обрушивается, в результате чего в Европе возникает один из самых красивых бассейнов. Так в месте обрушения земной коры в начале неогена возникает море.* Он оторвался от книги и заметил, как за окном неожиданно, словно желая атаковать округу, забушевал ветер; на востоке горизонт медленно залил багрянец, а затем из-за мрачно бегущих туч на небосклоне показался и бледный солнечный диск. Перед домами Шмидтов и директора школы, вдоль узкой грунтовки, испуганно и покорно закивали своими кронами хилые акации; ветер яростно погнал по дороге сухую листву, и какая-то черная кошка в панике шмыгнула под забор директорского дома. Он отложил книгу в сторону и, подвинув к себе тетрадь, зябко поежился от задувающего в оконные щели ветра. Загасив сигарету о подлокотник кресла, он нацепил очки, пробежал глазами по строчкам, написанным за ночь, после чего продолжил: «Надвигается буря. Вечером обязательно застелить подоконник рухлядью. Футаки еще не показывался. К директору школы прошмыгнула кошка, раньше я ее не видал, какого черта понадобилось здесь кошке?! Видно, что-то ее напугало, иначе в такую узкую щель ей было бы не протиснуться... Чуть не расплющилась, но все же пролезла! Сегодня опять не спал. Болит голова». Он опрокинул в себя загодя приготовленную стопку палинки и быстро наполнил ее до того же уровня. Он снял очки и неосмотрительно смежил глаза. В темноте он увидел мчащуюся куда-то расплывчатую фигуру, крупную, высоченную, неуклюже двигающуюся; было уже слишком поздно, когда он заметил, что дорога, эта «кривая, изобилующая препятствиями дорога», неожиданно обрывается. Но, не дожидаясь, пока этот человек сорвется, он в ужасе открыл глаза. Ему послышалось, будто где-то ударил колокол. Ударил и тут же умолк. Колокол? Да еще так близко... во всяком случае, ему почудилось, что совсем близко. Через щель между занавесками он окинул холодным взглядом поселок. В окне у Шмидтов мелькнуло размытое пятно, в котором он тут же узнал мятую физиономию Футаки: тот выглянул в распахнутое окно и с испуганным видом стал что-то высматривать поверх домов. Чего ему нужно? Доктор вытащил из кучи бумаг, громоздившихся на столе, тетрадку с надписью ФУТАКИ и отыскал нужную ему страницу. «Футаки чего-то боится. На рассвете он испуганно выставился в окно. Ф. боится смерти». Он махом осушил стопку и снова налил в нее палинки. Потом закурил и вслух произнес: «Так и так скоро все околеете. И ты тоже загнешься, Футаки. Только не надо бздеть». Немного спустя за окном пошел дождь. И вскоре он лил уже как из ведра, вода, заполнив выбоины и колдобины, растеклась во все стороны стремительными ручьями. Пристально понаблюдав за ними, доктор открыл тетрадь, набросал эскиз, добросовестно обозначив на нем все, даже самые небольшие потоки и лужи, и проставил под рисунком точное время. В комнате постепенно светлело, но под потолком все еще горела рассеивающая холодный свет голая лампочка. Доктор устало поднялся, выпутался из одеял, выключил свет и снова уселся в кресло. Из большой картонной коробки, стоявшей по левую руку от кресла, он достал банку рыбных консервов и кусок сыру. С одного края сыр уже тронула плесень; немного поизучав его, он швырнул кусок в кучу мусора возле двери. Вскрыл консервную банку и принялся есть, методично и основательно пережевывая еду, прежде чем проглотить. Затем он выпил еще одну стопку палинки. Он больше не мерз, но какое-то время еще продолжал кутаться в одеяло. Он положил на колени книгу и резким движением снова наполнил стопку. *Интересно будет пронаблюдать, какие внушительные перемены и разрушения повлечет за собой совместная работа воды и ветра в конце позднего миоцена, когда море в районе Большого Алфельда уже изрядно обмелеет и будет являть собою обширное мелкое озеро наподобие Балатона.* «Это что, книга судеб или геологическая история Венгрии?» — раздраженно проворчал доктор и перелистнул страницу. *В то же самое время на всей территории Большого Алфельда земная кора медленно поднимается, и воды раздробленных водоемов стекают в другие места. Без этих эпирогенных подвижек центрального массива Паннонской низменности мы не могли объяснить быстрое исчезновение левантинских озер. В эпоху плейстоцена после исчезновения застойных вод о бывшем внутреннем море напоминали только небольшие озера, болота и топи...* Текст местного краеведа д-ра Бенды звучал не совсем убедительно, примитивность логических построений вызывала подчас улыбку, и все же во время чтения, пусть он и не разбирался в теме и не понимал специальных терминов, перед глазами его оживала история лежавшей под ним и вокруг него земли, казавшейся сейчас такой прочной и окончательно сформированной; при этом из-за неровности и убогости стиля незнакомого автора, который сбивался то на прошедшее, то на будущее время, доктор не мог, да и не хотел устанавливать, с чем он в конце концов имеет дело: с опытом провидческого описания некоего постчеловеческого состояния или с реальной историей той земли, на которой он вынужден был жить. Его просто завораживала мысль о том, что миллионы лет назад поселок и земли вокруг него, некогда тучные, плодородные, покрывало море... что время от времени суша и море сменяли друг друга, и тут — продолжая исправно фиксировать, как на проселке, идущем от Соленой Пади, показался коренастый, покачивающийся при ходьбе Шмидт в промокшей фуфайке и отяжелевших от грязи сапогах, показался и тут же торопливо, словно боясь быть замеченным, прошмыгнул через заднюю калитку к себе домой — доктор погрузился в нахлынувшие волны времени, холодно ощущая ничтожность собственного бытия: он виделся себе беспомощной, беззащитной жертвой, песчинкой на содрогающейся земной коре, хрупкая дуга его жизни между рождением и смертью исчезла в безмолвной схватке накатывающих морей и вздымающихся над водами горных кряжей; он уже почти ощущал под креслом, поддерживающим его раздобревшее тело, едва уловимую дрожь, служившую, может быть, предвестием очередного вторжения моря, предупреждением, бесполезным призывом к бегству, из-под власти которого невозможно освободиться, и вот он уже мчится вместе с обезумевшим стадом оленей, вместе с наводящей ужас, несущейся сломя голову армией медведей, зайцев, косуль, крыс, насекомых и ящериц, собак и людей, пытающихся спасти свои никчемные и бесцельные жизни от неминуемой общей гибели, а над этим потоком — как единственная оставшаяся надежда, — смертельно усталые и одна за другой падающие на землю, летят птицы. На какое-то время в голове у него забрезжил план: а может быть, отказаться от дальнейших экспериментов и освободившуюся таким образом энергию направить на избавление от желаний, постепенно отказываясь от еды, алкоголя и сигарет, выбирая молчание вместо «вечных мук называния», и тогда через несколько месяцев или даже недель его жизнь станет совершенно чистой, беспримесной, и он, не оставляя после себя никаких следов, целиком растворится в давно уже зазывающей его окончательной тишине; но вскоре все эти мысли показались ему смешными, не более чем слабостью, порожденной страхом и чувством самоуважения, поэтому он опрокинул в себя загодя приготовленную стопку и снова налил в нее палинки, потому что пустой сосуд всегда порождал в нем смутное беспокойство. Потом он опять закурил и вернулся к своим заметкам. «Из дома осторожно выскальзывает Футаки. Чего-то ждет. Потом стучит в дверь и что-то кричит. И тут же возвращается в дом. Шмидтов не видно. Школьный директор отправляется с мусорным ведром в конец огорода, за ним, высунувшись из ворот, подглядывает госпожа Кранер. Я устал, мне нужно поспать. Какой нынче день?» Сдвинув очки на лоб, он откладывает карандаш и массирует покрасневшую переносицу. За окном сквозь струи неистового дождя видны только смутные пятна, порой ненадолго появляются голые кроны деревьев, в кратковременных промежутках между раскатами грома откуда-то издали доносится жалобный вой собак. «Их что, пытают там?» Он увидел перед собой подвешенных за ноги собак, которых в углу какого-то сарая истязает малолетний гаденыш, поднося им к носу горящую спичку; он внимательно вслушивался в происходившее за окном и продолжал писать. «Вроде затихли... Нет, опять воют». Через пару минут он и сам уж не мог разобрать, действительно ли он еще слышит этот жалостный вой, или дело совсем в другом — в том, что благодаря многолетним терпеливым усилиям он способен сейчас расслышать в грохоте грома те давнишние стоны, которые каким-то образом сохранились во времени («Страдания не исчезают бесследно», — с надеждой подумал он) и поднялись теперь, как фонтанчики пыли, выбиваемые первыми каплями дождя. Потом ему вдруг послышались совершенно другие звуки: всхлипы, рев, захлебывающиеся рыдания, надрывные, жуткие, душераздирающие, которые — подобно застывшим снаружи пятнам домов и деревьев — он то различал, то опять терял в заунывном потоке ливня. «Вселенский шабаш, — записал он в своем дневнике. — Со слухом все хуже и хуже». Он выглянул в окно и осушил стопку, но на этот раз забыл ее сразу наполнить. Он почувствовал жар, лоб и толстая шея покрылись испариной, голова слегка закружилась, и защемило в груди. Но он не нашел в этом ничего удивительного, ведь со вчерашнего вечера, с тех пор, как после короткого, беспокойного двухчасового сна его разбудил раздавшийся где-то неподалеку крик, он беспрерывно пил (в стоявшей от него справа «крупнокалиберной» оплетенной бутыли палинки осталось всего на день) и к тому же почти ничего не ел. Он поднялся, чтобы сходить по нужде, но, окинув глазами высившуюся у двери кучу мусора, все-таки передумал. «Потом. Это успеется», — сказал он вслух, но не сел назад в кресло, а пошел вдоль стола к стене в надежде, что так скорее «отпустит сердце». Пот ручьями струился у него из-под мышек по жирным бокам: ему было совсем худо. Одеяло во время ходьбы сползло с плеч, но поправить его не хватало сил. Он вернулся в кресло и снова наполнил стопку, полагая, что это ему поможет, и оказался прав: через пару минут он почувствовал себя лучше, дышать стало легче, и он уже не так сильно потел. Дождь, хлещущий по стеклу, затруднял обзор, поэтому он решил ненадолго прервать наблюдение; он был уверен, что ничего важного не упустит, ведь он всегда реагировал на «малейший шум или трепет», а подчас даже на едва уловимые шорохи, исходившие изнутри — из его сердца, мозга или желудка. Вскоре доктор забылся тревожным сном. Пустая стопка выпала из его руки, но не разбилась; голова упала на грудь, изо рта потекла слюна. Казалось, что все вокруг только этого и ждало: в комнате неожиданно стало темно, будто кто-то заслонил собою окно; цвета потолка, двери, штор, оконной рамы и пола сделались гуще, неопрятные пряди волос на голове доктора и ногти на его коротких и пухлых пальцах стали расти быстрее, заскрипели стол, стулья, и даже весь дом как будто слегка осел в этом необычном бунте; у стены в задней части дома пошли в рост сорняки, подергиваясь, силились распрямиться разбросанные по полу смятые листы бумаги, заскрипели стропила на крыше, смелее забегали по коридору крысы. Он проснулся с тяжелой головой и с горечью во рту. О том, сколько было времени, он мог только догадываться; наручные часы — знаменитую своей безотказностью, устойчивую к ударам, воде и морозу «Ракету» — он забыл вечером завести, и их часовая стрелка замерла чуть дальше одиннадцати. Рубашка у него на спине промокла от пота, голова кружилась, боль — хотя определить это было трудно — сосредоточилась где-то в затылке. Он наполнил очередную стопку и с удивлением обнаружил, что ошибся в расчетах: палинки оставалось не на день, а максимум на пару часов. «Надо ехать в город, — нервно подумал он. — Бутыль можно пополнить у Мопса. Но этот проклятый автобус! Если б не дождь, то можно бы и пешком пойти». Он выглянул в окно и с досадой заметил, что дорогу совсем развезло. По старому проселку, стало быть, не пройти, а по мощенному бутом тракту, наверное, и к утру не добраться. Он решил сначала перекусить, а потом уже думать, как быть. Достав новую банку консервов, он вскрыл ее и, навалившись на стол, стал есть. Покончив с едой, он принялся рисовать новую схему расширившихся и разлившихся тем временем луж и ручьев, чтобы, сравнив ситуацию с той, что была на рассвете, зафиксировать разницу; но тут от входной двери до его слуха донесся шум. Кто-то пытался открыть замок. Отложив схему, он с недовольным видом откинулся в кресле. «Здравствуйте, доктор, — сказала госпожа Кранер, останавливаясь на пороге. — Это я, не пугайтесь!» Она знала, что надо подождать, и действительно, доктор, по своему обыкновению, не упустил возможности в очередной раз с беспощадной медлительностью придирчиво разглядеть ее лицо. Госпожа Кранер снесла эту процедуру с покорным недоумением («Пускай поглазеет, если ему так нравится!» — говаривала она дома мужу), затем по знаку доктора подошла поближе. «Вот, решила зайти, потому как дождь зарядил, я еще в полдень сказала мужу, теперь неизвестно, когда он кончится, а там и до снега недалеко...» Доктор не отвечал, мрачно глядя перед собой. «Мы тут всё обсудили с мужем... мне-то в город теперь не попасть, до весны ведь автобус ходить не будет, так, может, вам с корчмарем переговорить, у него машина, на ней за раз можно много чего привезти, вам на две-три недели хватит, так считает мой муж. А весной уж посмотрим, как дальше быть». Доктор тяжело задышал: «Вы хотите сказать, что отказываете мне в услугах?» Госпожа Кранер к этому вопросу, казалось, была готова. «Что вы, что вы, да как я могу отказать, ведь вы меня знаете, господин доктор, со мной никогда никаких проблем не было, но посудите сами, проливные дожди, и автобус не ходит, да господин доктор и сам поймет, так мой муж говорит, ну как я пешком доберусь до города, да и вам так удобней, ведь в машину-то много чего помещается...» — «Хорошо, госпожа Кранер, можете идти». Та повернулась к двери: «Так вы уж переговорите с корч...» — «Я сам решу, с кем мне переговорить», — оборвал ее доктор. Госпожа Кранер вышла, но, сделав несколько шагов по коридору, поспешно вернулась: «Ой, забыла, а ключ-то!» — «Что с ключом?» — «Куда его положить?» — «Да кладите куда хотите!» Кранеры жили рядом с доктором, поэтому наблюдать за тем, как женщина, увязая в грязи, бредет к дому, он мог недолго. Отыскав в кипе тетрадь с надписью ГОСПОЖА КРАНЕР, он стал писать: «К. отказала мне в помощи. Предложила обратиться к владельцу корчмы. А ведь осенью прошлого года дожди не мешали ей ходить пешком в город. Она явно что-то задумала. Была смущена, но полна решимости. К чему-то она готовится. Вот только к чему, черт возьми?!» В течение дня он перечитал записи о госпоже Кранер, сделанные в последние месяцы, но ни к чему не пришел; возможно, его подозрения были беспочвенны и речь шла всего лишь о том, что женщина целый день о чем-то мечтала дома, и теперь в голове у нее все перепуталось. Кухню госпожи Кранер, эту тесную, всегда жарко натопленную конуру, доктор хорошо помнил и знал, что такие вот душные смрадные помещения очень часто служат рассадниками всякого рода беспочвенных и наивных мечтаний и что глупые, совершенно нелепые устремления вырываются из них, словно пар из-под крышки кастрюли. Нечто подобное наверняка произошло и на этот раз: на огне заплясала крышка. Но потом все, как это бывает, наладится, на следующий день наступит горький момент отрезвления, госпожа Кранер сломя голову бросится исправлять, что испортила накануне. Дождь то стихал, то заново припускал; не иначе, права была госпожа Кранер, и это именно первый осенний дождь. Он вспомнил осень прошлого года и более ранние осени; ясно было, что все повторится и на этот раз: за исключением пауз в один-два часа, в крайнем случае — в пару дней, лить будет не переставая, пока не ударят морозы; дороги развезет, поселок будет отрезан от внешнего мира, от железной дороги, от города; от дождя поля превратятся в болота, животные откочуют в леса за Соленую Падь, в дубраву, что за владеньем Хохмайса, или в заброшенный парк возле замка Венкхейма, потому что болото погубит здесь все живое, сгноит растительность, и останутся только грязь по колено да лужи в колдобинах, выбитых в колее проехавшей на исходе лета телегой. Поверхность луж затянется ряской и тиной, и в вечерних сумерках, при мертвенном свете луны, они тускло засеребрятся, взирая на небо, словно слепые глаза земли. Мимо прошла госпожа Халич и, перейдя на другую сторону улицы, постучала в окно Шмидтов. Несколькими минутами раньше доктору показалось, будто из дома Халичей доносятся какие-то обрывки разговора, поэтому он подумал: должно быть, опять что-то приключилось с Халичем и его долговязая жена побежала за помощью к госпоже Шмидт. «Кажется, Халич снова надрался. Его жена что-то взволнованно объясняет госпоже Шмидт, которая слушает ее не то с изумлением, не то со страхом. Отсюда не разглядеть. Директор тоже вышел из дому и шуганул кошку. Потом, с проектором под мышкой, направился в сторону клуба. Туда же потянулись и остальные. Значит, будет кино». Он опять выпил палинки и закурил сигарету. «Эвон как побежали!» — проворчал он себе под нос. Стало смеркаться, и доктор поднялся, чтобы зажечь свет. Внезапно он почувствовал сильное головокружение, но все же добрался до выключателя. Зажег свет, однако обратно не смог сделать ни шагу. Обо что-то споткнувшись, он сильно ударился головой о стену и рухнул прямо под выключателем. Когда он пришел в себя и сумел кое-как подняться, то почувствовал, что со лба струйкой стекает кровь. Он понятия не имел, сколько времени провел без сознания. «Кажется, я очень пьян», — вернувшись на место, подумал он и отхлебнул палинки, потому что закуривать не хотелось. Он тупо смотрел в пространство, с трудом приходя в себя. Кутаясь в одеяло, он выглянул через щель в кромешную темноту. Даже сквозь хмель доктор чувствовал, как до его сознания пытаются достучаться «различные боли», но он не хотел их туда впускать. «Немного ушибся, ничего страшного». Он вспомнил дневной разговор с госпожой Кранер и попытался решить, что ему теперь делать. Отправляться в такую погоду, конечно, нельзя, однако нехватку палинки все же нужно срочно восполнить. Он не думал сейчас о том, как восполнить нехватку госпожи Кранер, если та не одумается, — ведь требовалось найти человека не только для добычи провизии, но и для мелких, но совершенно необходимых работ по дому, что было задачей отнюдь не из легких; поэтому он пока что сосредоточился лишь на том, чтобы выработать какой-то приемлемый план, каким образом в связи с неожиданным поворотом событий (ведь с корчмарем госпожа Кранер сможет встретиться только завтра) добыть столько спиртного, чтобы можно было продержаться до «окончательного решения». Очевидно, нужно кого-то послать в корчму. Но кого? О том, чтобы отправиться туда самому, он — учитывая свое состояние — не хотел и думать. Но потом все же рассудил, что постороннему это доверять не стоит, ведь корчмарь наверняка разбавит палинку, а позднее будет оправдываться тем, что «ведь он не знал, что заказчиком является господин доктор». Он решил немного еще подождать, собраться с силами, а потом уже отправляться в путь. Он потрогал лоб и, обмакнув носовой платок в стоявший на столе кувшин с водой, промыл рану. Голова болела все так же, однако заняться поисками таблеток он не решился. Он попытался если и не уснуть, то хоть ненадолго забыться, однако из-за кошмарных видений, снова нахлынувших на него, вынужден был открыть глаза. Вытолкнув ногой из-под стола старый кожаный саквояж, он достал из него несколько иностранных журналов. Эти журналы, равно как и несколько купленных наугад книг, он приобрел у Шварценфельда, букиниста из Кишроманвароша (так назывался один из румынских кварталов города), который, будучи швабом, зачем-то бахвалился несуществующими еврейскими предками; этот Шварценфельд раз в год, в зимние месяцы, когда за отсутствием туристов он вынужден был закрывать свою лавку, отправлялся в коммерческое турне по окрестностям, непременно заглядывая при этом и к доктору, в чьем лице он имел удовольствие встретить «достойного уважения просвещенного человека». Статьями в этих журналах доктор особенно не интересовался, предпочитая разглядывать иллюстрации, дабы — как и теперь — скоротать время. Обычно он с удовольствием изучал фоторепортажи об азиатских войнах; он был убежден, что эти снимки делались где-то поблизости; иногда ему даже казалось, что он видит на них знакомые лица, и он долго и напряженно пытался их опознать. Самые замечательные фотографии он даже разбил на классы и категории и привычными движениями отыскивал их среди остальных. В особенности — хотя с течением времени приоритеты менялись — ему нравился сделанный с воздуха панорамный снимок: по пустынному ландшафту змеится нескончаемая оборванная процессия, за нею, в дыму и огне, видны руины разрушенного города, а на переднем плане — большое зловещее темное пятно. Особенно же примечательным этот снимок делал — вроде бы совершенно тут лишний — оптический прибор наблюдения в левом нижнем углу фотографии. Этот снимок, по мнению доктора, был достоин особенного внимания: он уверенно, глубоко, в самых существенных его чертах раскрывал «героический, можно сказать, образец» идеально выстроенного исследования, демонстрируя оптимальную дистанцию между наблюдателем и наблюдаемым, акцентируя скрупулезность и основательность наблюдения, причем так захватывающе, что доктор неоднократно воображал себя стоящим за этим прибором и твердой рукой приводящим в действие спусковой механизм фотокамеры. Вот и сейчас он — невольно, можно сказать, — разглядывал этот снимок; он знал его до мельчайших подробностей и тем не менее всякий раз, доставая его, надеялся обнаружить какую-то доселе неведомую ему деталь. Однако теперь, несмотря на очки, все было на фотографии каким-то размытым. Он спрятал журналы на место и заставил себя выпить на дорожку «прощальный глоток». С трудом облачившись в подбитое мехом пальто, он сложил одеяла и, слегка покачиваясь, вышел из дому. В лицо ударил холодный промозглый воздух. Он нащупал в кармане бумажник, блокнот, поправил широкополую шляпу и неуверенно двинулся в сторону мельницы. Он мог бы дойти до корчмы и более коротким путем, но тогда ему пришлось бы сначала пройти мимо дома Кранеров, затем мимо дома Халичей, не говоря уж о том, что возле клуба или машинного зала он непременно столкнулся бы с «каким-нибудь хамом», который задержит его своими заискивающими или нахальными приветствиями, маскируя ими свое тошнотворное любопытство. Продвигаться по грязи было тяжело, к тому же во тьме он почти ничего не видел. Миновав задний двор своего дома, он дошел до тропы, что вела на мельницу, где смог более или менее сориентироваться в пространстве, однако походка его оставалась шаткой и неуверенной, и он то и дело, сбившись с пути, налетал на дерево или спотыкался о придорожный куст. Он задыхался, грудь его тяжело вздымалась, и все так же щемило сердце. Он ускорил шаг, желая быстрее добраться до мельницы, чтобы укрыться там от дождя, и, уже не пытаясь обходить коварные лужи, иногда брел по щиколотку в воде, в ботинках чавкала грязь, а пальто становилось все тяжелее. Навалившись плечом на с трудом поддающуюся дверь, доктор вошел на мельницу, рухнул на какой-то ларь и некоторое время жадно хватал ртом воздух. Он чувствовал, как на шее бешено пульсировала артерия, ноги его онемели, руки дрожали. Он находился на нижнем этаже заброшенного трехэтажного сооружения. Стояла ошеломляющая тишина. С тех пор как отсюда растащили все, что могло на что-нибудь пригодиться, это огромное, как ангар, темное и сухое помещение зияло пустотой; справа от входа стояли несколько ящиков из-под фруктов, неизвестного назначения железный лоток и грубо сколоченный короб с надписью «Для тушения огня», только без песка. Стянув с себя башмаки, доктор снял носки и выжал из них воду. Потом решил закурить, но в отсыревшей пачке не оказалось ни одной уцелевшей сигареты. Слабый свет, проникавший в открытую дверь, пятнами ложился на пол с едва различимыми на нем ящиками. До слуха донеслись какие-то шорохи, будто где-то бегали крысы. «Откуда здесь крысы?» — удивился доктор и сделал несколько шагов в глубь ангара. Он надел очки и, щурясь, стал вглядываться в темноту. Но шум больше не повторялся, поэтому он вернулся к двери, надел носки и обулся. Он потер боковую сторону спичечного коробка о подкладку пальто в надежде все же зажечь огонь. Попытка его увенчалась успехом, спичка вспыхнула, и в трех-четырех метрах от входа в проеме стены смутно обрисовались ступени лестницы, ведущей на верхние этажи. Он, без какой-то особой цели, сделал несколько неуверенных шагов наверх. Но спичка догорела достаточно быстро, а повторять попытку у него не было ни желания, ни причины. Немного постояв в темноте, он нащупал стену и хотел уже было спуститься, чтобы наконец продолжить свой путь к корчме, когда до слуха его долетел совсем слабый шум. «Все-таки крысы». Казалось, что этот шум доносился откуда-то издалека, с самого верхнего этажа. Держась одной рукой за стену, он двинулся вверх по лестнице, и едва миновал несколько ступеней, как шум заметно усилился. «Нет, не крысы. Как будто горящий валежник потрескивает». Дойдя до площадки второго этажа, он услышал обрывки хотя и тихого, но отчетливого разговора. В самом конце помещения, в двадцати или двадцати пяти метрах от напряженно внимающего доктора, возле пылающего костерка на полу сидели две девушки. Пламя костра ярко освещало их лица, отбрасывая на высокий потолок трепещущие тени. Девушки были явно увлечены разговором, но глядели при этом не друг на друга, а на взлетающие над валежником языки пламени. «Вы чего здесь делаете?» — громко крикнул доктор и направился к ним. Те испуганно вскочили на ноги, но потом одна из них с облегчением рассмеялась: «А, это вы, господин доктор?» Он подошел к костру и сел на землю. «Погреюсь немного, — сказал он. — Если не возражаете». Девушки тоже сели, подтянули ноги под себя и тихонько захихикали. «Сигаретой не угостите? — спросил доктор, не отрывая глаз от огня. — А то мои отсырели». — «Да пожалуйста, какой разговор, — сказала одна из них. — Вон лежат рядом с вами». Он закурил и медленно выпустил облачко дыма. «А все этот дождь, — пояснила девушка. — Мы тут с Мари как раз печалимся — совсем никакой работы, охо-хо, плохо нынче идут дела (она громко хихикнула), вот мы и сидим здесь». Доктор повернулся, подставляя огню другой бок. С тех пор как он выставил старшую дочку Хоргош, он с ними не встречался. Он знал, что они целыми днями торчат на мельнице, безучастно ожидая, когда сюда забредет «клиент» или их призовет корчмарь. В поселке они бывали редко. «Мы уж думали, сегодня не стоит ждать, — продолжала старшая. — Ведь бывает, вы знаете, днями никто не заглядывает, мы сидим тут, тоска зеленая, и впустую все. Иногда друг на друга бросаемся, такое нас зло берет. Да и страшно одним-то здесь...» — «Ой как страшно! — хрипло заржала младшая и по-детски пролепетала: — Очень плохо нам здесь одним». Обе взвизгнули, покатившись от смеха. «Разрешите еще сигарету?» — спросил мрачно доктор. «Ну, конечно, берите, вы не тот человек, которому я могу отказать!» Младшая закатилась еще сильней. «Ох, не тот, это ты хорошо сказала!» — подхватила она. Но потом хриплый смех их прервался, и они утомленно уставились на огонь. Доктор наслаждался теплом и думал: посидит тут еще немного, обсушится, обогреется и, собравшись с силами, отправится дальше. Воздух со свистом вырывался у него из груди, он тупо смотрел на пламя. Молчание нарушила старшая дочка Хоргош. Голос ее был бесчувственным, хриплым и полным горечи. «Вам известно, что мне уже двадцать лет, да и ей тоже скоро исполнится. Как подумаю — мы как раз перед вашим приходом тут говорили, — к чему мы идем, так иной раз и жить не хочется! Вы хоть знаете, сколько нам удается откладывать?! Представляете это себе?! Так бы всех и поубивала, ей-богу!» Доктор молча смотрел на огонь. Младшая Хоргош, расставив ноги и подперев поясницу руками, апатично кивала, глядя в пространство перед собой. «У нас на шее этот малолетний бандит, да еще Эштике, младшенькая сестренка, у которой ума еще меньше, да мать, у которой одно на уме, где деньги, куда мы их прячем! Да что они думают? До трусов нас разденут, поверьте! А как только я заикнулась, что мы в город уедем из этой поганой дыры... Вы бы слышали, какой тут поднялся хай!.. Мол, такие мы и сякие, и что мы воображаем!.. Короче, достала нас эта жизнь! Правда, Мари, достала?!» Но младшая отмахнулась: «Да хватит тебе, не гони пургу! Надоело — вали отсюда, никто тебя здесь не держит!» Старшая так и взвилась: «А ты только того и ждешь, чтобы я слиняла?! Верно я говорю? Чтоб одной гужеваться тут? Не дождешься! Если я отвалю, и тебя с собой прихвачу!» Младшая скорчила насмешливую гримасу: «Ну хватит, не ной, а то я сама сейчас зареву!» Старшая хотела было опять обрушиться на нее, но остановилась на полуслове, зайдясь хриплым кашлем. Они безмолвно курили у затухающего костра. «Ничего, Мари, сегодня тут будет навалом денег! — прервала молчание старшая из сестер. — Ого-го, что тут скоро начнется, вот увидишь!» Но та ответила ей раздраженно: «Что-то долго их нет. Здесь что-то нечисто, мне кажется». — «Да брось ты, не заморачивайся. Я Кранера знаю, да и всех остальных. Он, как явится, так и бросится к нам сюда с писькой наперевес, так всегда было, так и теперь будет. Неужели ты думаешь, что он им все отдаст?!» — «Что за деньги? — встрепенулся тут доктор. — Вы о чем говорите?» Старшая нетерпеливо махнула рукой: «Да неважно, вы грейтесь, доктор, и ни о чем не думайте». Немного еще посидев, он попросил у них несколько сигарет и сухие спички и стал спускаться по лестнице. До выхода он дошел без проблем; через приоткрытую дверь дождь захлестывал внутрь помещения. Головная боль немного утихла, прошло и головокружение, но все так же щемило в груди. Глаза его быстро привыкли к темноте, и теперь он уверенно ориентировался на тропе. Несмотря на свое состояние, шел он довольно быстро, только изредка задевая за куст или ветку; он шагал, отворачиваясь, чтобы дождь не так сильно хлестал в лицо. Под навесом бывшего тока он приостановился, но потом, чертыхнувшись, продолжил путь. Впереди и сзади было темно и тихо. Громко кляня жену Кранера, он придумывал разные способы мести, о которых тут же и забывал. Он опять устал, временами ему казалось, что надо немедленно сесть, иначе он рухнет на землю. Он свернул уже на дорогу, что вела к корчме, и решил больше не останавливаться, пока не дойдет до нее. «Осталось каких-нибудь сто шагов», — подбадривал он себя. Из двери и небольшого окошка корчмы в кромешную тьму падал свет надежды, по которому было легко ориентироваться. Корчма была уже до смешного близко, когда доктору, не сводившему глаз со света, показалось вдруг, что он вовсе не приближается, а скорее отдаляется от него. «Ничего, это временное, сейчас пройдет», — подумал он, на минуту остановившись. Он поднял глаза к небу, шквалистый ветер окатил его лицо водой. Он чувствовал, что нуждается в чьей-нибудь помощи. Но слабость — так же внезапно, как появилась, — прошла. Он свернул с тракта и был уже перед дверью корчмы, когда услышал снизу чей-то тоненький голосок: «Дядя доктор!» Вцепившись в полу его пальто, перед ним стояла Эштике — самая младшая из дочерей Хоргош. Ее соломенного цвета волосы и доходящая до коленей кофта насквозь промокли. Она опустила голову и держалась за полу докторского пальто с таким видом, «как будто у нее другого дела не было, как за него цепляться». — «Это ты, Эштике? Чего тебе нужно?» Девочка не ответила. «Что ты делаешь здесь в такой час?» Доктор сперва изумился, потом попытался освободиться, но Эштике — как будто от этого зависела ее жизнь — не отпускала его. «Да пусти же ты! Что с тобой?! Где твоя мать?!» Он схватил Эшти, которая неожиданно вырвала руку, но тут же вцепилась в рукав его пальто и, опустив голову, молча застыла на месте. Доктор раздраженно шлепнул ее по руке и, высвободившись, невольно попятился, но, к несчастью, споткнулся о скребок у порога и, тщетно махая руками, во весь рост растянулся в грязи. Девочка испуганно бросилась к окну корчмы и оттуда, готовая сорваться с места, смотрела, как огромное тело, поднявшись, направляется к ней. «Иди сюда! Сейчас же иди сюда!» Эштике прислонилась к подоконному выступу, затем оттолкнулась и неловкой утиной походкой выбежала на дорогу. «Только этого мне не хватало! — яростно пробормотал доктор и крикнул вслед девочке: — Мне только тебя не хватало! Куда ты помчалась?! Остановись же, ты слышишь? Поди сюда!» Он растерянно стоял у дверей корчмы, не понимая, что все это значит, не зная, как ему быть: покончить с делом, ради которого шел сюда, или отправиться вслед за ребенком. «Мать пьет здесь... Сестры блядуют на мельнице, брат... кто знает, которую лавку он сейчас грабит в городе, а эта шатается тут в одной кофте... Да как на них небо не рухнет!» Он шагнул на дорогу и прокричал в темноту: «Эштике! Ты с ума сошла?! Я не трону тебя! Сейчас же вернись!» Ответа не было. Он двинулся за девчонкой, проклиная себя за то, что вообще отправился из дому. Он промок до костей, он чувствует себя отвратительно, а тут еще эта полоумная, вцепившаяся в него девчонка!.. Слишком много всего случилось с ним с тех пор, как он вышел из дому, и теперь в голове у него все перепуталось. Как же хрупко все то, что он в многолетней «и неустанной» борьбе тут выстраивал, с горечью констатировал он и с еще большей горечью вынужден был признать, что и сам он — несмотря на недюжинное здоровье — тоже вдруг сломался: небольшая прогулка («да еще с отдыхом!») до корчмы, куда рукой подать, и пожалуйста — он едва переводит дыхание, грудь щемит, ноги подгибаются, и все тело его обессилело. А самое страшное — в том, что он, как безумный, забыв обо всем на свете, куда-то бежит под проливным дождем по мощенному бутом тракту за этой девчонкой, которая тоже не в своем уме. Он еще раз крикнул в том направлении, в котором предположительно исчезла Эштике, и в ярости остановился, понимая, что девчонку уже не догнать. И вообще, было самое время собраться с мыслями. Он обернулся и, с изумлением обнаружив, что отошел от корчмы на изрядное расстояние, повернул назад, но через пару шагов у него перед глазами вдруг все потемнело, ноги поскользнулись в грязи, и какое-то — очень короткое — время он еще сознавал, как падает и катится куда-то вниз, после чего окончательно потерял сознание. Он с трудом, постепенно пришел в себя. И не помнил, как оказался здесь, рот его был забит землей, его тошнило. Пальто было в грязи, ноги от холода и сырости одеревенели, но, как ни странно, три сигареты, полученные от дочерей Хоргош, которые он сжимал в руке, чтобы не промокли, были в целости и сохранности. Он быстро сунул их в карман и попытался встать. Однако ноги его скользили по крутому склону канавы, и потребовалась не одна попытка, чтобы выбраться снова на дорогу. «Сердце, черт побери!» — хватаясь за грудь, воскликнул он про себя. Он понимал, что дела его плохи и нужно как можно скорее добраться до больницы. Но косой дождь перечеркивал его планы, с неодолимой силой вновь и вновь обрушиваясь на дорогу. «Я должен отдохнуть. Под каким-нибудь деревом... Или все же дойти? Нет, лучше передохнуть!» Он спустился с дороги и укрылся под ближайшей акацией. Чтобы не сидеть на голой земле, ноги он подложил под себя. И, стараясь ни о чем не думать, тупо смотрел прямо перед собой. Так минуло несколько минут, а может быть, и часов, этого он не знал. На востоке забрезжил рассвет. Доктор с отчаянием и с какой-то смутной надеждой смотрел, как солнечный свет безжалостно заливает окрестности. Свет не только дарил надежду, но и рождал в нем страх. Ему очень хотелось оказаться в теплой уютной палате, выпить горячего бульона под присмотром молодых светленьких медсестер и затем отвернуться к стене. Но тут взгляд его остановился на трех фигурах, как раз поравнявшихся с домом дорожного мастера. Они были еще далеко, безнадежно далеко от него, он не слышал, а только видел, как какой-то мальчонка что-то жарко объясняет одной из фигур, между тем как другая бредет в нескольких метрах за ними. А когда они наконец поравнялись с ним, он тотчас узнал путников и даже попытался окликнуть их, но ветер и дождь, видимо, заглушили крик, потому что компания, не обратив на него внимания, продолжила путь к корчме. И он, не успев изумиться тому, что его взору предстали двое прожженных бродяг, которых давно уж считали мертвыми, тут же о них забыл; у него свело судорогой ноги, в горле пересохло. Утро застало его на тракте, на пути к городу, потому что к корчме возвращаться он не хотел. Он не шел, а скорее влачился, полный путаных мыслей, напуганный звуками, раздававшимися над его головой. За ним увязалась какая-то стая ворон, которые — в чем он был совершенно уверен — неотступно, с кошмарной настырностью преследовали его по пятам. А вечером, когда он добрался до поворота на Элек, сил у доктора не хватило даже на то, чтобы забраться самостоятельно на телегу; пришлось Келемену, который как раз держал путь домой, втаскивать его на вымокшую солому за козлами. Он же чувствовал себя необыкновенно легко, и прежде чем его укачала телега, в сознании его еще долго звучали укоризненные слова возницы: «Эх, доктор, да что же вы так?! Да разве так можно?!»

### IV. Работа пауков 1

###### *Горизонтальная восьмерка*

«Мог бы и затопить!» — буркнул Керекеш, хуторянин. Под потолком, рисуя в тусклом свете треснувшего плафона неправильные восьмерки, носились осенние слепни, вновь и вновь ударяясь о грязный фарфор, чтобы после глухого шлепка отлететь на магическую орбиту и продолжить свой бесконечный полет по замкнутой траектории до тех пор, пока чья-то рука не погасит свет; однако рука, в которой дремало это спасительное движение, пока подпирала небритую щеку, принадлежащую корчмарю; вслушиваясь в нескончаемый шум дождя, он сонно следил за слепнями, приговаривая: «Леший бы вас подрал!» Халич сидел в углу у входа на расшатанном стуле из металлических трубок, в застегнутом до подбородка служебном дождевике, который он всякий раз, собираясь сесть, должен был рубануть рукой ниже пояса, ибо надо сказать, что дожди и ветра не пощадили ни Халича, ни его дождевик — черты первого размазав и исказив до неузнаваемости, из второго же вымыв всю его упругость, так что он, дождевик, защищал его уже не от тех вод, что низвергались из хлябей небесных, а скорее, как он выражался, «от чреватой фатальным исходом внутренней слякоти», которая, исходя из иссохшего сердца, день и ночь омывала его беззащитные органы. Вокруг его сапог уже выросла лужа, пустой стакан в руке становился все тяжелее, и как он ни старался не слышать, там, позади него, облокотившись о бильярдный стол, Керекеш, обратив незрячий взгляд к хозяину, не спеша цедил вино сквозь зубы, после чего жадно глотал его большими глотками. «Затопил бы, тебе говорят...» — повторил он и слегка отвел голову вправо, дабы не пропустить ни единого звука. Запах плесени, поднимающийся с пола в углах помещения, окружил передовые отряды тараканьего войска, спускающиеся по дальней стене, вслед за которыми вскоре показались и главные силы, разбежавшиеся по промасленному полу. Хозяин ответил непристойным жестом и с хитрой заговорщической ухмылкой заглянул в водянистые глаза Халича, но, услышав угрожающие слова слепого хуторянина («Ты чего мне там кажешь, рябой!»), испуганно съежился на стуле. За жестяной стойкой красовался обрывок покривившегося плаката, заляпанный известью, а у противоположной стены, за пределами светлого круга от лампы, рядом с выцветшей рекламой «колы» торчала железная вешалка с забытой на ней пропылившейся шляпой и чьим-то плащом; на расстоянии все это напоминало повешенного. Керекеш, с опустошенной бутылкой в руке, двинулся на хозяина. Пол скрипел под его ногами, он подался вперед, заполнив громадным телом чуть ли не всю корчму. Он смахивал на вырвавшегося из загона быка, вокруг которого на мгновение сжимается пространство. Халич видел, как хозяин скрылся за дверью складского помещения, и слышал, как он быстро задвинул засов, и с испугом, поскольку происходило нечто чрезвычайное, но вместе с тем и с некоторым удовольствием констатировал, что на сей раз прятаться в этом смраде, среди годами неподвижных, уложенных штабелями мешков с искусственными удобрениями, садового инвентаря и удручающего нагромождения ящиков с комбикормом, прижимаясь спиной к ледяной металлической двери, приходится не ему, и он даже почувствовал какой-то прилив радости или, точнее сказать, капельку удовлетворения от мысли, что недавний властелин всех этих замечательных вин, пребывая в плену непредсказуемого, обладающего убойной силой хуторянина, ждет сейчас какого-нибудь спасительного сигнала. «Еще бутылку!» — раздраженно рявкнул Керекеш. Он выхватил из кармана пачку купюр, одна из которых от резкого движения вспорхнула и, с достоинством описав в воздухе несколько кругов, приземлились рядом с его огромным башмаком. Халич, который сумел — как ему показалось — уловить суть момента и с большой долей вероятности понять, что сейчас будет делать другой и как следует поступить ему, тут же поднялся, выждал несколько секунд, чтобы посмотреть, не нагнется ли все-таки хуторянин за упавшей купюрой, потом откашлялся, подошел к Керекешу поближе, сгреб в кармане последние филлеры и разжал кулак. Монеты со звоном раскатились по полу, и он, дождавшись, пока упадет плашмя последняя, встал на колени и принялся их собирать. «Не забудь мою сотенную поднять», — раздался над ним громовой голос Керекеша, и Халич, знающий, как этот мир устроен («...со всей его подноготной!»), с рабским лукавством — молча, покорно и кипя ненавистью — поднял с пола и передал тому деньги. «Ишь ты, только в номинале ошибся! — подумал испуганно он. — Только в номинале!..» А затем на взбешенный вопрос хуторянина («Ну, сколько ждать?!») он вскочил, отряхнул колени и, окрыленный надеждой, но все-таки на почтительном расстоянии от Керекеша, облокотился на стойку, как будто этот настойчивый призыв был обращен не только к корчмарю, но и к нему. Керекеш, казалось, застыл в нерешительности, если подобное было вообще возможно, и в тишине тоненько, еле слышно прозвучал голос Халича («Ну, сколько нам еще ждать?»), отзываясь многократным эхом, как всякое слово, которое уже не вернешь; от необходимости существовать в одном пространстве с такой невообразимой мощью он, уже несколько дистанцировавшись от брякнутых ненароком слов, ощутил некую смутную общность с Керекешем — единственное чувство, которое он был готов принять, ибо не только ранимое самолюбие, но чуть ли не каждая клеточка его тела протестовала против того, чтобы сохранять безраздельную общность с трусами, каковым был он и сам. К тому времени, когда хуторянин медленно повернулся к нему, чувство обязательной преданности в Халиче уже сменилось некоей особенной растроганностью, оттого что, как он не без гордости констатировал, «его слепой выстрел все же поразил цель». Все это было для него неожиданным, а собственный его голос так поразил его, что для того, чтобы как-то нейтрализовать ощутимое изумление хуторянина, он — дабы незамедлительно и наверняка откатить назад — поспешно добавил: «Хотя мне, разумеется, до этого никакого дела...» Керекеш начал терять терпение. Он набычился, констатировал, что на стойке перед ним стоят вымытые бокалы, и уже занес было над ними кулак, когда из помещения склада вдруг показался корчмарь и застыл на пороге. Он потирал глаза, привалившись к дверному косяку, двух минут, проведенных на задах своей торговой империи, оказалось достаточно для того, чтобы стереть с его кожи неожиданный и в конечном счете смехотворный страх («Ух, как вскинулся! Как вскинулся, бестия!») — да, с поверхности кожи, потому что глубже проникнуть ничто не могло, а если бы и могло, то «это бы походило на падение камня в бездонный колодец». «Еще бутылку! — сказал Керекеш, выкладывая деньги на стойку. И, чувствуя, что хозяин по-прежнему держится на расстоянии, добавил: — Да не бойся, рябой. Я тебя не трону. Но смотри, в другой раз не показывай». К тому времени, как он вернулся на место у бильярдного стола и, словно бы опасаясь, что кто-то выдернет из-под него стул, медленно приземлился, хозяин корчмы уже успел сменить руку под подбородком; его лисьи, цвета молочной сыворотки глаза подернулись пеленой недоверия и тоски по чему-нибудь осязаемому, белое как мел лицо дышало затхлым теплом постоянной к чему-то готовности, которое делает кожу дряблой, а ладони мокрыми; тонкие, длинные, лоснящиеся пальцы, годами учившиеся складываться в горсть идеальной формы, узкие плечи, выпирающее брюшко... все в нем было неподвижно, кроме пальцев ног, беспрерывно шевелившихся в разношенных туфлях. Лампа, прежде висевшая будто парализованная, вдруг колыхнулась, и полукруглое пятно света, до этого оставлявшее в тени потолок и верхнюю часть стен и делавшее смутно видимыми только трех человек внизу, стойку, заставленную пачками печенья и макарон, рюмками и фужерами, стулья, столы, опьяневших слепней, теперь стало раскачивать в ранних сумерках всю корчму, как попавший в шторм корабль. Керекеш открыл бутылку, свободной рукой пододвинул к себе стакан и в течение долгих минут неподвижно сидел, держа в одной руке бутылку с вином, в другой — порожний стакан, словно забыв, что он собирался делать, или, быть может, в той непроглядной тьме, в которой он жил, на время затихли все слова и звуки, и в этом беззвучном мраке все, что его окружало — и даже тело его, руки, задница и широко расставленные ноги, — сделалось невесомым; казалось, он в одночасье утратил способность к осязанию, вкусу и обонянию, и в глубочайшем беспамятстве единственным, что он ощущал, был гул пульсирующей крови и бесстрастная работа органов, ибо таинственные центры мозга отступили в тот адский мрак, в запретную зону воображения, откуда было непросто вырваться. Халич не мог понять, в чем дело, и возбужденно ерзал на месте, чувствуя, что Керекеш наблюдает за ним. Было бы слишком самонадеянно объяснять его неожиданную неподвижность как постепенно разворачивающиеся приготовления к приглашению выпить; в направленном на него в эту минуту незрячем взгляде ему чувствовалась скорее некая угроза, и напрасно он рылся сейчас в памяти — каких-либо оскорблений, за которые его можно было бы привлечь к ответственности, припомнить не мог; тем более он был чист, что в тяжелые минуты жизни, когда «страждущий человек» погружается в раскрепощающие глубины самобичевания, он признавался себе, что беспрепятственно ускользнувшие пятьдесят два года его не особо весомого существования столь же малозначительны на фоне невероятных жизненных схваток великих людей, сколь незаметен сигаретный дым в вагоне горящего поезда. Но прежде чем это легкое, неопределенное чувство вины (хотя неизвестно, чувство вины ли то было; ведь тогда «пламя греха — что лампочка: стоит перегореть, и возникший мрак так легко перепутать с нечистой совестью») смогло захватить Халича целиком, его уж и след простыл, оно уже растворилось в истерических домогательствах нёба, глотки, пищевода, желудка, в той великой и страстной нужде, которая пригнала его сюда раньше времени, гораздо раньше, чем он надеялся дождаться возвращения Шмидта и Кранера, которые выдадут, что «ему причитается». Еще больше усугублял ситуацию холод, поэтому даже взгляд, брошенный на ящики с вином, сложенные штабелем подле треногого табурета корчмаря, закручивал его воображение в такой головокружительный водоворот, который грозил окончательно засосать его в свою пучину, в особенности сейчас, когда до слуха его наконец донеслись булькающие звуки наливаемого Керекешем вина; он не мог удержаться: какая-то высшая сила притягивала его взгляд к серебрящимся в стакане эфемерным пузырькам. Хозяин корчмы, не поднимая глаз, слушал, как под приближающимися к нему сапогами Халича потрескивает пол, он не поднял их, даже когда почувствовал его кисловатое дыхание, лицо Халича, усеянное капельками пота, его не интересовало ни в малейшей степени. Корчмарь знал, что на третий раз он все равно сдастся. «Слушай, друг... — Халич основательно откашлялся, — ну чего тебе стоит, один стаканчик! — и, взглянув на хозяина серьезным, вызывающим доверие, более того, чистым, кредитоспособным взглядом, он даже поднял один палец. — Ты же знаешь, скоро вернутся Шмидт с Кранером...» Он, зажмурив глаза, поднял стакан и медленно, небольшими глотками стал пить, а когда стакан опустел, то, запрокинув голову, задержал его, чтобы в рот стекла последняя капля. «Доброе винишко...» — смущенно причмокнул он, мягко и нерешительно, словно до последнего момента еще на что-то надеясь, поставил на стойку стакан, затем медленно отвернулся и, бормоча под нос «Ну и пойло!..», вернулся на место. Керекеш опустил отяжелевшую голову на зеленое сукно бильярда, корчмарь пристально поглядел на лампу, почесал затекшую задницу и, схватив полотенце, начал смахивать вокруг себя паутину. «Слушай, Халич! Ты меня слышишь?.. Эй! А что там делается?» Халич тупо уставился прямо перед собой: «Где?» Корчмарь повторил то же самое. «В клубе, что ли? — Халич почесал затылок. — Там ничего особенного». — «А что кажут-то?» — «Да ну... — отмахнулся Халич, — я уж не меньше трех раз его видел. Я просто жену свою проводил — и сюда». Хозяин вернулся на сапожную табуретку и, прислонившись к стене, закурил: «А что за фильм-то? Может, все-таки скажешь?» — «Да этот самый, как его... «Скандал в Сохо». — «Понятно», — кивнул корчмарь. Рядом с Халичем хрустнул стол, и надтреснутым долгим вздохом проскрипела трухлявая стойка бара, чтобы ответить давно затихшему где-то тележному колесу и прервать монотонный хор слепней; этот скрип, будто некий маятник, напомнил одновременно и обо всем минувшем, и о неминуемо надвигающейся разрухе. А надтреснутому скрипу, словно беспомощная рука, вопрошающе перелистывающая пыльную книгу в поисках потерявшейся красной нити, вторил ветер, вихрящийся над кровлей корчмы, доносящий «дешевую видимость ответа» до заскорузлой грязи, зарождающий тяготение между деревом, воздухом и землей и затем, сквозь невидимые трещины в дверях и стенах, находящий путь к первозданному звуку: Халич рыгнул. Хуторянин храпел на бильярдном столе, пуская из приоткрытого рта слюну. Внезапно, словно гул приближающегося издалека темного пятна, о котором пока что нельзя сказать, рев ли это бредущего домой стада коров, грохот ли школьного автобуса, обвешенного флажками, или же марш военного оркестра, из самых глубин нутра Керекеша стал подниматься неясный рык, который, достигнув поверхности, разбился о края сухих одеревеневших губ. «Сука...», да еще «большая...» или «какая...» — это все, что можно было понять. Рычание завершилось жестом — скорее всего, ударом, направленным на кого-то или на что-то. Стакан опрокинулся, и вино выплеснулось на сукно пятном, которое напоминало сперва труп раздавленной собаки, а затем, приняв несколько переходных конфигураций, бесследно впиталось в ткань, оставив после себя неопределенного вида след (впиталось? не совсем так! в просветы между ворсинками сукна оно слилось вниз, где растеклось по изрезанному ландшафту дощатого основания в виде системы озер, иногда сообщающихся между собой, иногда изолированных... Однако для Халича все это имело совершенно другое значение...). Халич вскрикнул, словно от боли: «Ах ты, пьяная рожа!» Он дико потряс кулаком в сторону Керекеша и, в беспомощной ярости повернувшись к хозяину, словно не веря своим глазам и вместе с тем в качестве объяснения, сказал: «Ну пролил же!..» Тот долгим многозначительным взглядом посмотрел на Халича и только затем бросил небрежный взгляд на хуторянина, и даже не на него, а просто в том направлении, чтобы прикинуть, насколько велик ущерб. Раздражение неопытного в таких делах Халича вызвало у него презрительную усмешку, и он, кивая, перевел разговор на другую тему: «Здоров бык, не правда?» Халич растерянно заглянул в насмешливо бегавшие под полуприкрытыми веками зрачки корчмаря, потом покачал головой и окинул взглядом растянувшуюся на столе бычью фигуру Керекеша. «Как ты думаешь, — глухо спросил он, — сколько должен есть такой зверь?» — «Есть?! — фыркнул хозяин. — Он не ест — он жрет!» Халич подошел поближе и облокотился о стойку. «Полсвиньи сжирает в один присест! Не веришь?» — «Я верю». Керекеш громко всхрапнул, и они замолчали. Со страхом и изумлением глазели они на огромное неподвижное тело, на его крупный череп в шишках и синяках, на торчащие под бильярдным столом грязные башмаки, разглядывая его приблизительно так, как разглядывает человек спящего зверя, находясь под двойной защитой железной решетки и сна. Халич явно искал, и нашел ведь — на минуту? или секунду? — нечто общее с корчмарем, какое-то теплое и самозабвенное чувство родства, которое испытывает запертый в клетку шакал к свободно парящему в небе стервятнику, когда и пария может рассчитывать на симпатию... Оба очнулись от ослепительной вспышки и оглушительного удара, прозвучавшего так, будто над ними раскололось небо. Воздух в корчме, казалось, наполнился запахом молнии. «Совсем рядом...» — начал было Халич, когда послышался громкий стук в дверь. Хозяин вскочил, но не сразу бросился открывать, на мгновение решив, что между молнией и стуком в дверь была какая-то связь. С места он двинулся, только когда в дверь уже барабанили. «Это вы?..» Халич вытаращил глаза. Поначалу из-за спины корчмаря он ничего не видел, потом разглядел тяжелые сапоги, прорезиненный плащ и припухшую физиономию Келемена под вымокшей кондукторской фуражкой. Оба с облегчением вздохнули. Вновь прибывший, чертыхаясь, стряхнул с плаща воду, со злостью закинул его на печь и обрушился на корчмаря, который, стоя к нему спиной, все еще возился с засовом: «Вы что, оглохли?! Я трясу эту чертову дверь, того и гляди молнией зашибет, а мне ни в какую не открывают!» Корчмарь вернулся за стойку, налил стопку палинки, поставил ее перед стариком. «Да разве в такую грозу услышишь...» — оправдывался он. Бросая на гостя колючие взгляды, он лихорадочно пытался сообразить, какая нелегкая принесла его сюда в такую погоду, почему дрожит стопка в его руке и что означает вся эта загадочность в его взгляде. Но ни он, ни Халич пока его ни о чем не спрашивали; за окном снова ударил гром, небо словно прорвало, и на землю сплошной стеной обрушился дождь. Старик, насколько было возможно, выжал воду из ткани фуражки, несколькими заученными движениями вернул ей первоначальную форму и, нахлобучив на голову, с озабоченным видом опрокинул стопку. Только теперь, впервые после того, как он заложил коней и, затаив дыхание, отыскал в непроглядной тьме старую дорогу, которой давным-давно уж никто не пользовался (и она заросла бурьяном да чертополохом), перед глазами его мелькнули взволнованные морды двух лошадей, с изумлением то и дело оглядывающихся на растерянного, но отчаянного хозяина, мелькнули их нервно подрагивающие крупы, послышалось хриплое их дыхание и отчаянный скрип телеги на полной опасных колдобин дороге, и стал виден себе он сам, стоящий на козлах, бредущий с поводьями в руках по колено в грязи, навстречу ураганному ветру, — по сути, только теперь он поверил в то, что произошло; он знал, что без этих двоих он бы никуда не отправился, «нет другой такой силы», которая бы его заставила, да, теперь он уже был уверен в том, что все это было правдой, ведь не зря же — в конце концов — он уже ощущал себя осененным чужим величием, как рядовой солдат в бою, когда он предчувствует еще только вынашиваемый его генералом приказ и, не дожидаясь, пока его отдадут, бросается выполнять. Снова и снова безмолвные образы во все более жесткой последовательности проносились перед его глазами, словно все, что человек считает важным сберечь, имеет свой независимый и непреодолимый порядок, и пока наша память пытается сообщить легко ускользающему «сейчас» достоверность и возвести на уровень бытия, этот порядок, врастая живыми закономерными нитями в вольную ткань событий, вынуждает нас наводить мосты к своей жизни не как придется, а с судорожной рачительностью хозяина; вот почему при первом воспоминании о случившемся он скорее почувствует ужас, хотя очень скоро станет пестовать эти воспоминания с ревностью собственника, многократно в «последние оставшиеся ему годы» мысленно представляя себе эту картину, вплоть до того, и правда последнего, раза, когда в самый мрачный бессонный час ночи он, в одиночестве дожидаясь рассвета, высунется из своего обращенного к северу маленького окошка. «Вы откуда?» — спросил наконец корчмарь. «Из дому». Халич с изумлением на лице подошел поближе. «Так ведь это полдня пути...» Гость молча закурил. «Пешком?» — недоверчиво поинтересовался корчмарь. «Да где там. На лошадях. По старой дороге». Спиртное уже согрело его, и он, щурясь, переводил взгляд с одного лица на другое, но так ничего и не рассказал им, не знал, как начать, момент казался ему не вполне подходящим: собственно, он и сам не знал, на что именно он рассчитывал, хотя ему было совершенно ясно, что пустота и скука, которыми здесь дышали стены, являются чистой видимостью, ведь уже и теперь (правда, пока это лишь привилегия вестника) в этом незримом, но очень даже реальном фокусе поселковой жизни можно было расслышать лихорадочную суету последующих часов, уже надвигающийся дикий, праздничный шум, и все же Келемен ждал чего-то большего, гораздо большего внимания, чем то, которым его могли одарить корчмарь вкупе с Халичем, ибо ему казалось, что судьба все же несправедлива к нему, коль в решающий час послала ему этих двух человек: корчмаря, от которого его отделяет «бездонная пропасть», потому что для корчмаря он — «его величество Посетитель», то есть примерно тот, кем «на маршруте» будет для него корчмарь — «проезжающей Публикой», «уважаемым Пассажиром», и Халича, этот «усохший бурдюк», для которого такие понятия, как «энергичность, выносливость, терпеливость и стальные нервы», не более чем пустой звук. Корчмарь напряженно смотрел на затененный затылок кондуктора и медленно втягивал в себя воздух. А Халич — пока кондуктор не приступил наконец к рассказу — думал про себя: «Кто-то умер». Новость стремительно разнеслась по поселку, и того получаса, пока корчмарь отсутствовал, Халичу было вполне достаточно, чтобы тайком — на рецепторном уровне — прояснить, что же на самом деле кроется за этикетками выстроившихся на стойке бутылок с интригующей его надписью «Рислинг», а еще того времени хватило на то, чтобы — в присутствии одного спящего и одного дремлющего — посредством молниеносно проведенного эксперимента подтвердить его давнее подозрение, что при смешивании вина с водой цвет полученного нового соединения — ибо это уже не то вещество, что было! — обладает обманчивым сходством с оригинальным цветом вина. Одновременно с благополучным завершением исследования Халича его жене, которая направлялась в корчму, показалось, будто над мельницей пролетела падающая звезда. Замерев на месте, госпожа Халич прижала руку к груди, но напрасно она изучала колоколом нависающий над ней небосвод настойчивым ищущим взглядом, ей пришлось признать, что, похоже, от неожиданного волнения у нее зарябило в глазах; и все-таки неуверенность, сам факт возможности чего-то подобного, удручающий вид гиблой местности с такой тяжестью навалились на бедную женщину, что она, передумав, вернулась домой, отыскала под кипой безупречно отглаженного белья обветшалую Библию и, с нарастающим чувством вины прижимая ее к себе, вновь отправилась в путь, свернула у бывшего указателя с названием поселка на тракт и под хлещущим ей в лицо дождем проделала еще сто семь шагов, что отделяли ее от корчмы, а пока она шла, до нее — с внезапностью озарения — все дошло! Дабы оттянуть время, ибо от возбуждения, от жуткой чехарды беспомощно крутящихся в голове слов она не могла сразу четко и недвусмысленно, с силой откровения дать людям понять, что «наступили последние времена», госпожа Халич остановилась у двери корчмы, и рванула ее на себя, и, возвысившись на пороге, вскричала в лицо изумленной публике: «ГРЯДЕТ ВОСКРЕСЕНИЕ!» — вскричала только тогда, когда совершенно уверилась, что безошибочно выбрала слова, своей лаконичностью только усилившие неизгладимое впечатление, которое вызвал сам факт свершившегося. На ее возглас хуторянин испуганно встрепенулся, кондуктор вскочил как ужаленный, не бездействовал и корчмарь, откинувшийся назад с такой силой и с такой опрометчивостью, что ударился головой о стену и в глазах у него потемнело. Немного спустя они узнали госпожу Халич. Хозяин корчмы, не сдержавшись, набросился на нее («Да что это с вами, черт подери!»), а затем стал возиться с вырванным с мясом засовом, пытаясь прикрутить его к двери. Халич в великом смущении подтащил жену к ближайшему стулу (что было не так-то просто: «Да иди же ты, бога ради, сюда дождь заливает!»), после чего, согласно кивая, стал успокаивать взволнованно тараторившую жену; поток ее слов, исполненных то надменного пафоса, то скулящего страха, прервался только тогда, когда госпожа Халич, взбешенная насмешливыми ухмылками корчмаря и кондуктора, крикнула: «В этом нет ничего смешного! Ничего!» — и Халичу удалось наконец усадить ее рядом с собой за угловой столик. Обиженно замолчав и прижав к груди Библию, она устремила взгляд поверх голов грешников в нездешнюю высь, и глаза ее подернулись пеленой обретенной уверенности. Как воткнутый в землю кол, так высилась она теперь над понуренными головами и согбенными спинами; и место, которое она в ближайшие часы не собиралась кому бы то ни было уступать, было словно дыра в закрытом пространстве корчмы — дыра, через которую беспрепятственно уходил воздух, замещаемый чем-то парализующим, ледяным, ядовитым. В напряженной тишине слышался только упорный гул слепней да издали доносился неустанно льющий дождь, и два этих звука объединял все чаще слышимый *шорох* в сучьях гнущихся за окном акаций, в ножках столов и несущей конструкции стойки, где вершилась причудливая ночная работа, неровно пульсирующие сигналы которой отмеряли отрезки времени, безжалостно очерчивая пределы пространства, куда могло целиком поместиться слово, фраза или движение. Вся эта ночь конца октября, казалось, билась в унисон: в странном, для слов и воображения недоступном порядке пульсировали деревья, дождь, грязь, сумерки, медленно наплывающая темнота, размытые тени и устало работающие мышцы, тишина, людские вещи, изгибы неровной дороги; растущие волосы подчинялись иному ритму, чем разлагающиеся ткани тела, рост и распад следовали разными направлениями, и все же этот ночной хаос звуков, эти тысячи отдающихся эхом биений, похоже, сливались в один общий ритм, дабы скрыть отчаяние: за одними вещами упрямо выплывали другие, теряющие связь друг с другом за пределами нашего поля зрения. Дверь, навеки оставленная открытой, есть никогда не отпирающийся замок. Дыра есть просвет. Хозяин корчмы, убедившись, что все усилия обнаружить живое место в прогнившей дверной коробке напрасны, отшвырнул щеколду и заменил ее клином; с досадой воссел он на свой табурет («Дыра есть дыра», — резюмировал он), вознамерившись, пока есть возможность, своей телесной недвижностью противостоять все растущему беспокойству, избавиться от которого — он это прекрасно знал — теперь уже вряд ли получится. Ибо все было тщетно: внезапно охватившее его желание отомстить госпоже Халич, не успев набрать силу, тут же было заглушено пронзившим его отчаянием. Он оглядел столы, прикидывая, на сколько времени хватит вина и палинки, затем встал и скрылся за дверью склада. Здесь, где его никто не видел, он дал волю ярости; угрожающе размахивая руками и корча страшные рожи, он пробежал, втягивая в себя ржавый запах («аромат любви...» — говаривал он в те времена, когда в помещении еще кантовались девицы Хоргош), по привычному маршруту среди залежавшихся на годы товаров, как всегда, когда для решения каких-то неотложных проблем требовалось длительное уединенное размышление; его путь лежал сначала к окну, защищенному от ночных татей с большой дороги железной решеткой толщиною в два пальца и густой паутиной, оттуда — к мешкам с мукой и, далее, мимо высившихся стеной ящиков с комбикормом, к небольшому столу, где хранились приходно-расходные книги, тетради, табак и личные вещи. Оттуда он вернулся к окну, сделал — уже бесстрастное — непристойное замечание в адрес Создателя, который этими «чертовыми пауками» норовит поломать ему жизнь, переступил через кучу рассыпанного зерна и вскоре вновь оказался возле железной двери. Нет, это ерунда: не верит он ни в какое воскресение, пускай этим развлекается госпожа Халич, а он эти штучки знает; но некоторое беспокойство он все же испытывал — а как же иначе, если выяснилось, что мертвый человек воскрес? В свое время у него не было никаких причин усомниться в том, что так уверенно утверждал этот мальчишка Хоргош; он даже отозвал его в сторону, чтобы как следует «допросить» обо всех подробностях; и хотя из-за некоторых деталей у него было ощущение, что вся эта история «не так ладно скроена, как бы надо», ему и в голову не могло прийти, что рассказанная мальчишкой новость есть чистая выдумка. Да и зачем этому Хоргошу, хотел бы спросить он, могло понадобиться так нагло врать? Хотя он готов поклясться, что мир еще не видал более испорченного щенка, все же пусть ему не рассказывают, что ребенок — без посторонней помощи и даже без подстрекательства! — способен такое придумать. Ну а что касается смерти, то факт этот — по личному его мнению — остается фактом независимо от того, что якобы кто-то их видел в городе. Однако и удивляться тут нечему: от этого Иримиаша ничего другого он и не ожидал. Когда речь идет об этом грязном бродяге, а они с напарником, несомненно, первостатейные негодяи, то он готов поверить чему угодно. В нем созрело решение: в каком бы виде они тут ни появились, он колебаться не станет — выпивка стоит денег. В конце концов, ему дела нет, пусть они даже привидения, но тот, кто здесь пьет, тот платит. Он убытки нести не намерен. Не для того он «всю жизнь» тут ишачил, не для того надрывал пупок, открывая дело, чтобы «всякие странствующие бездельники» пили тут на халяву. Ему тоже в кредит не дают, и широкие жесты вообще не в его натуре. Кстати, он вовсе не исключает, что Иримиаша с Петриной *действительно* задавила машина. Ну а что? Разве кроме него, корчмаря, никто не слыхал о мнимоумерших? Каким-то образом удалось вернуть эту парочку к их несчастной жизни — и что с того? Для современной медицины нет ничего невозможного, хотя такой шаг, как он полагает, со стороны науки был бы необдуманным. Так или иначе: его это не волнует; не из того он теста сделан, чтобы испугаться каких-то там «мертвецов». Корчмарь сел за столик, смахнул с амбарной книги паутину, полистал ее, достал лист бумаги и огрызок карандаша и лихорадочно, в сопровождении непонятных звуков стал складывать записанные на последней странице цифры:

10 × 16 п. а/4 × 4

9 × 16 б. а/4 × 4

8 × 16 в. а/4 × 4

Итого: 2 ящ. 31,50

3 ящ. 5,60

5 ящ. 3,—

С тихой гордостью смотрел он на кренящиеся справа налево цифры и испытывал безграничную ненависть к миру, позволившему, чтобы эти негодяи выбрали его мишенью своих очередных гнусных планов; обычно он умел подчинять внезапно вспыхивающий в нем гнев («Он мужчина с норовом!» — говаривала его жена городским соседям) и презрение великой мечте своей жизни: для того, чтобы она когда-нибудь стала реальностью, понимал он, ему надо все время быть начеку, ведь одно опрометчивое слово, один неверный расчет, и все рухнет. Но не всегда он мог «совладать со своим характером», и тогда приходилось нести убытки. Но в целом корчмарь был доволен миром, поскольку он понял, что́ может стать «основанием» для осуществления его великой мечты. Уже в детстве и в юности он научился точно просчитывать, какую пользу могут ему принести бушующие вокруг злоба и ненависть. А посему — это ведь ясно — он не должен впадать в тот же грех! Однако порой он все же приходил в ярость, и тогда запирался здесь, в кладовой, чтобы выпустить пар подальше от посторонних глаз. Он умел блюсти осторожность. Даже в подобных случаях умел избежать ненужных убытков. Он пинал стены или — на крайний случай — швырял в металлическую дверь пустой ящик, пусть «жахнет как следует». Однако сейчас он не мог себе это позволить, его бы услышали в зале. И, как это случалось и раньше, спасением для него стали цифры. Ибо в цифрах была некая загадочная очевидность, некая глупым образом недооцененная «благородная простота», из которой рождалось щекочущее его позвоночник сознание: *перспективы есть*. Но есть ли такие цифры, которые способны победить Иримиаша — этого негодяя с жидкими пепельными волосами, безжизненным взглядом и лошадиной мордой, эту нечисть, этого червяка, место которому в навозной куче?! Где та цифра, которая одолеет это неисчерпаемое двуличие, этого дьявола во плоти? Подозрительный? Неблагонадежный? Тут не хватает слов. Все слова тут бессильны. Тут не слова нужны. Нужна сила. Которая наконец наведет порядок! Да, сила, а не пустопорожняя болтовня. Он перечеркнул то, что было записано ранее, но цифры, легко читаемые под перечеркивающими их линиями, глядели с листа бумаги еще более красноречиво. Они сообщали корчмарю уже не только о количестве вина, пива и безалкогольных напитков в ящиках, о нет! Цифры говорили ему все больше и больше. И он обратил внимание, что одновременно с этим рос и он сам. Чем более значительными становились цифры, тем более «возрастал он сам». Уже не один год сознание неимоверной своей значительности приводило его чуть ли не в замешательство. Он бросился назад, к ящикам с прохладительными напитками, чтобы проверить, правильно ли он все помнит. Его беспокоило, что он не может унять непрерывную дрожь в левой руке. Но что ему было делать? Пришлось наконец-то задаться вопросом, который так мучил его: «Чего хочет Иримиаш?» Из угла послышался приглушенный звук, и на мгновение кровь в жилах его застыла — он подумал, что демонические пауки, вдобавок ко всему прочему, научились еще и говорить. Он вытер лоб и, прислонившись к мешкам с мукой, закурил. «Человек две недели пил у меня задарма и теперь снова смеет совать сюда свою рожу! Он, видите ли, возвращается! Да не просто! А так, будто ему показалось мало! Вышвырну вон этих пьяных свиней! Погашу все лампы! Заколочу дверь! Забаррикадирую вход!» Он будто с цепи сорвался. Снова забегал по устроенным им самим ходам. «Ведь как было дело? Он явился ко мне на хутор и говорит как бы между прочим: ну а ежели деньги понадобятся, так засади все луком. Будто к слову пришлось. Каким, спрашиваю, луком? Обыкновенным, репчатым, говорит. Ну, я и засадил. И все получилось. Тогда и купил у шваба эту корчму. Ведь все гениальное просто. А через четыре дня после открытия он сует сюда свою ненасытную харю и нагло мне заявляет, что я (Я!!!) всем обязан ему, после чего две недели пьянствует здесь на халяву и даже «спасибо» не говорит. А что теперь? Уж не собирается ли он забрать то, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ? Боже правый! Куда мы придем, ежели кто угодно сможет однажды прийти и сказать: а ну-ка, вали отсюда, теперь я здесь хозяин! Что станет с этой страной? Неужто здесь не осталось ничего святого? Нет, друзья мои дорогие! Есть еще в этом мире закон!» Глаза его прояснились, он успокоился. И трезво пересчитал ящики с лимонадом и минералкой. «Так и есть! — хлопнул он себя по лбу. — Стоит на миг отвлечься, и все идет наперекосяк». Он снова достал амбарную книгу, открыл тетрадь и, перечеркнув последнюю страницу, с удовлетворением начал заново:

9 × 16 б. а/4 × 4

10 × 16 п. а/4 × 4

8 × 16 в. а/4 × 4

Итого: 3 ящ. 31,50

3 ящ. 3,—

5 ящ. 5,60

Он бросил карандаш, засунул тетрадь в гроссбух, убрал его в ящик стола и, отряхнув колени, отодвинул засов двери. «Ну, посмотрим, чем дело кончится». Госпожа Халич была единственной, кто обратил внимание на то, «как же долго он пробыл в этом чудовищном помещении», и теперь она строгим взглядом следила за каждым движением корчмаря. Халич испуганно слушал громогласный рассказ кондуктора. Он съежился, как только мог, подтянул ноги под себя, а руки засунул поглубже в карманы, чтобы оставить на теле как можно меньше уязвимых участков на случай, если «как раз сейчас сюда кто-то вломится». Достаточно было, что в такое необычное время здесь объявился этот кондуктор (которого с лета в поселке не видели), весь взволнованный, в мыле, как те незнакомцы в потертых пальто до пят, которые вдруг появляются в кухне, где мирно ужинает семья, чтобы, сея смятение и ужас, усталым голосом объявить, что началась война, затем выпить, привалившись среди всеобщего переполоха к буфету, стаканчик домашней палинки и навеки исчезнуть за горизонтом. В самом деле, что мог он подумать об этом нежданном-негаданном воскресении, о лихорадочной суете вокруг? С недобрым чувством Халич заметил, что все вокруг как-то переменилось: сдвинулись со своих мест столы и стулья, оставив светлые следы от ножек на натертом мастикой полу, винные ящики у стены словно бы выстроились в другом порядке, а на стойке воцарилась необычная чистота. Пепельницы, которым в иное время месяцами было «вполне хорошо и в куче», все равно ведь все стряхивали пепел себе под ноги, вдруг — гляди-ка! — оказались расставленными по столам! Дверь придерживал уже клин, окурки были сметены в аккуратную кучку в углу! Как все это понимать? Не говоря уж о пауках проклятых — ведь стоило только присесть, и уже приходилось стряхивать с себя паутину... «В конце концов, меня это не волнует. Лишь бы бабу эту черти отсюда забрали...» Келемен подождал, пока ему снова нальют, и только тогда поднялся. «Разомну поясницу немного, — сказал он и, громко кряхтя, стал ритмично отводить назад туловище. После чего одним духом осушил стопку палинки. — Это верно, как то, что я сейчас перед вами. Такая там тишина воцарилась, скажу я вам, что даже собака за печкой не смела пошелохнуться! Я сижу и только глазами хлопаю, думаю: уж не мерещится ли? Передо мной стояли они, живые, как есть, в натуральную величину!» Госпожа Халич холодно смерила Келемена взглядом: «Ну и что, усвоили вы урок?» Кондуктор с досадой повернулся к ней: «Какой урок?» — «Ничего-то вы не усвоили! — печально продолжила госпожа Халич и рукой, в которой держала Библию, указала на его стакан. — Вон и теперь лакаете!» Келемен пришел в бешенство: «Что, что? Я? Лакаю? Да кто вы такая, чтобы мне тут хамить?!» Халич испуганно сглотнул и извиняющимся тоном вставил: «Не принимайте всерьез, господин Келемен. Она завсегда такая. К сожалению». — «Что значит, черт подери, не принимать всерьез?! — вскричал тот. — Да что вы себе воображаете?!» Хозяин корчмы профессионально вмешался: «Попрошу успокоиться. Продолжайте, господин Келемен. Мне очень интересно». Госпожа Халич с ошеломлением на лице повернулась к мужу: «Как ты можешь спокойно сидеть тут, будто ничего не случилось?! Этот тип оскорбляет твою жену! Вот чего никогда не подумала бы!» От нее исходило такое глубокое и такое необъяснимое презрение, что Келемен — который вовсе не собирался оставлять это дело так — поперхнулся на полуслове. «Ну... так на чем я остановился? — спросил он у корчмаря, высморкался и тщательно, стрелка к стрелке, сложил носовой платок. — Ах да. На том, что барменши повели себя вызывающе, и тогда...» Халич потряс головой: «Да, этого еще не было». Келемен разъяренно хватил стаканом об стол. «Я так не могу, увольте!» Корчмарь бросил на Халича укоризненный взгляд и знаком дал понять кондуктору, чтобы не заставлял себя долго упрашивать. «Нет, увольте. Я кончил! — отрезал Келемен и кивнул на Халича: — Пускай он рассказывает! Это ведь он там был, верно? Ему лучше знать!» — «Да оставьте их, — отвечал корчмарь. — Им этого не понять. Уж поверьте мне — не понять!» Келемен, несколько смягчившись, кивнул; палинка прогрела ему кости, одутловатое лицо его раскраснелось, и даже нос, казалось, немного распух... «Ну так вот... я остановился на том, что эти барменши... И мне тогда показалось, что Иримиаш им прямо тут же влепит, но ничего подобного! Все пошло по-другому. Но до чего же там наглый народ! Такие же, как вот эти здесь... Я их в лицо знаю... Извозчик и двое грузчиков с дровяных складов, учитель гимнастики из первой школы, официант из ночного бара да еще несколько типов. И серьезно скажу вам, я прямо изумился выдержке Иримиаша... Мы должны отдать ему должное. Что он мог с них спросить? В самом деле, вот с этих, чего мы можем спросить?! Я подождал, пока они выпьют рому с ликером, потому что они заказали ерш (да, говорю я вам, они пили ерш: ром с ликером «Хубертус»), а потом, когда они сели за стол, тогда уж я подошел к ним. Иримиаш, когда узнал меня... То есть... он сразу меня узнал, обнял и говорит, о, и ты здесь, дружище, как я рад! И махнул барменшам, те вскочили будто ошпаренные, хотя за столиками не обслуживали, и Иримиаш заказал всем выпивку». — «Всем заказал?» — изумился корчмарь. «Ну да, — подтвердил Келемен. — А что тут странного? Я видел, что ему сейчас не до разговоров, и потому заговорил с Петриной. Он мне и рассказал обо всем». Госпожа Халич, подавшись вперед, прислушалась, стараясь не упустить ни слова. «Обо всем? Ну конечно — будет он такому рассказывать!» — бросила она с сухой усмешкой. И прежде чем кондуктор успел повернуться, чтобы взглянуть в глаза «этой ведьме», корчмарь перегнулся через стойку и положил руку ему на плечо: «Я ведь сказал вам, не обращайте внимания. Ну а что Иримиаш?» Келемен, сделав над собой усилие, остался на месте. «Иримиаш иногда кивал. Он вообще говорил очень мало. Размышлял о чем-то». Корчмарь нервно вздрогнул: «Размышлял, говорите... о чем-то?..» — «Ну да. А в конце сказал только: нам пора. Увидимся еще, Келемен. Я тоже через какое-то время ушел, потому что там невозможно было... во всяком случае, я быдла долго не выношу, да к тому же у меня была деловая встреча в Кишроманвароше, с мясником Хоханом. Домой я отправился уже затемно. Перед этим неподалеку от бойни зашел еще в рюмочную. И столкнулся там с Тотом-младшим, он много лет назад был в Поштелеке моим соседом. От него я узнал, что во второй половине дня Иримиаш с Петриной будто бы встречались у Штайгервальда с бывшим торговцем охотничьими ружьями и разговаривали с ним о каком-то порохе, во всяком случае, так болтали на улице Штайгервальдовы ребятишки. А потом я уж двинулся в сторону дома. И еще до того, как свернуть у развилки на Элек, ну, около поля Фекете, я обернулся — не знаю сам почему. И сразу сообразил — они, а кому еще быть, как не им, хотя расстояние было еще приличное. Я прошел чуть дальше и остановился, чтобы не потерять развилку из виду, и точно, глаза меня не обманывали, это были они: свернули с уверенностью на тракт. А куда, почему и зачем они шли, это я уже дома внезапно сообразил». Корчмарь слушал Келемена, подавшись вперед, и следил за ним с довольным и хитроватым видом; он догадывался, что то, что ему рассказывают, — всего лишь часть, крохотная частица того, что случилось на самом деле, да и это, по-видимому, вранье. Он достаточно высоко ценил Келемена, чтобы понимать: так просто он «козырей не раскроет». И вообще он знал, что просто так, наобум люди ничего «не выкладывают», и поэтому никогда никому не верил, как не поверил сейчас ни единому слову кондуктора, хотя выслушал их с величайшим вниманием. Он был убежден, что человек даже и при желании не способен рассказать правду, и поэтому первой версии всякой истории особого значения он не придавал — точнее сказать, придавал, но примерно такое: «Да, возможно, что-то имело место...» Но что именно — это, как он полагал, может быть выяснено только общими усилиями, для чего необходимо выслушивать все новые и новые вариации и не делать ничего иного, как просто ждать; ждать, что в один прекрасный момент истина — неожиданным образом — обнаружится; и тогда сделаются очевидными многие подробности и даже станет возможным — задним числом — проверить, в каком порядке должны были следовать друг за другом отдельные элементы оригинальной истории. «Куда, почему и зачем?» — с ухмылкой переспросил он. «А что, им здесь нечем заняться?» — прозвучало в ответ. «Наверное, есть чем», — холодно согласился корчмарь. Халич придвинулся ближе к жене («Что за ужасные слова, о боже! Мурашки по коже бегут...»), та медленно повернулась к нему. Она долго изучала дряблое лицо мужа, его мертвенно-серые глаза, низкий выступающий лоб. Вблизи дряблая кожа Халича напоминала наваленные друг на друга слои мяса и сала в холодном цеху скотобойни, его студенистые глаза походили на подернутую ряской поверхность колодца во дворе заброшенной усадьбы, а выступающий лоб — на лбы тех убийц, чьи незабываемые фотографии иногда можно видеть в центральных газетах. Вот почему та искра сочувствия, которую она испытала к Халичу, столь же быстро погасла, как и возникла, уступив место не совсем подобающему в этой обстановке восклицанию: «Господь всемогущий!» Она отогнала от себя тяжкое чувство, напоминавшее ей о необходимости любить мужа, потому что «даже у собаки больше достоинства», чем у него; но что она могла сделать? Уж, видимо, такова судьба. Ее-то наверняка ожидает в раю тихий уголок, ну а что ждет Халича, какое уготовано наказание его очерствелой грешной душе? Госпожа Халич верила в провидение и возлагала надежду на огонь чистилища. Она помахала Библией. «Ты бы лучше, — строго сказала она, — почитал вот это! Пока не поздно!» — «Кто, я? Ты ведь знаешь, голубушка, что я...» — «Ты! — оборвала его госпожа Халич. — Да, ты! По крайней мере, неизбежное не застигнет тебя врасплох». Ее суровые слова не потрясли Халича. С недовольной гримасой он взял книгу, ибо «выше всего — согласие», прикинул вес и, одобрительно кивнув, открыл на первой странице. Но госпожа Халич с возмущением вырвала у него книгу: «Да не с Бытия начинай, несчастный!» И привычным движением открыла ее на Апокалипсисе. Халич с трудом одолел первый стих и вскоре, заметив, что суровое внимание его супруги несколько ослабело, совсем перестал читать, полагая, что достаточно будет просто делать вид, будто он читает. И хотя смысл читаемых слов не доходил до его сознания, шибающий в нос запах книги воздействовал на него благотворно: обмен репликами между Керекешем и корчмарем, а затем между корчмарем и кондуктором («Дождь идет?» — «Идет» и «Чего это он?» — «Назюзюкался») он слышал только вполуха, ибо мало-помалу вернул способность ориентироваться в пространстве, страх, вызванный новостью про Иримиаша и Петрину, рассеялся, и он снова смог оценить расстояние между собой и стойкой, ощутить сухость в горле и замкнутое пространство корчмы. Грудь грело приятное чувство, что он может сидеть здесь, «среди людей», и быть уверенным в том, что ничего особенно страшного ему не грозит. «Без вина нынче вечером не останусь. А на все остальное плевать!» Когда же в дверях появилась госпожа Шмидт, по дряхлой его спине пробежали «озорные мурашки»: «Чем черт не шутит? Может быть, и на это достанет денег!» Но колючий взгляд госпожи Халич положил его грезам конец. Он потупил глаза и склонился над книгой, как нерадивый школяр над экзаменационными вопросами, когда нужно одновременно бороться с не терпящим возражений взглядом матери и соблазнами знойного лета, стоящего за окном. Ибо для Халича госпожа Шмидт была олицетворением лета — времени года, недосягаемого для людей, знакомых только с промозглой осенью, тоскливой зимой и полной беспочвенных треволнений весной. «О, госпожа Шмидт!» — расплывшись в улыбке, вскочил корчмарь и, пока Келемен, пошатываясь, искал на полу клин, который до этого удерживал дверь, проводил женщину к служебному столику, подождал, пока она сядет, и наклонился к уху, чтобы вдохнуть грубый, резкий запах одеколона, едва заглушавший ядреный дух, исходивший от сальных волос. Он не мог сказать точно, что любит больше — этот пасхальный запах одеколона или пьянящее благоухание, которое — как быка весной — подталкивает его к желанной цели. «Халич места себе не находит, не знает, что с вашим мужем случилось... А все ненастье проклятое. Что прикажете принести?» Госпожа Шмидт своим «обольстительным локотком» оттолкнула в сторону корчмаря и огляделась по сторонам. «Может, черешневой?» — все так же доверительно улыбаясь, поинтересовался тот. «Нет, — ответила госпожа Шмидт. — То есть да. Только самую малость». Госпожа Халич, гневно сверкая глазами, с пылающим лицом и дрожащими губами следила за каждым движением корчмаря; возбуждение, кипящая страсть человека, отстаивающего «свое кровное», то вспыхивали, то гасли в ее сухом теле, поэтому она не могла решить, как ей поступить: сию минуту покинуть этот «кошмарный вертеп» или же подойти и заехать по роже похотливому негодяю, который осмеливается охмурять эту невинную, чистую душу, заманивая беззащитное существо в сети своими гнусными ухищрениями? Охотнее всего она бросилась бы на помощь («приголубила бы ее, приласкала...») госпоже Шмидт, дабы спасти ее от «посягательств» насильника корчмаря, но сделать этого она не могла. Она знала, что ей нельзя выдавать свои чувства, потому что их тут же поймут превратно (ведь и так уж об этом шушукаются у нее за спиной!); догадывалась она и о том, к какому альянсу склоняют сейчас эту бедолагу, как и о том, что ждет ее впереди. Она сидела с навернувшимися на глаза слезами, согбенная, с тяжким грузом на тощих плечах. «А вы уже слышали?» — с безупречной любезностью осведомился корчмарь. Он поставил перед госпожой Шмидт палинку и, насколько было возможно, втянул выпирающее брюшко. «Да слышала она, слышала», — выпалила госпожа Халич из своего угла. Корчмарь помрачнел и, стиснув зубы, вернулся на свое место. Госпожа Шмидт двумя пальчиками изящно поднесла ко рту рюмку, а затем — словно бы на ходу изменив решение — мужским жестом опрокинула ее в себя. «А вы уверены, что это они?» — «Абсолютно уверен! — ответил хозяин корчмы. — Тут никаких сомнений!» Все существо госпожи Шмидт охватило смятение, она почувствовала, что кожа ее стала липкой, в голове закружились обрывки мыслей, хаотично и беспорядочно, так что ей пришлось левой рукой крепко сжать край стола, чтобы не выдать внезапно нахлынувшее на нее счастье. Надо будет вынуть из солдатского сундучка свои вещи, определить, что ей может понадобиться, а что нет, ежели завтра утром — или, может, уже сегодня ночью? — они отправятся в путь; ибо она ни минуты не сомневалась, что необыкновенный — да что необыкновенный? попросту фантастический! — визит Иримиаша («В этом весь он!» — подумала она с гордостью) не может быть случайным... Она, госпожа Шмидт, еще в точности помнит его слова... о, разве можно забыть их? И все это случилось сейчас, в последний момент! За месяцы, прошедшие с той минуты, когда было получено чудовищное известие о его смерти, она уже потеряла веру, отказалась от всех надежд и лелеемых планов и готова была довольствоваться этим жалким — и безрассудным — бегством, лишь бы не оставаться здесь. Вот глупое маловерие! А ведь она всегда знала, что от этой проклятой жизни ей еще кое-что причитается! Есть еще чего ждать и на что надеяться! Но теперь уж конец всем ее страданиям, конец мукам! Сколько раз она это представляла себе в своих грезах! И вот! Наступил! Великий момент ее жизни! Глазами, горящими ненавистью и, можно сказать, уже беспредметным презрением, окинула она сумрачные лица сидевших в корчме. Ее всю распирало от ликования. «Я вас покидаю. Загибайтесь тут. Все как есть. Подыхайте. Чтоб вас громом сразило. Чтоб вы окочурились. Прямо сейчас». Громадные и неопределенные (но прежде всего громадные) планы роились в ее голове, перед глазами мелькали огни, ряды освещенных витрин, в воображении рисовались модные музыкальные группы, дорогие ночные рубашки, чулки и шляпки («Шляпки!»); мягкие и прохладные на ощупь меховые манто, сверкающие отели, роскошные завтраки и грандиозные походы по магазинам, а вечером, ВЕЧЕРОМ, танцы... Она закрыла глаза, чтобы услышать весь этот шелест, дикий гомон и беспредельно счастливую суматоху. И под опущенными ресницами воскресла трепетно лелеемая с девических лет и оберегаемая от мира волшебная греза (сотни и тысячи раз заново пережитый «званый чай в гостиной»...), но в бешено колотившемся сердце вспыхнуло и прежнее отчаяние: как же много всего она упустила в жизни! И как она устоит перед всеми — такими внезапными! — трудностями? Как ей вести себя в этой свалившейся на нее «настоящей жизни»? Конечно, обращаться с ножом и вилкой она кое-как умеет, но как быть с тысячами видов белил, пудры, кремов, как отвечать на «приветствия их знакомых», на комплименты, как выбирать и как носить платья, а если — чем черт не шутит! — у них будет еще и автомобиль, то что ей с ним делать? Она решила, что будет во всем полагаться на интуицию и вообще держать глаза открытыми. Если уж она смогла выдержать этого отвратительного краснорожего недоумка Шмидта, то чего ей бояться рядом с Иримиашем? Она знала лишь одного мужчину — Иримиаша, — который умел так безумно ее волновать и в постели, и в жизни. Даже мизинца его не отдала бы она за все сокровища мира, одно слово его стоит больше, чем слова всех других мужчин, вместе взятых... Да и где они здесь, мужчины?.. Разве, кроме него, отыщется хоть один? Может, Шмидт с его вечно воняющими ногами? Или хромоногий Футаки с его провонявшими мочой брюками? Или — вон, полюбуйтесь — корчмарь? Пузатый, с гнилыми зубами и зловонным дыханием! Ей знакомы в этом краю «все грязные постели», но подобного Иримиашу она не встречала ни прежде, ни после него. «Какие убогие рожи. Позор, что я все еще здесь. Невыносимая вонь изо всех углов, даже от стен. Как я здесь оказалась? Что за грязь. Что за свалка. Что за вонючки кругом!» «Да уж, — подумал Халич, — в рубашке родился этот Шмидт». Он восхищенно смотрел на широкие плечи женщины, на крепкие бедра, на завязанные узлом черные волосы и пышную грудь, прекрасную даже под дождевиком, и уже представлял себе... (Вот он встанет, чтобы пригласить ее на стаканчик... палинки. Ну а дальше? А дальше между ними завяжется разговор, и он попросит ее руки. Но ведь у вас, изумится она, уже есть жена. Да какая это жена, скажет он.) Корчмарь поднес госпоже Шмидт новую рюмку палинки, и пока та пила ее мелкими глоточками, во рту у Халича собиралась слюна. А у его жены по спине побежали мурашки. Ничто уже не могло рассеять подозрения госпожи Халич. Корчмарь принес новую рюмку палинки, и госпожа Шмидт, которая его не просила об этом, выпила палинку с таким видом, будто заказывала ее. «Она стала его любовницей!» Госпожа Халич опустила глаза, чтобы никто не видел, что с ней происходит. Ибо от сердца до кончиков пальцев ног по жилам ее побежали гнев и ярость. Ибо теперь она уж действительно почти потеряла голову. Она чувствовала себя в западне, ведь, с одной стороны, нельзя было ничего поделать, потому что и без того достаточно «всяких сплетен», а с другой — невозможно было беспомощно наблюдать, как они хладнокровно, у всех на глазах, занимаются этим развратом. Но внезапно — она готова была поклясться, что по указанию свыше — чистый свет озарил ее душу, окутанную чудовищным мраком. «Я грешница!» Она судорожно вцепилась в Библию и, беззвучно шевеля губами, но внутри истошно крича и хватаясь за каждое слово, инстинктивно принялась читать «Отче наш». «Что значит — к утру? — закричал кондуктор. — Когда я встретил их у развилки, было семь, самое большое восемь часов! Это значит, что, как бы они ни тащились, к полуночи будут здесь. Если я, — продолжал он, подавшись вперед, — за полтора-два... ну, хорошо... положим, за три-четыре часа... добрался досюда, хотя лошади из-за грязи то и дело переходили на шаг, то уж им-то должно хватить этих четырех или пяти часов!» Корчмарь поднял указательный палец: «Будут здесь к утру, вот увидите. Тракт весь в рытвинах и ухабах. И не надо рассказывать мне, что по старой дороге сюда три-четыре часа надо ехать! Так я вам и поверил. Старая дорога ведет сюда прямиком. Они же могли сюда только по тракту пойти! А тракт — он делает тут такой крюк, будто ему море приходится огибать! Так что вы объясняйте кому другому, а я человек здешний». У Келемена уже слипались глаза, поэтому он только махнул рукой и, опустив голову на стойку, тут же заснул. Сзади Керекеш медленно поднял свой наголо стриженный, покрытый устрашающими застарелыми шрамами череп; сон буквально пригвоздил его к бильярдному столу... Какое-то время он вслушивался в несмолкаемый шум дождя, затем потер затекшие ляжки, зябко передернулся и рявкнул на корчмаря: «Эй, рябой! Ну что там с этой гребаной печкой?» Грубый возглас возымел некоторый эффект. «Что правда, то правда, — присоединилась к нему госпожа Халич. — Немного погреться не помешало бы». Корчмарь вышел из терпения: «Ну скажите мне откровенно, *вы*  чего здесь базарите? Это корчма, а не зал ожидания!» Керекеш так и взревел: «Слушай, ты, если через десять минут, понимаешь ты, через десять, тут не будет тепло, я тебе оторву башку!» — «Ладно, ладно. Чего орать-то?» — примирительно сказал корчмарь и с лукавой усмешкой посмотрел на госпожу Шмидт. «А сколько сейчас?» Корчмарь взглянул на часы: «Одиннадцать. Не больше двенадцати. Узнаем, когда придут остальные». — «Какие еще остальные?» — спросил Керекеш. «Да это я так говорю». Хуторянин облокотился о бильярд, зевнул и потянулся за своим стаканом. «Кто вино мое утащил?» — мрачно вопросил он. «Сам разлил его». — «Врешь, рябой». Корчмарь с ухмылкой развел руками: «Да нет же, ты правда его разлил». — «Тогда принеси еще». Над столами медленно колыхался табачный дым; откуда-то издали, то вдруг стихая, то вновь разносясь, слышался яростный лай собак. Госпожа Шмидт принюхалась. «Что за запах? Минуту назад его еще не было», — изумленно спросила она. «Это все пауки. Или может быть, масло», — приторным голосом пропел корчмарь и встал на колени у масляной печки, собираясь ее затопить. Госпожа Шмидт недоверчиво покачала головой. Она — сперва сверху, потом с изнанки — понюхала свой дождевик, затем обнюхала стул, опустилась на колени и продолжила изыскания. Лицо ее уже было у самого пола, когда она вдруг распрямилась, сказав: «Это земля».

### V. Там, где рвется

Это было непросто. В свое время ей понадобилось целых два дня, чтобы сообразить, куда поставить ногу, за что ухватиться и как протиснуться в безнадежно узкий на первый взгляд лаз под стрехой позади дома, на том месте, где на щипцовой стене не хватало нескольких досок; теперь-то, конечно, она проделывала это за полминуты: рискованным, но точно рассчитанным движением она запрыгивала на укрытую черным брезентом поленницу, хваталась за кронштейн водосточного желоба, просовывала левую ногу в отверстие и сдвигала ее в сторону, после чего, нырнув вперед головой и оттолкнувшись одновременно другой ногой, одним махом оказывалась в той части чердака, некогда отведенной под голубятню, где теперь находилось ее личное царство, секрет которого знала она одна; здесь не надо было опасаться неожиданных и непонятных атак старшего брата, при этом она инстинктивно следила за тем, чтобы слишком долгим отсутствием не навлечь подозрения матери и сестер. Ведь если они разоблачат ее, то безжалостно отсюда изгонят и все усилия ее будут напрасны. Но теперь-то это уже не имело особенного значения! Она стянула с себя промокшую спортивную куртку, оправила любимое розовое платье с белым воротником и уселась у «окна». Зажмурив глаза и трясясь от холода, готовая в любую минуту вскочить, она слушала, как по черепице стучит дождь. Мать спала внизу, в доме, старшие сестры не явились даже на обед, и она могла быть почти уверена, что днем ее никто искать не станет — разве что Шани, о котором никто никогда не знал, где он в данный момент болтается, так что он появлялся всегда неожиданно, будто искал на хуторе разгадку какой-то тайны, разоблачить которую можно было только таким путем — стремительным неожиданным нападением. Собственно говоря, особых причин для страха у нее не было, ведь ее никогда не искали; более того, ей приказывали держаться подальше, в особенности тогда — а такое случалось нередко, — когда в доме был гость. Вот она и оказывалась словно бы на ничейной земле, не в силах одновременно выполнить эти два требования: не крутиться возле дверей и при этом быть под рукой, потому что могла в любой момент понадобиться («Ну-ка, сбегай, купи вина!» или: «Принеси, дочка, сигарет — три пачки «Кошута», не забудешь?»), и если допустит ошибку, ее навсегда изгонят из дома. Это все, на что она годилась; поначалу, забрав девочку «по взаимной договоренности» из городской вспомогательной школы, мать решила использовать ее на кухне, но от страха, что ее накажут, тарелки валились у нее из рук на пол, от кастрюль отлетала эмаль, в углах оставалась паутина, суп получался пресным, а паприкаш пересоленным, и когда она перестала справляться даже с самыми простыми обязанностями, мать спровадила ее и с кухни. С того времени дни ее протекали в судорожном ожидании за сараем или, если шел дождь, под навесом в конце дома, откуда можно было следить за дверью на кухню так, чтобы ее не видели из дому, но при этом она могла бы явиться по первому зову. От вечного напряженного внимания очень скоро работа органов чувств у нее нарушилась: зрение почти целиком концентрировалось на кухонной двери, которую она видела настолько резко, что темнело в глазах; она одновременно воспринимала все ее части — и верх с двумя грязными стеклами, за которыми маячили пришпиленные канцелярскими кнопками кружевные шторки, и заляпанный грязью низ, и бессильно повисшую ручку посередине, то есть видела все отталкивающее хитросплетение форм, цветов и линий, более того, она даже различала в чрезвычайно раздробленном на отдельные фрагменты времени различные состояния двери, отражавшие разные степени потенциальной опасности. А когда эта неподвижность вдруг нарушалась, все вокруг нее приходило в движение: мчалась мимо нее стена дома, дугой выгибался навес, куда-то летело окно, слева от нее проплывали хлев и заброшенная цветочная клумба, раскачивалось над головою небо, и плыла под ногами земля, и вот она уже стояла перед матерью или старшей сестрой, даже не успев заметить, как отворилась дверь кухни. Мгновения, пока она опускала глаза, ей было достаточно, чтобы узнать их, ничего иного ей и не требовалось, ибо в это мгновение расплывчатая фигура матери или сестры надолго впечатывалась в пространство, заполненное плывущими и качающимися предметами, и она слепым зрением ощущала, что *они там, и она стоит там,*

перед ними,

внизу,

как знала она и то, что их возвышает над нею такая неимоверная сила, что если бы она вдруг отважилась посмотреть на них, то картина наверняка взорвалась бы — столь нестерпимо и столь очевидно их право на превосходство. Звенящая тишина длилась лишь до того момента, пока не распахивалась дверь, а затем в пульсирующем шуме она должна была уловить приказ матери или сестры («Ты меня до сердечного приступа доведешь! Ты куда лезешь? Чего тебе надо здесь? А ну, пошла играть!»), который быстро замирал, пока она бежала обратно к сараю или под навес, где облегчение приходило на место паники и вновь продолжалось то, что едва не прервалось. Ни о каких играх, конечно, речи идти не могло; и вовсе не потому, что не было под рукою куклы, книжки сказок или стеклянного шарика, с помощью которых — на случай, если во дворе появится кто-то чужой или кто-нибудь выглянет в окно, желая проверить, что она делает, — она могла притвориться играющей, а потому, что из-за постоянной необходимости быть начеку она не осмеливалась, да и была неспособна уже увлечься игрой. Во-первых, потому что увлечься ей не давали капризы старшего брата, безжалостно решавшего, какой пригодной для игры вещью и как долго она могла пользоваться, а во-вторых, потому что если она играла, то делала это из чувства долга и ради самозащиты, чтоб соответствовать ожиданиям матери и сестер, которые — она хорошо это знала — скорее стерпели бы, что она привязана к играм, «не подобающим ее возрасту», чем вынесли бы позор, что она целыми сутками («Если б только могла!») готова была, «как больная», следить «за каждым нашим движением». Только здесь, наверху, в бывшем голубином пристанище, она чувствовала себя в безопасности; здесь не надо было играть, здесь не было двери, в которую «кто-нибудь мог войти» (вход на чердак когда-то заколотил отец, что было начальным шагом какого-то плана, который теперь уже навсегда останется неразгаданным), и не было окон, в которые «кто-то мог заглянуть», а на створки слухового окна, через которое когда-то влетали и вылетали голуби, она кнопками пришпилила две вырванные из журнала цветные картинки, чтобы с чердака «открывался красивый вид»: на одной картинке был виден морской берег в лучах заходящего солнца, а на другой — покрытая снегом вершина с настороженно прислушивающимся оленем на переднем плане... Но теперь этому уже навсегда конец! От заколоченного люка чердачной лестницы потянул сквозняк, и девочка содрогнулась. Она пощупала спортивную курточку, но та еще не просохла, так что пришлось, чтобы не возвращаться в дом за сухой одеждой, рискуя разбудить мать, набросить на себя самое ценное из ее сокровищ — белую тюлевую занавеску, которую она когда-то нашла в тряпье, сваленном в дальнем углу кухни. Еще вчера о такой безрассудной смелости она не могла и помыслить: промокнув, она тут же переоделась бы, ведь ей было известно, что если она заболеет и сляжет в постель, то не сможет удержаться от слез, которых не стерпят и не простят мать и сестры. Но разве могла она представить себе еще вчера утром, что какой-то — только не гибельный, а спасительный — взрыв очистит ее и она уснет вечером «с верой в чувство достоинства»? Еще несколько дней назад она заметила, что с ее братом что-то произошло: он не так, как обычно, держал в руке ложку, не так закрывал за собою дверь, ночью внезапно просыпался рядом с ней на стоявшей на кухне железной кровати, а днем о чем-то сосредоточенно размышлял. А вчера после завтрака, за сараем, он подошел к ней и вместо того, чтобы, ухватив ее за волосы, поднять с земли на ноги, или — что было бы еще хуже — встать у нее за спиной и молча стоять, пока она не расплачется, он достал из кармана половинку шоколадного батончика «Балатон» и сунул ей в руку. Эштике, не зная, что и подумать, продолжала подозревать недоброе даже после того, как днем Шани поделился с ней «самым невероятным секретом, который когда-либо существовал». При этом она сомневалась не в словах брата, на что она никогда не решилась бы, — невероятным и необъяснимым ей казалось скорее то, что именно ее Шани посвятил в свою тайну и именно у нее просил помощи, у той, на которую «нельзя положиться ни в чем». Однако надежда на то, что на этот раз речь идет не об очередном подвохе, была сильней опасения, что это именно так; вот почему еще до того, как выяснилось, в чем заключается правда, точнее, как раз для того, чтобы правда случайно не выяснилась, Эштике — безо всяких условий и ни минуты не раздумывая — на все согласилась. Конечно, особого выбора у нее и не было, Шани заставил бы ее согласиться в любом случае, но сейчас в этом не было никакой нужды: как только Шани раскрыл ей секрет денежного дерева, он тут же снискал ее безграничное доверие. Когда Шани наконец завершил свой рассказ и, оценивая эффект, посмотрел на «противную рожу» сестры, она уже — на сей раз от внезапно нахлынувшей радости — только что не рыдала, хотя знала по горькому опыту, что в присутствии брата этого лучше не делать. Для проведения «стопроцентно надежного» эксперимента она смущенно протянула ему все свое состояние, собираемое с самой Пасхи, тем более что вся эта сумма, которая складывалась из двухфоринтовых подачек бывавших в доме гостей, и без того предназначалась Шани, только вот как могла она сейчас объяснить, почему месяцами прятала их и скрывала, стараясь, чтобы ее приготовления не вышли наружу... Но брат ее ни о чем не спросил, и радость оттого, что она теперь сможет принять участие в его тайных делах, тут же развеяла ее смущение. Но она так и не нашла объяснения, почему он ее посвятил в эту тайну, чем она заслужила его доверие и, что главное, почему его не пугает риск потерпеть провал, ведь не может же он всерьез думать, что его сестра когда-либо сможет исполнять заповеди «смелости, твердости и воли к победе». Хотя она чувствовала, что объяснение все же было, оно скрывалось за его грубостью и жестокостью, в глубине всех его беспощадных поступков, ведь иногда, когда она была больна, Шани позволял ей забираться к нему в постель и даже однажды стерпел, когда она обняла его и так заснула. А несколько лет назад, когда на похоронах отца она поняла, что смерть, «единственный путь к ангелам», может случиться не только по воле Господа, но и по выбору, и решила непременно узнать, что для этого нужно сделать, то разве не брат просветил ее? В одиночку она ни к чему не пришла бы, без него она никогда не узнала бы, что именно нужно сделать, даже если б случайно своим умом дошла, что «крысиный яд тоже может сгодиться». И вот, проснувшись вчера на рассвете, она наконец победила свой страх и решила больше ничего не откладывать, так как хотела не только мысленно представлять себе, но и реально почувствовать, как она поднимается ввысь, как какая-то сила стремительно увлекает ее за собой, как она отдаляется от земли и как дома, деревья, поля, канал и весь мир внизу съеживаются, и вот она уже у Небесных Врат среди красным огнем пылающих ангелов, — и ведь именно Шани с его секретным денежным деревом, не кто иной, удержал ее от этого восхитительного, хотя и рискованного полета, и уже на закате они вместе — вместе! — отправились к каналу; брат весело насвистывал, держа на плече лопату, а она, на несколько шагов отстав от него, взволнованно прижимала к себе носовой платок, в который было завязано все ее богатство. На покатом берегу канала Шани молча, с деловитым видом выкопал яму и не то что не отогнал ее, а даже позволил самой положить на дно деньги. Сурово наказав ей дважды в день, утром и вечером, обильно поливать закопанные деньги («Иначе засохнет все!»), он отослал ее домой с тем, чтобы «ровно» через час вернулась с лейкой, потому что сам он тем временем еще должен — в полном одиночестве! — произнести над посадкой «некоторые заклинания». Эштике с превеликим усердием выполнила его поручение и спала в ту ночь беспокойным сном; во сне ее преследовали сорвавшиеся с цепи собаки, но утром, когда она увидела, что за окном идет дождь, все тревоги покрыл благодатный покров забвения. Первым делом она, конечно, отправилась на берег канала, чтобы полить волшебные семена на тот случай, если с дождем они не получат достаточно влаги. За обедом, чтобы не разбудить мать — всю ночь прокутившую, — она шепотом сообщила Шани, что еще «ничего, совсем ничего не видно...», но тот вразумил ее: всходы проклюнутся из земли в лучшем случае через три, а скорее даже через четыре дня, и никак не раньше, разумеется, «при условии, что посадка будет получать достаточно влаги...». «И вообще, — продолжил он резким, не терпящим возражений тоном, — не надо весь день там торчать... Это вредно... Достаточно, если ты будешь заглядывать туда утром и вечером. Понимаешь, что тебе говорят, имбецилка?» И он, ухмыляясь, удалился из дому. Эштике же решила, что до темноты — без крайней необходимости — чердак покидать не будет. «Пока не вырастет!» Много раз она закрывала глаза, чтобы увидать, как будет «расти ее дерево», как станет густеть его крона, как будут затем сгибаться под неимоверной тяжестью золотые ветви и как она, взяв в один прекрасный день кошелку с оторванной ручкой, наполнит ее — прям до самого верху! — и, вернувшись домой, вывалит ее содержимое на стол!.. То-то они удивятся! И с того дня она будет спать в горнице на просторной кровати под пуховой периной, и не будет у них других забот, кроме как ходить каждое утро на берег канала и наполнять кошелку, а потом — только танцы, и сколько душе угодно какао, и ангелы, прилетев с небес, усядутся вместе с ними на кухне вокруг стола... Эштике сдвинула брови («Ну-ка, ну-ка!») и, раскачиваясь взад-вперед, стала приговаривать:

Вчера — один день,

вчера да сегодня — два дня,

вчера да сегодня да завтра — три дня,

завтра да еще день — четыре!

«Может быть, только две ночи осталось? — взволнованно подумала она. — Но нет, — она замерла, — так неправильно!» Вынув большой палец изо рта, Эштике освободила вторую руку из-под тюлевой занавески и попыталась пересчитать все на пальцах.

Вчера — это один,

сегодня — это два,

два да один — это три,

завтра, ну да, завтра — это три,

три да один — четыре!

«Ну конечно! Тогда получается, что, может, уже и сегодня! Сегодня вечером!» Снаружи, беспрепятственно скатываясь по черепице, дождь отвесными струями падал на землю вдоль стен хутора Хоргошей, вымывая по периметру дома все углубляющуюся канаву; казалось, будто каждая капля дождя осуществляла один тайный замысел — сперва окружить здание рвом, изолировав его обитателей от остального мира, а затем постепенно, миллиметр за миллиметром, просачиваться в уложенный во враждебную землю фундамент и подмывать его; и однажды наступит неотвратимый час, когда одна за другой начнут оседать стены, выворачиваться со своих мест окна и двери, когда покосится и рухнет печная труба, станут гнуться вбитые в стены гвозди и ослепнут висящие на них зеркала, чтобы в конце концов все покосившееся строение, словно корабль, получивший пробоину, погрузилось в бездонную хлябь, провозглашая тщетность убогой борьбы хрупких человеческих намерений, дождя и земли и бесполезность крова, который не защитит. На чердаке было почти совершенно темно, только в отверстие щипцовой стены пробивался клубящийся, словно туман, слабый свет. Вокруг царил покой; она оперлась спиною о балку и с радостью, еще сохранившейся в ней с утра, зажмурила глаза: «Вот оно!»... Ей было семь лет, когда отец впервые взял ее с собой в город на большую скотопригонную ярмарку. Там он отпустил Эштике свободно бродить посреди шатров, где она повстречала Корина, который во время последней войны потерял оба глаза и с тех пор зарабатывал скромные деньги, играя на аккордеоне на ярмарках и в трактирах. Это он рассказал ей, что слепота есть «волшебное состояние» и что он, Корин, не то что ничуть не печалится, а просто счастлив и благодарен Господу за «этот вечный мрак»; ему даже смешно, когда кто-то расписывает ему «яркие краски» этой убогой жизни. Эштике слушала Корина как зачарованная и во время следующей ярмарки первым делом разыскала его; и слепой тогда рассказал ей, что путь в это волшебное царство не заказан и ей: ничего особенного делать не надо, достаточно просто долго не открывать глаза. Но первый же опыт ее напугал: она увидела бушующее пламя, извивающиеся разноцветные полосы, какие-то бегущие сломя голову бесформенные фигуры и услышала беспрерывно ревущие где-то рядом гул и грохот. Спросить совета у Керекеша, который просиживал с осени до весны в корчме, она не осмеливалась, поэтому разгадку тайны узнала, только когда через год свалилась с тяжелым воспалением легких и у ее постели целую ночь просидел срочно вызванный из поселка доктор; рядом с этим неразговорчивым, толстым, огромным доктором она наконец почувствовала себя в безопасности, жар одурманил ее, по телу волной пробежало ощущение радости, она крепко зажмурилась — и случилось то, о чем ей рассказывал Корин. В этом волшебном царстве она увидала отца, в шапке и длинном тулупе, который, держа лошадь под уздцы, вводит ее на двор и выкладывает из повозки сахарную голову, медовые пряники и тысячу разных подарков с ярмарки... Она поняла, что дверь в это царство открывается, только когда «пышет жаром кожа», когда тело дрожит от озноба, а веки горят. Чаще всего в ее разыгравшемся воображении воскресал покойный отец: он удаляется по меже в сторону тракта, а вокруг него ветер гонит по земле палую листву; потом все чаще она стала видеть брата, весело подмигивающего или спящего рядом с ней на железной кровати. Вот и сейчас он появился перед ней; спящее лицо спокойно, волосы упали на глаза, одна рука свесилась с кровати; затем по коже его пробегает судорога, пальцы шевелятся, он неожиданно поворачивается на другой бок, и с него сваливается одеяло. «Интересно, где он сейчас?» Волшебное царство с гулом и грохотом уплывает, и она открывает глаза. У нее раскалывается голова, кожа горит, руки и ноги отяжелели. И тут, устремив взгляд в «окно», она вдруг осознает, что нельзя беззаботно ждать, пока этот зловещий мрак сам собой рассеется, и понимает, что если она не докажет, что достойна необъяснимой благожелательности брата, то рискует навеки лишиться его доверия, как понимает она и то, что для нее это первая и, возможно, последняя возможность: она не может потерять Шани, потому что ему знакомо устройство «триумфального, злобного и враждебного мира», потому что без брата она будет слепо блуждать среди неисчислимых соблазнов гнева, пагубной жалости, безумного расточительства и злости. Ей было страшно, но она знала, что должна что-то предпринять; страх уравновешивало ей доселе неведомое, смутное, вспыхнувшее молнией честолюбие: если она сумеет добиться уважения брата, то вместе они «сумеют завоевать» весь мир. Так что — медленно, незаметно — несметные богатства, кошелка с оторванной ручкой и сгибающиеся золотые ветви уплыли из суженной сферы ее сознания, уступив место восхищению братом. Ей казалось, будто она стоит на мосту, соединяющем ее старые страхи с теми, которые еще вчера *были* страхами; нужно просто пройти по нему, и там, на другой стороне — где ее уже с нетерпением дожидается Шани! — лежат разгадки всего, что на этой казалось навеки непостижимым. Только теперь поняла она, что имел в виду брат, говоря: «Мы должны победить, ясно тебе, слабоумная? Победить!», ведь призрак победы уже маячил и перед ней, и хотя она чувствовала — никто никого победить не может, потому что ничто никогда не кончается, слова Шани, сказанные вчера вечером («Все только наводят тень на плетень, но есть мы, небольшая горстка, которые знают, как здесь навести порядок, дурашка!..»), делали смехотворными всякие возражения и героическими — все поражения. Она вынула изо рта большой палец, плотней стянула на себе тюлевую занавеску и принялась расхаживать по тесному помещению, чтобы хоть как-то согреться. Что же делать? Как доказать, что и она может «быть победителем»? Она растерянно оглядела чердак. Над головой угрожающе нависали балки, из которых местами торчали скобы и ржавые гвозди. Сердце бешено колотилось. И вдруг снизу донесся какой-то звук. Шани? Кто-нибудь из сестер? Она осторожно, бесшумно спустилась на поленницу и, проскользнув вдоль стены к кухонному окну, прижалась лицом к холодному стеклу: «Муська!» Их черная кошка сидела на кухонном столе и уплетала из красной кастрюли оставшийся от обеда картофельный паприкаш. Крышка кастрюли закатилась аж в самый угол. «Ах ты, Муська!» Она бесшумно вошла на кухню, сбросила кошку на пол, быстро накрыла кастрюлю крышкой, и тут ей в голову пришла какая-то мысль. Она медленно повернулась, ища глазами Муську. «Я сильнее!» — подумала она. Кошка бросилась к ней и потерлась о ноги. Эштике на цыпочках подошла к вешалке и с зеленой сеткой в руке направилась к кошке. «Ну, иди ко мне!» Муська послушно пошла ей навстречу и позволила Эштике засунуть себя в сетку. Впрочем, ее равнодушие длилось недолго: не найдя опоры под лапами, провалившимися в ячейки сетки, Муська испуганно замяукала. «Что там такое опять?! — донеслось из комнаты. — Кто там?» Эштике в страхе замерла: «Я это... Я...» — «Какого лешего ты там шастаешь?! Ну-ка марш играть!» Эштике молча, не смея дохнуть, с мяукающей сеткой в руках вышла во двор. Без каких-либо неприятностей она добралась до угла дома, остановилась там, глубоко вздохнула и пустилась затем бегом, чувствуя, что все вокруг ощетинилось против нее. Когда наконец — с третьей попытки — ей удалось забраться в тайник, она, тяжело дыша, прислонилась к стропилу и не оглядывалась, но знала: внизу, вокруг поленницы, словно голодные псы из-за ускользнувшей добычи, сцепились друг с другом в бессильной злобе сарай, огород, грязь и мрак. Она выпустила из сетки Муську, и черная кошка с лоснящейся шерстью сперва подбежала к лазу в щипцовой стене, затем осторожно обнюхала все углы, порой поднимая голову и вслушиваясь в тишину; затем, сладострастно выгибая хвост, она потерлась о ноги Эштике и, когда хозяйка присела к «окошку», запрыгнула к ней на колени. «Тебе конец, — прошептала Эштике, но Муська в ответ только дружелюбно мурлыкнула. — Не думай, что я тебя пожалею! Ты, конечно, можешь защищаться, только это не поможет!..» Она сбросила кошку с колен, встала, подошла к лазу и несколькими досками, прислоненными к обрешетине, закрыла выход. Подождав немного, пока глаза привыкнут к темноте, она медленно двинулась к Муське. Кошка, ни о чем не подозревая, позволила ей поднять себя и попыталась вырваться лишь тогда, когда хозяйка, повалившись с ней на пол, принялась бешено кататься из угла в угол. Пальцы Эштике обхватили шею кошки железной хваткой, она так быстро поднимала ее над головой и так стремительно перекатывалась через нее, что в первую минуту оцепеневшая Муська даже не пробовала защищаться. Однако борьба продолжалась недолго: при первой удобной возможности кошка запустила когти в руку хозяйки; да и сама Эштике тоже растерялась: тщетно она подзадоривала со злостью кошку («Ну, давай же! Давай! Нападай на меня!»), Муська никак не хотела вступать с ней в единоборство, напротив, Эшти самой приходилось быть осторожной и, переворачиваясь, опираться на кисти рук, чтобы не задавить кошку. Она решительно смотрела на Муську, которая спряталась в угол и со вздыбленной шерстью, готовая прыгнуть, таращила на нее свои сверкающие странным блеском глаза. Как быть дальше? Попробовать еще раз? Но как? Скорчив страшную гримасу, она притворилась, будто хочет наброситься на кошку, и та стремительно перелетела в противоположный угол. После этого ей достаточно было сделать резкое движение — вскинуть руку, топнуть ногой или прыгнуть в сторону кошки, — чтобы та в отчаянии метнулась в более безопасный угол, обдирая при этом бока о торчащие из стропил скобы и гвозди, ударяясь с размаху о черепицу, о прогон или доски, прикрывающие входное отверстие. При этом обе — и кошка, и девочка — безошибочно знали, где находится другая; Эштике всегда точно и молниеносно отслеживала местонахождение Муськи по сверканию глаз, буханью черепицы или глухим шлепкам тела, ее же саму выдавали уже едва уловимые завихрения густого воздуха, возникавшие от движения ее рук. От радости и гордости, постепенно растущих в ней, фантазия Эштике разыгралась; казалось, что ей даже не обязательно двигаться, чтобы животное ощущало, какой невыносимой тяжестью наваливается на него ее власть; сознание беспредельности и неисчерпаемости («Я могу с тобой сделать все что угодно») поначалу даже немного смутило ее: перед ней распахнулся совершенно неведомый мир, и в центре его стояла она, растерянная от неограниченности возможностей; но ощущению какой-то неопределенности и блаженной полноты быстро пришел конец: она уже видела, как выкалывает полные ужаса, сверкающие предсмертным огнем глаза Муськи, как рывком выдирает ее передние лапы или подвешивает на веревке *за эту или вон ту* скобу. Ее тело сделалось непривычно тяжелым, и она все острей ощущала, что становится жертвой чужого сознания. Страстное желание торжества опрокинуло в ней ту Эштике, которой она была, но знала она и то, что, куда бы она ни ступила, непременно растянется, споткнувшись о ту, другую, которая умудрится в последний момент нанести смертельную рану переполнявшей ее существо самодовольной решимости. Не отрываясь, смотрела она в фосфоресцирующие глаза животного, и ее вдруг пронзило то, чего она не замечала до этого: ужас, застывший в этом блеске, бессильный трепет другого, отчаяние, балансирующее на грани своей противоположности — последней надежды: а вдруг еще можно спастись, предложив себя в качестве жертвы. И эти глаза, будто луч прожектора, взрезающий мрак, неожиданно осветили последние минуты — то распадающиеся, то сцепляющиеся друг с другом мгновения их смертельной схватки, и Эштике, обессилев, увидела: все, что так медленно и мучительно возникало в ней, неожиданно стало рушиться. Стропила, «окно», доски и черепица, скобы и заколоченный вход на чердак — все это снова вплывало в ее сознание, однако предметы — словно заждавшиеся приказа недисциплинированные войска — сдвигались со своих позиций: легкие постепенно удалялись, а тяжелые, странным образом, медленно приближались к ней, как будто все они оказались на дне глубокого озера, куда уже не доходит свет и где направление и динамику перемещений определяет лишь вес вещей. Муська, до предела напрягая мышцы, вжалась в трухлявый пол, засыпанный сухим голубиным пометом, очертания ее тела размазались в темноте, казалось, оно, это тело, уже поплыло к ней в тяжелом воздухе, и Эштике только теперь — *почти* чувствуя под горящей ладонью опадающее и резко вздымающееся теплое кошачье брюхо, ободранную во многих местах кожу и сочившуюся из ссадин кровь — осознала, что́ она натворила. От жалости и стыда у нее перехватило горло; она поняла необратимость своей победы. Если она сейчас двинется, чтобы погладить кошку, у нее ничего не получится: Муська тут же сбежит. И это уже навсегда: тщетно будет она манить ее, тщетно звать, тщетно пытаться взять на руки. Муська всегда будет начеку, в глазах ее вечным, *непоправимым* ужасом застынет память об этом убийственном приключении, которая будет подталкивать, понуждать ее, Эштике, к последнему жесту. До этого ей казалось, что невыносимы лишь поражения, но теперь стало ясно, что и победа ничуть не легче, ибо в этой кошмарной схватке постыдным было не то, что она одержала верх, а то, что при этом у нее не было даже шанса на поражение. Может, еще раз попробовать, мелькнуло у нее в голове («Пусть царапается... Пусть кусается...»), но тут же ей стало ясно, что ничто не поможет: она все равно сильнее. Кожа ее горела, со лба градом катился пот. И тут она ощутила запах. В первый миг она даже испугалась, подумав, что на чердаке, кроме них, есть кто-то еще. О том, что произошло в действительности, она догадалась, лишь когда непроизвольно шагнула к «окну» («Что за вонь?»), и Муська, уверенная, что хозяйка собирается снова напасть, скользнула в соседний угол. «Обосралась! — разъяренно вскричала она. — Как ты смеешь здесь срать?!» Вонь мгновенно распространилась по чердаку. Сдерживая дыхание, она наклонилась над кучей. «И еще нассала!» Она подбежала к лазу и глубоко вдохнула. Затем вернулась на место преступления, щепкой сгребла на газету кошачье дерьмо и погрозила Муське: «Так бы и заставила тебя это жрать!» Словно настигнутая собственными словами, она внезапно остановилась, потом опять подбежала к лазу и отодвинула доски. «А я-то думала, ты боишься! И даже жалела тебя!» Стремительно спустившись на поленницу, она снова задвинула доски, чтобы не дать кошке сбежать, швырнула вонючий сверток во тьму — пускай жрут алчущие добычи незримые призраки. Укрываясь под навесом, она прокралась к кухне и неслышно отворила дверь. Из комнаты доносился громкий храп матери. «Да, я сделаю это. Мне ничего не страшно». Эштике содрогнулась в тепле, голова ее налилась тяжестью, ноги ослабели. Она тихонько открыла дверь кладовой. «Засранка. Она это заслужила». Сняв с полки бидон с молоком, она наполнила им кружку и на цыпочках вернулась на кухню. «Теперь уже все равно», — сказала она себе и, сняв с вешалки желтую вязаную кофту матери, тихонько, стараясь не шуметь, вышла во двор. «Сначала кофту». Чтобы удобнее было ее надеть, она хотела поставить кружку на землю, но когда опустилась на корточки, край кофты угодил в грязь. Она быстро встала, кофта в одной руке, кружка с молоком — в другой. Как быть? Косой дождь захлестывал под навес, и тюлевая занавеска на ней уже вымокла с правого бока. Нерешительно, осторожно, стараясь не расплескать молоко, отправилась она за дом («Кофту повешу на поленницу, ну а кружку...»), но внезапно остановилась, вспомнив, что забыла у порога кошкино блюдечко. Только вернувшись к кухонной двери, она поняла, как ей надо действовать: если поднять кофту над головой, то можно будет поставить кружку на землю, поэтому когда она, с глубоким блюдечком в одной руке и с кружкой в другой, направилась наконец к поленнице, то все ей уже казалось совсем простым. Справившись с этим минутным хаосом, она обрела ключ к последующим событиям. Сперва она отнесла наверх блюдце, затем с тем же успехом доставила на чердак и кружку. Прикрыв досками лаз, Эштике стала звать прячущуюся в темноте кошку: «Муська! Муська! Ты где? Иди сюда, я тебе принесла кое-что!» Кошка затаилась в самом дальнем углу и оттуда следила за тем, как ее хозяйка сунула руку под стропило возле «окна», достала бумажный пакетик, чего-то насыпала из него в кошачье блюдце, а затем налила туда молоко. «Погоди-ка, так не получится». Оставив блюдечко на полу, она направилась к лазу — Муська при этом нервно содрогнулась — и слегка раздвинула доски, но светлее от этого не стало, потому что снаружи уже стемнело. Кроме стука дождя по черепице, слышен был только отдаленный собачий лай. Сиротливо, беспомощно стояла она в свисающей до колен материнской кофте. Ей хотелось бежать от этой тьмы, от давящего безмолвия, потому что здесь, даже здесь, она больше не чувствовала себя в безопасности. Одиночество теперь пугало ее, ей казалось, что в любой момент на нее может обрушиться что-нибудь из угла или она сама вдруг наткнется на чью-то протянутую ледяную руку. «Надо спешить!» — прокричала она и, словно хватаясь за собственный крик, шагнула в сторону кошки. Муська не шелохнулась. «Ты что, не хочешь есть?» Вкрадчивым тоном она стала подзывать Муську и довольно быстро добилась того, что кошка уже не отпрыгивала в сторону, когда хозяйка подходила к ней ближе. И вот наступил удобный момент: Муська — быть может, на мгновение поддавшись этому льстивому тону — позволила Эштике подойти совсем близко, и тогда она с быстротой молнии бросилась на нее, придавила к полу, затем ловко, не давая кошке возможности пустить в ход когти, подняла ее и потащила к уже стоявшему под «окном» блюдцу. «Ну-ка, пей! Это вкусно!» — дрожащим голосом крикнула она и что было силы ткнула кошку мордой в молоко. Муська тщетно пыталась освободиться и вскоре, словно поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, затихла, так что хозяйка, отпустив ее, даже не поняла, задохнулась ли она или просто «прикидывается». Она вытянулась рядом с пустым блюдцем и казалась совершенно безжизненной. Медленно пятясь, Эштике отступила в самый дальний угол, закрыла глаза ладонями, чтобы не видеть этой грозной смертельной тьмы, и заткнула большими пальцами уши, потому что безмолвие вдруг взорвалось трескучими, лязгающими, визгливыми звуками. Но это не ужасало ее, она знала: время на ее стороне, надо лишь подождать, и весь этот шум сам собою уляжется, подобно тому как лишившаяся полководца разбитая армия — после короткой неразберихи — бежит с поля боя или, если бежать уже поздно, сдается на милость победителю. Еще долго, пока тишина не впитала в себя последний ухнувший звук, Эштике была неподвижна; но затем уже действовала без суеты и спешки, потому что прекрасно знала, что нужно делать; она знала, куда ступить, движения ее были выверенными и целеустремленными, словно то, что она совершила, теперь возвышало ее. Она отыскала оцепеневшую в предсмертной судороге кошку, с пылающим жаром лицом спустилась во двор и, осмотревшись по сторонам, счастливо и гордо направилась по Нижней дороге к каналу, потому что какое-то чувство подсказывало ей, что там ее уже ждет Шани. С замиранием сердца представляла она себе, «какое лицо он сделает», увидев ее с остывшим к тому времени кошачьим телом в руках, и была на верху блаженства, когда заметила, как поспешно склонились друг к другу обступавшие хутор пирамидальные тополя, словно сварливые бабки, завистливо обсуждающие невесту, — так провожали они удаляющуюся фигурку Эштике, которая, отставив от себя руку, несла за передние лапы безжизненную, навсегда околевшую Муську. Канал был недалеко, и все же путь до него занял больше времени, чем обычно, поскольку на каждом третьем шагу она увязала в грязи, ножки ее болтались в доставшихся ей от сестер тяжелых башмаках, и вдобавок «эта дохлятина» делалась все тяжелее, так что ей приходилось то и дело перекладывать ее из одной руки в другую. Но она не отчаивалась и даже не обращала внимания на проливной дождь, жалея только о том, что не может быстрее ветра долететь до Шани, и поэтому когда она добралась наконец до канала и не обнаружила там ни души, то винила только себя. «Ну и где мне искать его?» Она бросила Муську в грязь, размяла горящие от усталости руки, а затем, на минуту забыв обо всем, с нежностью склонилась над грядкой, и тут... у нее перехватило дыхание — не закончив движения, она замерла с таким сиротливым недоумением в глазах, будто в сердце ей угодила шальная пуля. Волшебная грядка была разрыта, палка, которую они воткнули, чтобы обозначить место денежного дерева, мокла под дождем, переломленная пополам; на месте холмика, которым она готова была любоваться часами, на нее, словно выколотый глаз, взирала наполовину уже заполненная водой рытвина. В отчаянии она бросилась на землю и сунула руку на дно грубо вырытой ямы. А затем, вскочив на ноги, закричала что было сил, пытаясь прорвать навалившийся на нее мрак ночи, но искаженный усилием голос («Шани! Шани-и-и! Сюда!..») потонул в непреодолимом шуме дождя и ветра. Как потерянная, стояла она на берегу, не зная, куда идти. Пошла было вдоль канала, но потом повернулась, помчалась в противоположную сторону, а через несколько метров снова остановилась и двинулась в направлении тракта. Она шла с трудом и все медленнее, потому что местами по щиколотку проваливалась в землю, чавкающую, словно болото. То и дело ей приходилось останавливаться, вынимать ногу из башмака и, балансируя на другой ноге, руками вытягивать его из грязи. До тракта она добралась, чуть не падая от усталости, и когда — в свете выглянувшей ненадолго луны — окинула взглядом пустынные окрестности, то ей показалось, что она перепутала направление и что лучше ей было бы сперва поискать Шани дома. Но какой выбрать путь? Она может отправиться через поле Хоргошей, а Шани пойдет через владенье Хохмайса? А если он сейчас в городе?.. Вдруг попросился на автомобиль корчмаря?.. Что она без него будет делать? Она неуверенно направилась в сторону корчмы, решив, что если машина там, то значит... Она не смела признаться себе, что от жара совсем ослабла и ее просто тянет к себе светящееся вдали окно. Но едва Эштике сделала несколько шагов, как сбоку от нее раздался возглас: «Жизнь или кошелек!» Она испуганно вскрикнула и бросилась наутек. «Ну, ты чего, дурашка?! Обгадилась?!» — продолжил голос из темноты и грубо захохотал. От этого смеха испуг девочки испарился, и она с облегчением бросилась назад. «Скорее... Пошли скорее! Наши деньги!.. Наше дерево!..» Шани неторопливо вышел на тракт, выпрямился и ухмыльнулся: «Мамкина кофта! Ну и влетит тебе за нее! Опять неделю на задницу сесть не сможешь! Слабоумная!» Левую руку он запустил глубоко в карман, а в правой держал сигарету. Эштике растерянно улыбнулась и опустила голову. «Денежное дерево! — продолжала она. — Его кто-то...» Она не смела поднять головы, потому что знала: Шани всегда бесило, когда ему приходилось смотреть ей в глаза. Мальчишка окинул ее презрительным взглядом и выпустил дым ей в лицо. «Что новенького в дурдоме? — Он надул щеки, как будто с трудом сдерживался, чтобы не заржать, но потом взгляд его посуровел. — А ну-ка, вали отсюда, не то так врежу по кумполу, что башка имбецильная отлетит! Не хватало еще, чтоб меня тут с тобой увидели... И неделю потом надо мной потешались! Вали, я сказал!» Он отвернулся и взволнованно стал что-то высматривать на теряющемся в темноте тракте, а затем — словно сестры уже рядом не было — с задумчивым видом посмотрел поверх ее головы в сторону мерцающего вдали окна корчмы. Эштике впала в панику. Что случилось? Почему это Шани опять... Она что-то неправильно сделала? Опять она виновата? Она попробовала еще раз: «И денежки... которые мы посадили... их... украли...» — «Украли? — раздраженно воскликнул брат. — Ах вот как? Украли, ты говоришь! И кто же украл?» — «Я не зна... Кто-то ук...» Шани холодно поглядел на нее. «Это что за наглость?! Уж не хочешь ли ты сказать...» Эштике отчаянно затрясла головой. «Ну, ладно. А я уж подумал». Он затянулся сигаретой и, резко повернувшись, стал что-то опять высматривать за поворотом дороги, как будто кого-то ждал; затем смерил сестру яростным взглядом: «Ты как стоишь?!» Девочка быстро выпрямилась, но голову так и не подняла, а смотрела на башмаки, на грязь, ее соломенно-желтые волосы упали, закрыв лицо. Шани взорвался: «Я-то знаю, чего я здесь жду! А ты чего здесь околачиваешься?! Пиздуй отсюда, пока жива!» Он погладил прыщавый, уже покрытый пушком подбородок и, видя, что Эштике не двигается с места, нехотя заговорил: «Ну, вот что, послушай! Мне нужны были деньги! И что с того?! — Он выдержал паузу, но сестра не пошевелилась. — И вообще, черт возьми! Эти деньги... Они мои. Тебе ясно?» Эштике испуганно закивала. «Эти деньги... Они ведь были мои отчасти! Как ты *смела* их от меня прятать?! — И он ухмыльнулся с довольным видом. — Ты еще легко отделалась! Я ведь мог их и отобрать у тебя!» Эштике согласно кивнула и попятилась, опасаясь, что брат ударит ее. «Кстати, — продолжал он, заговорщицки улыбаясь, — у меня есть винишко отменное. Хочешь дернуть? Или вот, затянуться можешь, держи. — И он протянул ей потухшую сигарету, а когда Эштике нерешительно потянулась за ней, быстро отдернул руку. — Ну, как хочешь. Так послушай, что я тебе скажу. Из тебя никогда ничего не получится. Как родилась идиоткой, так и останешься». Девочка наконец собралась с духом: «Так ты... знал?» — «Что я знал, голуба?» — «Знал, что... деньги, которые мы посадили... никогда... никогда?..» Шани опять потерял терпение. «Ну не надо мне парить мозги! Ты для этого еще мало каши ела, дурашка! Ты думаешь, я поверю, что ты не знала, чем все это кончится? Не настолько же ты идиотка... — Он достал спички и, прикрывая огонь ладонями, раскурил сигарету. — Нет, видали?! И она еще выступает! Вместо того, чтобы радоваться, что я вообще с ней возился! — Он выпустил дым и прищурился. — Заседание закрывается. Мне сейчас недосуг с идиотами дискутировать. Сыпь отсюда, цыпленок, давай!» И он ткнул в Эштике указательным пальцем, но едва она припустила бегом, как брат закричал ей вслед: «Ну-ка, стой! Подойди ко мне. Ближе. Я сказал, ближе! Вот так! Что у тебя в кармане? — Сунув руку в карман кофты, он двумя пальцами извлек оттуда бумажный пакетик. — Это что?! Ничего себе! — Он поднял пакетик и разобрал надпись. — Крысиный яд, мать твою! Ты где его раздобыла?! — Эштике не могла выдавить из себя ни слова. Шани закусил губу. — Ну ладно. Я и так знаю. Ты *украла* его из сарая. Ведь так?! — Он похрустел пакетиком. — И зачем он тебе понадобился, дурашка, расскажи-ка все по порядку дяденьке!» Эштике не шелохнулась. «Дома уже гора трупов валяется на кровати, так? — продолжал он со смехом. — А теперь моя очередь, верно? Ну ладно. Хотел бы я посмотреть, много ли у тебя храбрости! На, держи! — И он сунул пакетик обратно в карман ее кофты. — Только имей в виду! Я буду следить за тобой!» Эштике неловко, по-утиному, побежала к корчме. «Смотри, осторожнее! Осторожнее! — кричал Шани ей вслед. — Не трать все целиком!» Вздернув плечи, он еще постоял под дождем, поднял голову и, затаив дыхание, вслушался в ночную тишину; затем перевел взгляд на далекое освещенное окно, выдавил на лице прыщик и пустился бегом в сторону дома дорожного мастера, у которого он свернул и исчез во мраке. Эштике, обернувшись, еще успела заметить, как вспыхнул в последний раз тлеющий огонек его сигареты, и эта вспышка показалась ей гаснущим светом удаляющейся навсегда звезды, последней звезды на небе, след которой еще долгие минуты будет виден на темном небосклоне, пока дрожащие ее очертания не впитает в себя тяжелый мрак ночи, который сейчас на нее навалился, выхватил у нее из-под ног дорогу и в котором, как ей казалось, она плавала сейчас беспомощно, лишенная всякой опоры, невесомо и сиротливо. Эштике бросилась на мерцающий огонек корчмы, как будто он мог заменить ей вспыхнувший напоследок уголек сигареты брата. Она бежала, стуча зубами от холода, а когда добралась до корчмы и уцепилась за подоконный выступ, то все на ней было уже насквозь промокшим, а тюлевая занавеска, облипавшая разгоряченное тело, казалась ледяной. Она поднялась на цыпочки, но до окна не достала, и ей пришлось подпрыгнуть, чтобы заглянуть в корчму. Однако стекло запотело, и она ничего не увидела. Из корчмы доносился какой-то нестройный шум, иногда звякал стакан, звенели бутылки, слышался чей-то прерывистый смех, тут же тонувший в ответном гуле голосов. В голове у нее шумело, и казалось, будто вокруг нее с криками носятся невидимые птицы. Отодвинувшись от окна, она прижалась спиной к стене и сокрушенно уставилась на пятно света, лившегося из корчмы на землю. Почти в последний момент заметила она, как кто-то, задыхаясь, тяжелыми шагами приближается со стороны тракта к корчме. Бежать было уже поздно, поэтому она продолжала стоять у стены как вкопанная, надеясь, что так ее не заметят. И только узнав в приближающемся человеке доктора, она оторвалась от стены и со всех ног бросилась к нему. Она вцепилась в полу промокшего пальто и с удовольствием зарылась бы в него с головой и заплакала бы, если бы доктор обнял ее, но поскольку этого не случилось, Эштике просто стояла перед ним с опущенной головой, сердце ее бешено колотилось, кровь стучала в ушах, и она никак не могла понять, что твердил ей доктор, в его словах она чувствовала только нетерпеливую, раздраженную неприязнь, но смысл их не доходил до нее, и тогда испытанное поначалу облегчение быстро сменилось в ней недоуменной горечью: как же так, почему доктор вместо того, чтобы прижать ее к себе, пытается ее оттолкнуть? Она не могла понять, что случилось с доктором, с человеком, который когда-то «целую ночь просидел у ее постели, вытирая ей пот со лба», что с ним могло случиться, что теперь ей приходится чуть ли не бороться с ним, чтобы он не оттолкнул ее от себя. Она долго цеплялась за полу его пальто и сдалась лишь тогда, когда заметила, что все вокруг — неожиданно — пришло в движение, земля вздыбилась и опала, и как она ни пыталась удержать доктора, ничего не могла поделать: она с ужасом наблюдала, как земля позади них раскалывается и доктор стремительно исчезает в бездонной пропасти. Эштике бросилась бежать, слыша, как за спиной у нее раздаются лающие голоса, словно ее преследовала свора диких собак; ей казалось уже, что она пропала, что ее вот-вот схватят и втопчут в грязь эти воющие существа, когда наступила внезапная тишина; до слуха ее доносился только гул ветра да шлепанье миллионов дождевых капель, рассеивающихся вокруг по земле. Лишь достигнув владенья Хохмайса, она несколько сбавила темп, но и тогда не остановилась. В лицо хлестал дождь, она непрерывно кашляла, кофта на ней расстегнулась. Страшные слова Шани и беда, приключившаяся с доктором, навалились на нее такой тяжестью, что она не способна была об этом думать; все внимание ее было приковано к мелочам: к развязавшимся шнуркам на ботинках... к расстегнувшейся кофте... к тому, на месте ли еще бумажный пакетик... Добежав до канала и остановившись перед разоренной грядкой, она вдруг почувствовала странное спокойствие. «Да, — подумала она. — Да, ангелы видят это и все понимают». Она смотрела на размокшую грязь вокруг ямы, с волос на глаза стекала вода, и как-то странно, легко заколыхалась перед нею земля. Эштике завязала шнурки, застегнула кофту и попыталась ногами засыпать яму. Но потом прекратила это занятие, повернулась и заметила бездыханное тело Муськи. Шерсть на ней напиталась влагой, остекленевшие глаза смотрели в никуда, живот странно просел. «Ты пойдешь со мной», — тихо проговорила она и подняла Муську из грязи. Прижав кошку к себе, она с решительным видом направилась дальше. Некоторое время Эштике шла вдоль канала, затем свернула к хутору Керекеша и достигла длинной, извилистой межи, которая — пересекая ведущий в город тракт — шла дальше прямо, мимо развалин замка Венкхейма, к утопающему в тумане Поштелекскому лесу. Она старалась шагать так, чтобы внутренняя сторона башмаков не так сильно натирала ей пятки, ведь путь — она это знала — ей предстоял неблизкий: к тому времени, как взойдет солнце, ей нужно было добраться до замка. Она радовалась, что она не одна и что Муська даже немного согревала ей живот. «Да, — тихо сказала она сама себе, — ангелы видят это и все понимают». Она чувствовала умиротворение, и все вокруг — деревья, дорога, дождь, ночь, — все окружающее дышало покоем. «Все, что делается, — к лучшему», — подумала она. Все стало окончательным и простым. Она смотрела на шествующие по обеим сторонам дороги голые акации, на окрестности, уже в нескольких метрах тонущие во тьме, чувствовала удушающий запах дождя и грязи и безошибочно знала, что действует точно и правильно. Вспомнив события минувшего дня, она с улыбкой подумала, что все в мире связано; ей уже не казалось, что случившееся с ней было чередой случайных слепых событий, — нет, все они были связаны каким-то невыразимо прекрасным смыслом. Знала она и то, что она не одна, что и отец, там, наверху, и мать, ее сестры и брат, и доктор, и Муська, эти акации и грязная дорога, это небо и эта ночь — все-все от нее зависит точно так же, как и она целиком зависит от них. «Ну какая я ему пара? Просто путаюсь у него под ногами». Она прижала Муську к груди, посмотрела на неподвижное небо и резко остановилась. «Я буду ему помогать оттуда». На востоке уже начинало светать. К тому времени, когда первые лучи восходящего солнца осветили разрушенные стены замка Венкхейма и сквозь проломы и пустые глазницы огромных окон проникли в поросшие бурьяном комнаты, у Эштике уже все было готово. С правой стороны она положила Муську, затем по-братски разделила остатки порошка, смешала свою часть с дождевой водой, выпила и положила пакетик с остатками слева, на обломок гнилой доски, поскольку хотела быть уверенной, что он не укроется от внимания брата. Сама она легла посередине и удобно вытянула ноги. Потом откинула со лба волосы, большой палец засунула в рот и закрыла глаза. Ей не о чем было тревожиться. Она знала, что ангелы уже вылетели ей навстречу.

### VI. Работа пауков 2

###### *Чертово вымя, сатанинское танго*

«Что нам видится позади, то скорее еще впереди. Эх, судьба наша тяжкая», — печально сказал самому себе Футаки, когда мягкой кошачьей походкой, припадая на палку, вернулся к упорно молчавшему Шмидту и его жене, которая то замолкала, то снова хихикала, и плюхнулся рядом с ними на свое место за расположенным справа от стойки «служебным столиком»; слова женщины («Я гляжу, вам больше вино по душе! А я слегка захмелела. Ох, не надо бы мне мешать... Да вам разве откажешь...») он пропустил мимо ушей и задумчиво, с отсутствующим выражением лица поставил на середину стола очередную бутылку. Он не мог понять, что это вдруг на него нашло, ведь на самом-то деле не было никаких причин для такого уныния: ведь, в конце концов, сегодня необыкновенный день; он знал, что корчмарь прав, «осталось пару часиков подождать», и придут Иримиаш с Петриной, чтобы положить конец этому длящемуся годами «убожеству», разогнать липкую тишину и рассветный заупокойный звон, который даже с постели поднимет, чтобы человек, обливаясь потом, беспомощно наблюдал, как все вокруг постепенно рушится. Шмидт, который с тех пор, как они переступили порог корчмы, не произнес ни слова (только буркнул что-то себе под нос, отвернувшись «от всего этого безобразия», когда Кранер и госпожа Шмидт под оживленные выкрики раздавали деньги), теперь поднял голову и со злостью прикрикнул на нетвердо сидевшую на стуле жену («Не захмелела, а надралась как свинья!»), после чего повернулся к Футаки, как раз собиравшемуся наполнить стаканы. «Твою мать, да не наливай ей больше! Не видишь, в каком она состоянии?» Футаки, не отвечая и не оправдываясь, жестом дал знать, что он с этим совершенно согласен, и быстро поставил бутылку на место. Вот уже много часов он пытался «все объяснить» Шмидту, но тот только тряс головой: он считал, что они «проморгали единственную возможность», усевшись здесь ждать неизвестно чего, как «ящерицы безмудые», вместо того, чтобы, воспользовавшись суматохой, возникшей из-за Иримиаша и Петрины, спокойно слинять с деньгами, да заодно «и от Кранера бы отделались...». Тщетно Футаки убеждал его, что с завтрашнего дня все здесь пойдет по-другому и что не о чем ему беспокоиться, ведь они наконец ухватили Бога за бороду, — Шмидт молчал, насмешливо ухмыляясь, и так продолжалось, пока Футаки не смекнул, что им в принципе не прийти к согласию, ведь приятель его, даже если и признает, что Иримиаш «кое на что горазд», вряд ли согласится, что другого выбора у них нет: без него (ну и без Петрины) они так и будут блуждать в потемках, бессильно толкаясь и временами набрасываясь друг на друга, как «лошади, ждущие смерти на бойне». Где-то в глубине души он, разумеется, понимал несговорчивого Шмидта — уж слишком долго преследовали их неудачи; но он все же думал: сама надежда, что Иримиаш возьмет дела в свои руки, стоит дороже, чем любой «подвернувшийся случай», ибо он, Иримиаш, единственный, кто способен «скрепить то, что рушится в наших руках». Ну и что с того, что они, теперь уже окончательно, лишатся некоей суммы неправедно заполученных денег? Только б не чувствовать этот кисловатый вкус во рту, только бы не смотреть с изумлением, как изо дня в день осыпается штукатурка, трескаются стены и проседают крыши, только б не ощущать, как все медленнее бьется сердце и все чаще немеют ноги. Ибо Футаки был уверен, что из недели в неделю, из месяца в месяц повторяющиеся катастрофы, внезапно расстраивающиеся, все более хаотичные планы, постоянно хиреющая надежда на избавление не являются главной опасностью; даже наоборот, все эти напасти их все еще сплачивают, поскольку долог путь от неудачи до гибели, но здесь, в самом его конце, тут ведь уже и падать некуда. Подлинная опасность угрожала им как бы из-под земли, но источник ее оставался неясен; ни с того ни с сего навалится вдруг жуткая тишина, человек замрет, забившись куда-нибудь в угол, где рассчитывает найти убежище, или вдруг ему станет мучительно трудно жевать и глотать, его перестанет удивлять, что вокруг него все замедляется, что пространство день ото дня сужается, и в конце концов в этом отступлении наступит самое страшное: неподвижность. Футаки испуганно оглянулся по сторонам, дрожащими руками закурил сигарету и жадно осушил стакан. «Мне бы не надо пить, — сказал он себе укоризненно. — Я, как выпью, только о смерти и думаю». Он вытянул ноги, удобно расположился на стуле и решил больше не поддаваться страху. Прикрыв глаза, он почувствовал, как тепло, вино, человеческий гомон растекаются по всему его телу. И вот уже, так же быстро, как появилась, куда-то пропала его смехотворная паника; теперь он слышал вокруг только веселые голоса и с трудом сдерживал накатывающие на глаза слезы умиления, потому что вместо тревоги его охватило чувство благодарности — за то, что после стольких мучений он может сидеть сейчас здесь, в этом гомоне, обнадеженный и взволнованный, защищенный ото всего, с чем до этого приходилось сражаться. Если бы после восьми с половиной стаканов у него еще оставались силы, он, не задумываясь, обнял бы по очереди всех своих взмокших, размахивающих руками приятелей, поскольку не мог противостоять желанию как-то выразить свое глубочайшее воодушевление. Но тут у него стала раскалываться голова, он почувствовал внезапную тошноту и жар, лоб покрылся испариной. От слабости он согнулся и, пытаясь снять спазм в желудке, сделал глубокий вдох и поэтому не услышал слов госпожи Шмидт («Вы что, оглохли? Эй, Футаки, вам плохо?»), которая — увидев, что Футаки, побледнев, массирует солнечное сплетение и со страдальческим видом пялится в пустоту, — со скукой махнула рукой («Ну вот! И на этого нельзя положиться...») и повернулась в сторону корчмаря, давно уже поедавшего ее похотливыми глазками. «Жара просто невыносимая! Янош, сделайте же что-нибудь!» Но тот, притворившись, будто «в этом кошмарном гвалте» не расслышал ее слова, лишь беспомощно развел руками и — не останавливая госпожу Шмидт, принявшуюся возиться с печкой — многозначительно кивнул в ее сторону. А когда женщина, осознав, что ее попытки к успеху не приведут, сердито вернулась на место и расстегнула верхние пуговицы своей лимонно-желтой блузки, корчмарь с удовлетворением констатировал, что его упорство, как всегда, принесло желаемый результат. Уже не один час он с похвальным старанием тайком добавлял жару, а затем незаметным движением вывернул кнопку регулятора масляной печки — да и кто мог заметить это в такой суматохе? — и вот таким образом он «освободил» госпожу Шмидт сперва от плаща, а затем и от кофточки, и теперь ее чары действовали на него сильнее обычного. По какой-то необъяснимой причине до сих пор госпожа Шмидт заносчиво отвергала его ухаживания, и все его попытки сблизиться — а он проявлял упорство и даже не думал сдаваться! — раз за разом оканчивались провалом, ну а вызванные отказом мучения еще больше усугублялись доходившими до него известиями о все новых и новых ее похождениях. Но он продолжал терпеливо ждать, ведь то, что путь к окончательной победе будет долгим, он знал с тех пор, как однажды, годы назад, застукал госпожу Шмидт на мельнице с молодым трактористом, и женщина, вместо того, чтобы вскочить и бежать с места преступления, позволила ему с пересохшим от волнения горлом дожидаться, пока она не достигнет в объятиях своего молодого партнера вершины блаженства. А несколько дней назад, когда до него дошли слухи, что «нити», связующие Футаки и госпожу Шмидт, начинают ослабевать, он едва сумел скрыть свою радость от посторонних, ибо понял, что теперь его черед, что вот он, пришел наконец-то его звездный час. И сейчас, разомлев при виде того, как женщина, деликатно захватив пальчиками край блузки над грудью, стала обмахиваться, он не мог сдержать дрожь в руках. Глаза его затуманились. «О, эти плечики! Эти трущиеся одна о другую ляжечки! Эти сосочки, боже ты мой...» Он хотел охватить взглядом сразу все Целое, но от волнения мог созерцать только «сводящее с ума мельтешение» Частностей. Он побледнел, голова у него закружилась, умоляющие глаза пытались поймать равнодушный («якобы равнодушный...») взгляд госпожи Шмидт; и поскольку корчмарь привык излагать все «большие и малые житейские истины» одной лаконичной фразой, он в счастливом экстазе задал себе вопрос: «Неужто сыщется человек, который бы пожалел ради этого масла?!» Если бы знал он, до какой степени безнадежны его усилия, то наверняка немедленно удалился бы в помещение склада, чтобы вдали от враждебных, а то и злорадствующих глаз яростно врачевать свои свежие раны. Ведь он даже не догадывался, что госпожа Шмидт — этими вызывающими взглядами, этими затягивающими в опасный водоворот и Кранера, и Халича, и директора школы, и его самого сладкими потягушками — просто-напросто убивает время, поскольку все ее воображение целиком, до самого дальнего его уголка, заполняет Иримиаш, «на скалистый берег ее сознания, словно бурные волны моря» обрушиваются воспоминания, дабы, слившись с волнующими видениями их совместного будущего, углубить ее отвращение и ненависть к сему миру, который ей вскорости предстояло покинуть. И если порой случалось, что она поводила бедрами не для того лишь, чтобы подстегнуть «неторопливо текущее время», если она выставляла на обозрение жадных взоров свою знаменитую грудь не только для того, чтобы быстрей пролетели оставшиеся часы, то все это было не более чем подготовкой к давно ожидаемой встрече, когда «два сердца сольются в экстазе воспоминаний». Тем временем Кранер и Халич (и даже школьный директор) — в отличие от корчмаря — хорошо понимали, что им надеяться не на что, что стрелы их вожделения шлепаются на пол, не долетая до ножек госпожи Шмидт, так что все трое удовлетворились тем, что растворились в своей безнадежной страсти — пусть будет хотя бы она жива. Директор школы — лысый, долговязый и тощий («но жилистый...») человек с непропорционально маленькой для своей комплекции головой — с обиженным видом сидел за второй бутылкой вина в углу позади Керекеша. О возвращении Иримиаша он узнал совершенно случайно — и это он-то, единственный, если не считать вечно пьяного маразматика доктора, образованный человек в округе! Непонятно, что у них в голове! И к чему они так придут?! Да если б ему не надоела эта непростительная безалаберность Шмидта и Кранера и он наконец не решил бы — закрыв клуб и, согласно инструкции, поместив проектор в надежное место — отправиться «для наведения справок» в корчму, то вполне могло так случиться, что он вообще ни о чем не узнал бы... Ну и что бы они делали без него? Кто бы встал на защиту их интересов? Они что, полагают, что Иримиаш так вот запросто примет их предложение? Да кому это нужно — управлять таким сборищем? Для начала здесь надо навести порядок, подготовить проект, расписав по пунктам «основные направления деятельности»!.. После того как первоначальное возмущение директора улеглось («Незрелый народ, что поделаешь! Надо идти шаг за шагом, сразу все не получится...»), он разделил свое внимание между госпожой Шмидт и обдумыванием упомянутого проекта, но последнее вскорости отложил, ибо предпочитал придерживаться подтвержденной годами истины, что «не следует заниматься несколькими делами одновременно». Директор был убежден, что эта женщина непохожа на всех остальных. И совсем не случайно, что она до сих пор отвергала все эти грубые притязания неотесанных посельчан. Госпоже Шмидт, полагал он, нужен «мужчина серьезный и основательный», не какой-нибудь Шмидт, чей буйный характер вовсе не подходит к ее сдержанной, простой и чистой натуре. Ну а в том, что женщина эта, без сомнения, влечется к нему, «и подавно» нет ничего удивительного, ведь недаром она, единственная в поселке, никогда не смеялась над тем, что и после закрытия школы он продолжал настаивать, чтобы его называли «господином директором». Именно эта женщина — помимо естественной симпатии — выражает в его адрес несомненное уважение, и делает это явно потому, что знает: он просто ждет подходящего момента (когда на свои места в городских приказах вернутся люди выдающихся человеческих и деловых качеств, чье отступление перед армией нынешних вертопрахов не могло быть ничем иным, как продуманным тактическим ходом), и тогда он незамедлительно возьмется за ремонт школы и «возобновление учебного процесса». Госпожа Шмидт — к чему отрицать? — женщина весьма привлекательная, и ее фотографии (несколько лет назад он делал их собственноручно дешевым, но очень надежным фотоаппаратом) намного превосходили, как он полагал, те «вызывающие картинки» из обожаемого им иллюстрированного журнала кроссвордов «Фюлеш», коими он пытается развеять тревогу своих бесконечно долгих бессонных ночей... И здесь его мысли, до сих пор легкие, точные, ясные и прозрачные — может быть, под влиянием вновь опустевшей бутылки, — разом спутались, его стало подташнивать, в мозгу глухо застучало, и он едва не вскочил, чтобы, не обращая внимания на всю эту неотесанную «деревенщину», пригласить женщину за свой столик, но тут воспаленный взгляд директора, блуждающий по ее многообещающим прелестям, встретился над плечом храпящего за бильярдным столом Керекеша с равнодушным, но беспощадно разоблачительным взглядом госпожи Шмидт; директор залился краской, опустил голову и спрятался за массивной фигурой хуторского бугая, оставшись «наедине со своим позором» и отказавшись, по крайней мере на время, от осуществления своего замысла; то же было и с Халичем, который, заметив, что сидящая напротив госпожа Шмидт то ли не слышит, то ли попросту не желает слышать излагаемую им настоящую версию тех событий, которые тут обсуждались уже не первый час, оборвал фразу на полуслове — пусть орут, пускай цапаются друг с другом Кранер и все более распаляющийся кондуктор, но только — увольте уж! — без его участия, он не станет тут надрываться; смахнув с себя паутину, он раздраженно уставился на довольную, лоснящуюся физиономию корчмаря, строившего куры госпоже Шмидт, ибо — в итоге продолжительных размышлений — пришел к тому, что поскольку «таких тварей просто не бывает на свете», то очевидно, что вся эта история с паутиной — не что иное, как какой-то новый трюк, испытываемый на посетителях заведения. Ведь этот корчмарь — негодяй, каких свет не видывал! И мало того, что этой детской забавой он опять хочет насолить гостям, так он еще и госпожу Шмидт пытается заарканить! Между тем эта женщина по праву принадлежит... то есть будет принадлежать ему одному, ведь даже слепой мог видеть, что она уже по меньшей мере дважды улыбнулась ему, а он, соответственно, ей!.. И после этого этот разбойник, который должен все видеть, ведь у него якобы глаз алмаз, — этот ненасытный лавочник, этот бывший сапожник! — у которого прорва денег, склад забит палинкой и вином, у которого — эта корчма! и автомобиль во дворе! Так нет! Нет и нет! Ему этого недостаточно! Ему еще госпожу Шмидт подавай! Ну уж нет, этому не бывать! Он, Халич, не из такого теста сделан, чтобы беспрекословно терпеть эту наглость! Разумеется, все здесь считают, что он, Халич, просто-напросто этакий робкий шибздик, но это всего лишь видимость, обман зрения! Надо только дождаться, пока придут Иримиаш с Петриной! Ведь он, если разобраться, способен на такие дела, которые этим вот, здесь, и во сне не привидятся! Он залпом допил вино, покосился украдкой на жену, неподвижно следившую за происходящим, и хотел было снова наполнить стакан, но, к величайшему его изумлению — а ведь он точно помнил, что там оставалось еще как минимум двести граммов, — бутылка оказалась пустой. «Кто-то выжрал мое вино!» — пронзила Халича мысль, он вскочил и угрожающе огляделся по сторонам, но, так и не найдя испуганных или виноватых глаз, с мрачным видом уселся на место. В табачном дыму уже было почти ничего не видно, от масляной печки пыхало жаром, верх ее докрасна раскалился, и со всех градом струился пот. Шум становился все оглушительней, потому что самые шумные, Кранер и Келемен, а также госпожа Кранер и порой, когда к ней возвращались силы, — госпожа Шмидт, вновь и вновь пытались перекричать тот гвалт, который сами же создавали, а тут еще пробудился Керекеш и громогласно стал требовать у корчмаря очередную бутылку вина. «Это только тебе так кажется, мой дружок!» — крикнул Кранер, наваливаясь на стол. Сжимая в руке стакан, он размахивал им перед носом разъяренного Келемена, на лбу у него вздулись вены, студенисто-серые глаза угрожающе засверкали. «Я тебе не дружок! — подскочил на месте вышедший из себя кондуктор. — Я еще никому дружком не был, ты понял меня?» Корчмарь, оставаясь за стойкой, попытался утихомирить их («Да ладно вам! От вашего ора уже голова раскалывается!»), но Келемен, обогнув стол, за которым сидели Футаки и Шмидты, подбежал к стойке: «Ну хоть вы скажите ему! Ну скажите!» Корчмарь поколупал в носу: «Да что мне ему сказать? Вы лучше бы успокоились, не видите, что вы уже всех тут достали?!» Однако кондуктор, вместо того, чтобы успокоиться, только пуще раскипятился. «Значит, вы тоже не понимаете! Здесь, значит, одни идиоты собрались?! — заорал он, яростно колотя кулаком по стойке. — Когда я... Да, именно я... подружился с Иримиашем... в лагере для военнопленных... под Новобисирском... то Петрины еще и в помине не было! Понимаете? Не было!» — «Что значит — не было? Наверное, где-нибудь все же был! Или как?» Келемен, уже доведенный до белого каления, в сердцах пнул по стойке: «Если я говорю — нигде не было, значит, не было! Чего тут не понимать? Не было и в помине!» — «Ну, хорошо, хорошо... — стал успокаивать его корчмарь. — Как вы говорите, так оно и было, только ступайте на место к себе за столик и не курочьте мне стойку!» Кранер с ухмылкой крикнул через голову Футаки и компании: «Где был, говоришь, дружок?! В Ново... бисирске?! Ты?! Мать твою! Не умеешь пить — не берись!» Келемен со страдальчески искаженным лицом перевел взгляд с корчмаря на Кранера, с отчаянной горестью потряс головой и махнул рукой на столь умопомрачительную непонятливость. Покачиваясь, он вернулся к столу и попытался удобно расположиться, но промахнулся и вместе со стулом опрокинулся на пол. Кранер не выдержал и дико заржал: «Что с тобой... ты, военно... пленный! Из Воно... сибирска?! Ой, держите меня, сейчас... обоссусь от смеха!.. Ой, не могу!..» Выпучив глаза и держась руками за пах, он, шатаясь, подошел к столу Шмидтов, остановился за спиной у госпожи Шмидт и внезапно обнял ее. «Нет, вы слышите... — все еще задыхаясь от смеха, заговорил он, — этот хмырь... вот этот... пытается впарить мне... Вы слышали?!» — «Я не слышала, да и неинтересно мне это! — отшила его госпожа Шмидт и попыталась сбросить с себя ручищи Кранера. — А ну, уберите свои грязные лапы!» Но Кранер, пропустив ее слова мимо ушей, навалился на нее всем своим телом, после чего — как бы случайно — сунул правую руку в расстегнутую блузку. «Ух, тепло-то как!..» — ухмыляясь, воскликнул он, но госпожа Шмидт, яростным движением освободившись из его объятий, развернулась и с размаху влепила ему пощечину. «Ну а ты?! — крикнула она Шмидту, видя, что Кранер по-прежнему ухмыляется. — Ты чего сидишь?! Твою жену лапают, а ты терпишь?!» Шмидт с огромным усилием оторвал голову от стола и, словно бы исчерпав на этом все силы, опять уронил ее. «А чего ты так возбудилась? — пробормотал он и начал часто икать. — Пускай себе... лапа... ют... От тебя не у... будет... А им... может... в ра... дость...» Но тут рядом появился корчмарь и петухом налетел на Кранера: «Вы что себе позволяете?! Вам здесь что — бордель?!» Кранер, даже не покачиваясь, тупо стоял как баран, но вот он скосил на корчмаря глаза, и лицо его прояснилось. «Бордель! Оно самое, братец! Вот именно! — Он обхватил корчмаря руками и потащил его к выходу. — Пошли, братец! К черту эту дыру! Пошли на мельницу! Вот где жизнь... Ну, пошли же, не упирайся!..» Но корчмарю удалось вывернуться, он юркнул за стойку и уже оттуда стал, как некоей сатисфакции, дожидаться, когда Кранер, «эта напившаяся скотина», наконец заметит, что у двери, сверкая глазами и подбоченившись, уже довольно давно молча стоит его весьма дородная женушка. «Я не расслышала! А ну-ка скажи и мне, — прошипела она мужу на ухо, когда тот наскочил на нее, — куда это ты, твою мать, собрался?!» Кранер вмиг протрезвел. «Я? — изумленно уставился он на жену. — Куда я собрался? Никуда я не собираюсь, потому что, кроме моей пампушечки, мне никто, никто в мире не нужен!» Госпожа Кранер смахнула с себя его руки и острым как бритва тоном продолжила: «Я тебе покажу пампушечку! Только протрезвей — таких пампушек наставлю, что не сможешь глаза открыть! — Покорного как ягненок Кранера (который был на две головы выше ее) она, ухватив за рукав, оттащила обратно к столу и заставила сесть. — Посмеешь еще раз встать без моего разрешения — пеняй на себя...» Госпожа Кранер плеснула себе в стакан вина, с разгневанным видом выпила одним махом, оглянулась по сторонам и, глубоко вздохнув, обернулась к госпоже Халич, которая («Вертеп, одно слово, вертеп, но будут еще тут стон и скрежет зубовный, как сказал пророк!») со злорадным видом наблюдала за сценой. «Так о чем мы? — продолжила госпожа Кранер прерванный разговор, при этом погрозив пальцем мужу, имевшему неосторожность робко потянуться за стаканом. — Ну да! Так вот я и говорю, что мой благоверный — грех жаловаться — человек хороший, что правда, то правда! Но выпивка, понимаете, все эта чертова выпивка! Если бы не она, ему бы цены не было, уж вы мне поверьте, милочка! Он ведь, если захочет, может ангелом быть! И работает ведь как вол, сами знаете! За двоих работает! Ну а то, что имеется у него небольшой изъян, так и что с того, господи?! У кого их нет, ну скажите мне, милая госпожа Халич, у кого нет изъянов? Да таких людей свет не видывал! Что говорите? Ну да, это верно, он грубости не выносит. Тут он очень чувствителен. Потому-то и с доктором вышла эта история, но ведь вы сами знаете, как доктор с людьми обращается — все равно что с собаками! Умный-то человек махнет рукой да и промолчит, как-никак все же доктор, и потом, не такая уж это обида, чтобы не сдержаться. Он ведь, в общем-то, не настолько плохой человек, каким представляется. Я-то знаю, милая госпожа Халич, как мне его не знать со всеми его причудами, изучила, поди, за столько-то лет!» Футаки осторожно, вытянув вперед одну руку, а другой опираясь на палку, пошатываясь, двинулся к выходу; волосы у него были спутаны, рубашка выбилась сзади из брюк, лицо побелело как мел. С большим трудом выдернув клин, он шагнул наружу, где свежий воздух мгновенно свалил его с ног. Дождь лил с неизменной силой, его капли «роковой предостерегающей дробью» барабанили по заросшей мхом черепице корчмы, по стволам и веткам акаций, по блестящей во тьме неровной поверхности тракта и здесь, ниже, у двери корчмы, по конвульсивно содрогающемуся скрюченному телу Футаки, валяющегося в грязи. В течение долгих минут он лежал в темноте почти без сознания, а когда его наконец стошнило, он тут же заснул, и если бы через полчаса корчмарь не заметил, что Футаки все еще не вернулся, если бы он не отправился на его поиски и не встряхнул бы («Эй, вы в своем уме?! А ну-ка вставайте! Воспаление легких хотите схватить?»), то он, может быть, не пришел бы в себя до утра. Отказавшись от помощи корчмаря («Да пойдемте же, я поддержу, вы тут в жопу промокнете, прекратите...»), он прислонился к стене корчмы и просто стоял, опустошенно и тупо, во власти какой-то немилосердной силы, смотрел, но не понимал, почему все вокруг ходит ходуном, пока — еще через полчаса, за которые дождь выполоскал его будто тряпку, — не почувствовал, что неожиданно протрезвел. Он завернул за угол и стал мочиться под облысевшей акацией, глядя на небо и чувствуя себя страшно маленьким и беспомощным, и пока из него крепкой мужской струей неиссякаемо изливался поток мочи, его вновь охватила печаль. Пристально всматриваясь в небо, он думал, что где-то — может быть, очень далеко от них — этот вечно раскинутый над ними полог должен кончаться, ибо «всему предопределен конец». В эту тесную земную юдоль, думал он, по-прежнему ощущая гул в голове, мы приходим как в хлев, и живем в ней как свиньи, валяющиеся в собственном дерьме, и, как они, не знаем, к чему вся эта толкотня у питающих нас сосков и ближний бой на подходе к корыту или — вечером — к спальному месту. Он застегнул ширинку и отошел подальше, чтобы подставить лицо дождю. «Поливай мои старые кости! — горько ворчал он. — Поливай, все равно ведь этот старый ссыкун долго не протянет». Он замер на месте, закрыв глаза и запрокинув голову, потому что хотелось освободиться от настойчивого, накатывающего вновь и вновь желания хотя бы теперь, на исходе жизни, узнать наконец, «для чего он был нужен здесь, этот Футаки?» Ибо лучше было сейчас смириться с тем, что в могилу он упадет с той же тупой покорностью, с какой явился на этот свет орущим младенцем; он снова подумал о хлеве и свиньях; хотя выразить это словами из-за пересохшего языка сейчас было бы затруднительно, он чувствовал это сходство: как животные не подозревают, что висящий над их спокойными — ибо повторяющимися — буднями высший промысел окажется («В один неотвратимый рассветный час!») всего-навсего вспышкой света на лезвии мясника, точно так же и мы не догадываемся и никогда не узнаем, для чего нужно это страшное в своей непостижимости прощание. И не будет ни помощи, ни спасения, опечаленно тряхнул он спутанным чубом, ведь как постичь разумом, что «мне, который мог бы жить хоть до скончания веков, однажды придется — по какой-то причине — убираться отсюда под землю, к червям, в вонючую грязную жижу». Футаки «был без ума от машин», и даже сейчас, здесь, промокший как цуцик, покрытый грязью и блевотиной, он знал, какой порядок и целесообразность движут самым простым насосом, и поэтому думал: если где-то («А в этих машинах уж точно!») действует ясный порядок, то значит («Это как пить дать!..») и весь этот хаотичный мир должен быть подчинен какому-то смыслу. Он потерянно стоял под проливным дождем, а затем неожиданно, без причины, обрушился на самого себя: «Какой же ты идиот, Футаки! Сперва вывалялся в грязи, как свинья, потом встал тут, как отбившийся от стада баран... Последние мозги растерял?! Вино хлещешь, будто не знаешь, что тебе нельзя! Да еще на голодный желудок!» Он яростно потряс головой, оглядел себя и стал стыдливо очищать одежду, но без особого успеха: его брюки и рубашка были сплошь в грязи, поэтому, быстро отыскав в темноте свою палку, он попытался незаметно проскользнуть в корчму, чтобы попросить помощи у хозяина. «Ну что, полегчало? — заговорщицки подмигнул тот и пригласил Футаки в кладовую. — Вот вам таз и мыло, а этим потом утретесь. — Скрестив руки, он встал у него за спиной и не сходил с места, пока Футаки не закончил мыться, хотя мог бы оставить его одного, но все-таки посчитал, что лучше ему остаться, «ведь как знать, черт не дремлет». — Брюки можете щеткой почистить, а рубашку вам лучше выстирать, на печке она быстро высохнет! А пока вот, наденьте!» Футаки поблагодарил его, натянул на себя потертый, весь в паутине, халат, пригладил всклокоченные волосы и вслед за корчмарем вышел из кладовой. К столу Шмидтов он не вернулся, а предпочел сесть у печки; повесив рубашку на спинку стула, он спросил, «нет ли перекусить чего». «Есть шоколад молочный да вот сырные палочки», — показал корчмарь. «Ну, давайте хоть палочки», — махнул рукой Футаки, но пока корчмарь приближался к нему с подносом, он, разомлев от неожиданного тепла, уснул. Было уж поздно, и бодрствовали в этот час только госпожа Кранер, директор школы, Керекеш, ну и госпожа Халич (которая, пользуясь всеобщей усталостью, раскрепощенно и храбро прикладывалась к рислингу из бутылки ничего не подозревающего Халича), поэтому слова корчмаря («Палочки свежие, не прикажете?») были встречены еле слышным отрицательным гулом и поднос вернулся на место нетронутым. «Ну ладно. Дрыхните пока... Все равно через полчаса воскреснете...» — проворчал раздраженно корчмарь, вытянул затекшие ноги и быстренько прикинул в уме, «как обстоят дела». Ситуация выглядела довольно грустно, ибо выручка на данный момент весьма отставала от расчетного уровня, и единственная надежда была на то, что «этот пьяный сброд» приведет в чувство кофе... Помимо материальных убытков (ибо — «а как же иначе!» — упущенная прибыль есть тоже убыток), его огорчало то, что госпожа Шмидт, когда он уже был в одном шаге от того, чтобы увлечь ее в кладовую, неожиданно, будто обухом кто ударил, провалилась в сон, и корчмарь вновь подумал об Иримиаше (даром что он решил «не трепать себе нервы, и пусть будет что будет...»), ибо знал, что они вот-вот явятся, и тогда все усилия его «пойдут прахом»... «Вечно ждать, сколько можно...» — возмущался он про себя, но затем вскочил, спохватившись, что поставил сырные палочки на полку, не прикрыв блюдо целлофаном, а ведь «эти твари» в минуту устроят так, что он будет потом часами очищать выпечку. Он привык постоянно быть начеку и давно уже пережил первые волны негодования, как давно отказался и от идеи разыскать прежнего владельца, «того чертова шваба», и сказать ему, что «о пауках все же уговору не было». Ибо после того, как за несколько дней до открытия новый владелец, придя в себя от ошеломления, всеми мыслимыми способами и средствами попытался истребить этих тварей, но вынужден был признать безнадежность своих усилий, единственное, что ему осталось, это поговорить со швабом — пусть хотя бы уступит в цене. Но тот будто сквозь землю провалился, в отличие от пауков, которые как ни в чем не бывало продолжали «свои бесчинства»; и тогда он смирился с тем, что не может справиться с ними и придется ему до конца жизни ползать за ними с тряпкой; хуже того, они приучили его даже по ночам подниматься с постели, чтобы навести порядок «хотя бы вчерне». Пересудов на эту тему, по счастью, не было, потому что пока заведение было открыто, пауки «были неспособны как следует взяться за дело» — ведь даже они не могли «обслюнявить своим секретом то, что движется...». Беда начиналась тогда, когда удалялся последний посетитель и он запирал дверь на засов; к тому времени, когда были вымыты стаканы, наведен порядок и закрыта амбарная книга, он уже мог приниматься за уборку, поскольку углы помещения, ножки столов и стульев, оконные проемы, печка, громоздящиеся друг на друге ящики, а порой и выставленные на стойке пепельницы покрывала тонкая паутина. Дальше было не легче: когда он заканчивал и, чертыхаясь, ложился спать в кладовой, то едва мог заснуть, так как знал: пройдет несколько часов, и он сам станет их жертвой. Нечего удивляться, что все, что хоть сколько-нибудь напоминало паутину, было ему омерзительно, и случалось неоднократно, что он, теряя терпение, в ярости кидался на металлические решетки на окнах корчмы и склада, но голыми руками, к счастью, не мог причинить им вреда. «И это еще ничего...» — жаловался он жене. Ибо самым страшным в этой истории было то, что он до сих пор ни разу не видел ни одного паука, хотя частенько бодрствовал по ночам, напряженно высматривая их из-за стойки; но те, словно чувствуя, что он следит за ними, никогда в это время не показывались. И если с тем, что он никогда от них не избавится, хозяин корчмы смирился, то от идеи хоть раз — хотя бы одним глазком! — взглянуть на одного из них он отказаться не мог. Вот почему у него вошло в привычку временами — не отрываясь от своих дел — окидывать взглядом корчму, как он сделал это сейчас, обшарив глазами углы. Но тщетно. Он вздохнул, протер стойку, собрал со столов пустые бутылки и, выйдя на улицу, встал под дерево помочиться. «Кто-то идет», — торжественно возгласил он, вернувшись в корчму. В мгновение ока все были на ногах. «Кто-то? Что значит — кто-то? — запричитала госпожа Кранер. — Один?» — «Один», — невозмутимо ответил корчмарь. «А Петрина?» — изумленно развел руками Халич. «Говорю вам — один идет. Отстаньте вы от меня». — «Значит... это не он», — констатировал Футаки. «Да, не он...» — проворчали другие... Все снова уселись, кто-то разочарованно закурил, кто-то опять взялся за стакан, и когда в корчму вошла промокшая до костей Хоргош, на нее только бегло глянули и тут же отвернулись, потому что эта вдова, по внешности дряхлая, но в действительности далеко не старуха, не пользовалась в поселке особой симпатией («Да у нее за душой ничего святого», — говорила госпожа Кранер). Стряхнув воду с дождевика, она, ни слова не говоря, подошла к стойке, облокотилась и оглянулась по сторонам. «Что прикажете?» — прохладно поинтересовался корчмарь. «Дайте пива. Душа горит», — хрипло сказала Хоргош. Она обвела зал колючим взглядом не как посторонний любопытствующий, а как человек, который пришел как раз вовремя и прямо сейчас всех тут разоблачит. Наконец взгляд ее остановился на Халиче. «Красиво гуляют», — обнажив беззубые красные десны, заметила она корчмарю. Ее морщинистое воронье лицо так и пылало яростью, дождевик, с которого все еще стекала вода, странно вздулся у нее на спине, как будто под ним был горб. Она поднесла бутылку ко рту и стала жадно пить. Пиво струилось по ее подбородку, и корчмарь с отвращением наблюдал, как оно стекает дальше на шею. «Мою дочку не видели? — спросила госпожа Хоргош, вытирая рот кулаком. — Младшую». — «Нет, — неохотно ответил корчмарь. — Здесь ее не было». Женщина кашлянула и сплюнула на пол. Потом выудила из кармана сигарету, закурила и выпустила в лицо корчмарю струю дыма. «Вон какие дела, — сказала она. — Мы вчера с Халичем погудели, а теперь этот гад и здороваться со мной не желает. Весь день проспала сегодня. А вечером просыпаюсь — вокруг никого. Ни Мари, ни Юли, ни Шани. Но это еще куда ни шло. Так и младшую куда-то черт унес. Ничего, я ей бока обломаю, пусть только объявится. Вы меня знаете». Корчмарь ничего не ответил. Госпожа Хоргош допила пиво и тут же попросила еще бутылку. «Значит, не объявлялась здесь, — прорычала она сквозь зубы. — Потаскушка». Корчмарь пошевелил в ботинках пальцами ног. «Да на хуторе где-нибудь. Она по натуре у вас не беглянка, насколько я знаю». — «Это уж точно! — вспыхнула гневом женщина. — Чтоб ее черти забрали. Чтоб ей загнуться уже наконец! Вон, скоро светать начнет, а она где-то шастает под дождем. Удивительно ли, что я вечно хвораю?» — «А где старших дочек оставили?» — спросил Кранер. «А вам что за дело? — зло крикнула госпожа Хоргош. — Это мои дочки!» Кранер ухмыльнулся: «Да ладно, чего там... Зачем сразу набрасываться?» — «Я не набрасываюсь, а только вы своим делом займитесь лучше». В корчме стало тихо. Госпожа Хоргош повернулась спиной к остальным, облокотилась одной рукой о стойку и, запрокинув голову, приложилась к бутылке. «Вот что надо бедному желудку! В таких случаях только это и помогает». — «Знаем, — кивнул корчмарь. — А может быть, кофейку?» Та потрясла головой: «От него всю ночь спать не будешь. И зачем тогда этот кофе нужен? Низачем. — Она снова поднесла бутылку ко рту и опустила ее лишь тогда, когда последняя капля скатилась ей в глотку. — Ну, бывайте. А я пойду дальше. Если увидите кого из них, скажите, чтобы немедленно убирались домой. Что мне, всю ночь теперь за ними гоняться?! Это в моем-то возрасте». Она положила перед корчмарем двадцать форинтов, забрала сдачу и двинулась к выходу. «Передайте дочкам, чтобы подождали, пусть никуда не торопятся!» — заржал ей вслед Кранер. Госпожа Хоргош что-то пробормотала себе под нос и, пока корчмарь открывал ей дверь, на прощание еще раз плюнула на пол. Халич, который по-прежнему частенько бывал у нее на хуторе, «даже не повернул головы», поскольку с тех пор, как проснулся, он пристально изучал стоявшую перед ним пустую бутылку, пытаясь понять, кто же так над ним издевается. Он обвел помещение колючим взглядом и наконец остановился на корчмаре, решив, что с этого момента не будет сводить с него глаз и рано или поздно непременно разоблачит негодяя. Халич закрыл глаза и опустил на грудь голову, но продержался лишь пару минут, ибо опять погрузился в сон. «Скоро рассвет, — сказала госпожа Кранер. — Наверное, уже не придут». — «Эх, если бы она была права!» — пробормотал корчмарь, ходивший по залу с термосом, наполненным кофе, и вытер вспотевший лоб. «Только не надо паниковать! — осадил ее Кранер. — Придет время, тогда и появятся». — «Ну конечно, — поддержал его Футаки. — Ждать осталось недолго, скоро сами увидите». Неторопливо отхлебывая дымящийся кофе, он потрогал сохнущую рубашку, затем закурил и стал размышлять о том, с чего тут начнет дела Иримиаш. Ясно, что насосы и генераторы нуждаются в капремонте, это первоочередное. Затем надо будет побелить весь машинный зал, починить окна и двери, потому что сквозняк там такой, что вечно просыпаешься с головной болью. Да, придется не так-то легко; строения покосились, сады заросли бурьяном, из старых хозяйственных построек все растащили, остались лишь голые стены, как будто поселок подвергся бомбардировке. Но ведь для Иримиаша нет ничего невозможного! Ну и удача, конечно, нужна, без нее ничего не получится! Но счастье ведь только там, где ум! А ум у Иримиаша острый как бритва. Футаки, улыбаясь, вспомнил, что уже тогда, когда его назначили заведовать машинным отделением, люди, и даже начальство, постоянно бегали к Иримиашу за советами, поскольку, как говорил Петрина, Иримиаш был «разрешителем безвыходных ситуаций и радетелем потерявших надежду людей». Но против глупости был бессилен и он, так что неудивительно, что через год он отсюда дал ходу. И как только Иримиаш исчез, они стали стремительно опускаться на дно. Грянули град и ящур, дохли овцы, а затем пришли времена, когда неделями не платили зарплату, потому что платить было не с чего... и тогда уже люди заговорили о том, что все кончилось и пора закрывать лавочку. Так и вышло. Кому было куда бежать, те сбежали, а кому некуда было податься, остались здесь, и начались дрязги и свары, то и дело возникали какие-то неосуществимые прожекты, каждый клялся-божился, что лучше всех знает, что надо делать, так что ясно, что ничего ровным счетом не получалось. В результате все постепенно смирились с безнадежностью положения и в ожидании какого-то чуда с растущим волнением считали часы, недели и месяцы, а потом стало не важно и это, все целыми днями сидели по кухням и если порой добывали немного денег, то спускали их быстро в корчме. В последнее время он тоже безвылазно находился в машинном зале, захаживая иногда только в корчму или к госпоже Шмидт, потому что уже не верил, что здесь что-то еще может измениться. Он быстро смирился с тем, что будет прозябать здесь до конца своих дней — ну а что ему еще оставалось? Начать новую жизнь? Это в его-то возрасте? Но теперь уже с этим покончено. Иримиаш «расставит все тут по своим местам»... Он взволнованно ерзал на стуле — ему несколько раз казалось, будто кто-то дергает дверь, но он успокаивал себя («Терпение, друг, терпение...») и просил у корчмаря еще чашку кофе. Футаки был не одинок, ощутимое волнение волнами пробегало по залу, в особенности когда Кранер, подойдя к остекленной двери, торжественно объявил: «Уже брезжит рассвет!»; все оживились, снова полилось вино, а больше всех воодушевилась госпожа Кранер, звонко крикнувшая: «Вы тут что, на похороны собрались?!» Кокетливо покачивая необъятными бедрами, она прошлась по корчме и остановилась напротив Керекеша: «Эй, ну хоть вы не спите! Лучше сыграйте нам что-нибудь на аккордеоне!» Хуторянин оторвал голову от стола и громко рыгнул: «Это вы корчмарю скажите, не мне. Инструмент его». — «Эй, хозяин! — крикнула госпожа Кранер. — Ну-ка, где ваш аккордеон?!» — «Сейчас принесу, — буркнул тот и исчез в кладовой. — Надеюсь, и про вино не забудете». Он направился к мешкам с комбикормом, вытащил из-за них облепленный паутиной аккордеон, слегка отряхнул его и отнес Керекешу: «Только уж вы смотрите! Вещь требует аккуратного обращения...» Керекеш отмахнулся, накинул на себя ремни, пробежался пальцами по клавишам, а потом, наклонившись вперед, осушил стакан. «Ну и где вино?!» — крякнул он. Госпожа Кранер, зажмурив глаза, покачивалась посредине корчмы. «Отнесите ему бутылку, хозяин, — сказала она корчмарю и нетерпеливо притопнула. — Просыпайтесь, ленивая банда!» Она подбоченилась и крикнула посмеивающимся мужчинам: «Эй вы, трусы несчастные! Кто осмелится станцевать со мной?!» Халич, возмущенный тем, что его обозвали трусом, не удержался, вскочил и, словно не разобрав, что кричит ему вслед жена («Ну-ка, сядь!»), подскочил к госпоже Кранер. «Прошу танго!» — воскликнул он и приосанился. Но Керекеш, казалось, не слышал его, поэтому Халич, как положено в чардаше, обхватил госпожу Кранер за талию, и они пустились в пляс. Остальные, подбадривая их выкриками и хлопками, освободили им место, и даже Шмидт не мог удержаться от хохота, потому что они представляли зрелище ни с чем не сравнимое: Халич был по меньшей мере на голову ниже госпожи Кранер, которая топталась на месте, лишь покачивая пышными бедрами, и скакал вокруг своей партнерши так, словно ему под рубашку залетела оса и теперь он пытался избавиться от нее. А когда кончился первый чардаш и раздался одобрительный гул голосов, Халич выкатил грудь и едва удержался, чтобы не бросить в лицо всем этим со смехом нахваливающим его людям: «Ну что, видели?! Это Халич!» А в следующих двух раундах чардаша он превзошел самого себя: посреди умопомрачительных и сложнейших па он время от времени, выбросив над головой правую или левую руку и выгнув вперед живот, на мгновение замирал как каменный, изображая из себя живую скульптуру, чтобы на следующих тактах, под аплодисменты восторженной публики, продолжить выделывать дьявольские коленца вокруг хихикающей, запыхавшейся госпожи Кранер. После каждого круга Халич все более настойчиво требовал танго, и когда наконец Керекеш выполнил его пожелание и, отбивая такт громадным своим башмаком, заиграл знакомую всем мелодию, директор школы тоже не выдержал и, подойдя к ожившей от воплей госпоже Шмидт, наклонился к ее уху: «Разрешите вас пригласить?» Запах одеколона, ударивший ему в нос, уже не отпускал его, и ему приходилось изо всех сил крепиться, чтобы держать «подобающую дистанцию», когда он — наконец-то! — положил правую руку на спину госпоже Шмидт и они, поначалу не слишком уверенно, начали танец. Как хотелось ему в этот момент обнять эту женщину и потеряться между жаркими ее грудями! Причем положение его было вовсе не безнадежным, ибо госпожа Шмидт, мечтательно закатив глаза, все более «возмутительным образом» прижималась к нему, а когда музыка зазвучала совсем уж лирично, с затуманенным взором уронила лицо на плечо директора («Вы знаете, танцы — это моя слабость...») и повисла на нем всей тяжестью своего тела. Тут уже не сдержался директор и беспомощно ткнулся губами в ее мягкую шею; он, конечно, тотчас же спохватился и выпрямился, однако до извинений дело не дошло, потому что партнерша рывком снова прижала его к себе. Госпожа Халич, сменившая прежнюю боевитую ненависть на молчаливое презрение, разумеется, все прекрасно видела; ничто не могло укрыться от ее глаз, о, она понимала, что здесь происходит. «Но Господь, мой заступник, со мной! — самоуверенно бормотала она и никак не могла понять, почему запаздывает приговор, который низринет всех этих грешников в адское пламя. — И чего они мешкают там, наверху?! Почему равнодушно взирают на этот содом?!» Нисколько не сомневаясь, что ей это полагается, с нарастающим нетерпением ожидала она отпущения своих грехов, хотя вынуждена была признать: иногда — на минуту-другую — и она поддавалась на искушение дьявола, побуждавшего выпить глоточек вина или с греховными побуждениями наблюдать за тем, как вихляет бедрами госпожа Шмидт, оказавшаяся во власти сатаны. Но в своей вере она крепка, и если понадобится, сможет выступить против сатаны, только бы поскорее явился восставший из праха Иримиаш, ведь нельзя же требовать от нее, чтобы она в одиночку отразила это бесовское нашествие. Ибо следовало признать, что на какое-то время дьявол — если в том была его цель — одержал в корчме полную, хоть и временную победу; дело в том, что, за исключением Футаки и Керекеша, все были на ногах, и даже те, кому не досталась ни госпожа Кранер, ни госпожа Шмидт, не садились на место, а дожидались окончания танца, стоя поблизости. Керекеш за бильярдным столом неутомимо отбивал такт, а нетерпеливые танцоры не оставляли ему времени даже на то, чтобы осушить между танцами стакан вина, но все же ставили перед ним все новые бутылки, дабы приободрить его. И Керекеш не противился, одно танго сменялось другим, а затем он вдруг начал наигрывать одну и ту же мелодию, и никто этого не заметил. Разумеется, госпожа Кранер не могла долго сохранять этот головокружительный темп, дыхание у нее прерывалось, пот градом катил с лица, ноги горели, и она, даже не дождавшись конца танца, ни слова не говоря, повернулась на каблуках и, бросив возмущенного директора школы, плюхнулась на стул. Халич с укоризненным, умоляющим видом бросился за ней: «Розика, единственная, дорогая! Неужели вы меня бросите? Ведь как раз подошла моя очередь!» Госпожа Кранер, вытирая лицо салфеткой и тяжело дыша, отмахнулась от него: «Вы что обо мне думаете? Ведь мне уж не двадцать лет!» Халич, быстро наполнив стакан, сунул ей в руку: «Выпейте, Розика, дорогая. Ну а потом...» — «Никаких потом! — смеясь, оборвала его госпожа Кранер. — Уж куда мне тягаться с вами, молодыми!» — «Розика, милая, я ведь тоже не мальчик, в конце концов! Но опыт, Розика, дорогая, опыт!..» Он осекся, потому что взгляд его упал на вздымающуюся грудь госпожи Кранер, потом нервно сглотнул, откашлялся и сказал: «Я сейчас сырных палочек принесу!» — «Очень кстати...» — ласково сказала вослед ему госпожа Кранер и вытерла взмокший лоб. Пока Халич не вернулся с блюдом, она задумчиво наблюдала за неутомимой госпожой Шмидт, которая, с мечтательным видом танцуя танго, переходила от партнера к партнеру. «Вот, пожалуйста, Розика, дорогая!» — принялся угощать ее Халич, подсев вплотную к ней. Он комфортно откинулся на спинку стула и правой рукой обнял госпожу Кранер за талию — при этом ничем не рискуя, потому что его жену, сидевшую у стены, наконец сморил сон. Они молча, одну за другой, грызли сухие палочки, и получилось так, что через несколько минут, потянувшись одновременно к блюду, они неловко уставились друг на друга, поскольку на нем сиротливо лежала последняя палочка. «Тут ужасный сквозняк, вы не чувствуете?» — смущенно поежилась женщина. Вконец окосевший Халич заглянул ей в глаза и сказал: «Знаете что, дорогая Розика? — Он сунул ей последнюю палочку. — Съедим ее вместе, ладно? Вы кусайте отсюда... А я с другой стороны... А когда дойдем до середины, то остановимся. И знаете, что мы сделаем, радость моя? Остатками законопатим дверь!» Госпожа Кранер прыснула со смеху: «Вам бы все шутки шутить! И когда вы уже повзрослеете?! Дверь... конопатить... Зачем?..» Но Халич стоял на своем: «Розика, дорогая! Вы ведь сами сказали, что здесь сквозняк! Я ничуть не шучу. Ну, давайте, кусайте!» Он сунул ей в рот один конец палочки, другой надкусил сам. Палочка тут же развалилась на части, остатки упали им на колени, Халич и госпожа Кранер неподвижно — рот против рта — застыли, и тут Халич, чувствуя, что все перед ним куда-то поплыло, набрался смелости и героически поцеловал ее. Госпожа Кранер смущенно захлопала глазами и оттолкнула разгоряченного Халича: «Вы что себе позволяете, Лайош? Что за шутки! Нас могут увидеть!» И поправила юбку. Когда за окнами и застекленной дверью стало светать, танцы уже окончились. Корчмарь и Келемен растянулись на стойке друг против друга, директор школы повалился на стол рядом со Шмидтом и его женой, Футаки и Кранер склонились друг к другу, словно влюбленные, а госпожа Халич уронила голову на грудь — все спали непробудным сном. Госпожа Кранер и Халич еще немного пошушукались, но у них уже не было сил подняться и сходить к стойке за новой бутылкой вина, так что всеобщий мирный храп вскоре усыпил и их. Не спал только Керекеш. Подождав, пока окончательно стихнет шепот, он поднялся, размял затекшие члены и отправился между столами. Нащупывая бутылки, в которых еще что-то плескалось, он переносил их на бильярдный стол, где выстраивал в ряд; стаканы он тоже обследовал, и где обнаруживал остатки вина, быстренько допивал их. Его огромная призрачная тень следовала за ним по стенам, порой вскарабкиваясь на потолок, а когда хозяин ее неуверенно опустился опять на стул, то и тень присела где-то в заднем углу. Он смахнул с изможденного, изуродованного старыми шрамами и свежими ссадинами лица прилипшую к нему только что паутину, слил, как мог, собранное вино, наполнил стакан и, отдуваясь, начал жадно пить. И пил так без перерыва, без устали, наполняя и осушая стакан, и вновь наполняя, и вновь осушая, как бесчувственный автомат, не останавливаясь до тех пор, пока последняя капля не исчезла в его исполинском брюхе. Откинувшись на спинку стула, Керекеш разинул рот и попытался рыгнуть, когда же из этого ничего не вышло, он положил руку себе на желудок и, шатаясь, направился в угол. Там он сунул себе два пальца в глотку и стал блевать. А закончив, вытер ладонью рот, пробурчал «только и делов» и вернулся к бильярду. Он поднял на колени аккордеон и, раскачиваясь взад-вперед своим огромным телом в такт мягко льющейся музыке, стал наигрывать очень сентиментальную и грустную мелодию. Когда он добрался до середины, из-под его безжизненных век покатились слезы. Если бы кто-то сейчас прервал его, вряд ли он объяснил бы, что это вдруг с ним случилось. Керекеш был один среди мирно сопящих людей, и ему было хорошо оттого, что душу его омывала эта медленная солдатская песня. Он не видел причин прерывать мелодию и, доиграв ее до конца, тут же, без перерыва, начинал заново, ощущая себя счастливым ребенком среди спящих взрослых, блаженствующим оттого, что, кроме него, эту грустную песню сейчас не слышит ни одна душа. И под бархатные звуки аккордеона двинулась в последний штурм паучья рать. Легкой паутиной они оплели бутылки, стаканы, чашки и пепельницы, ножки столов и стульев, а затем — тончайшими тайными нитями — соединили отдельные паутины, словно им было чрезвычайно важно из своих невидимых углов незамедлительно узнавать о каждом малейшем движении, малейшем трепете, пока будет цела эта безупречная, необыкновенная и почти недоступная взору сеть. Пауки оплели затем лица, руки и ноги спящих и стремительно разбежались по своим укрытиям, чтобы, дождавшись там, пока встрепенется тонкая, как дыхание, нить, снова взяться за дело. Слепни — ища спасения от пауков в свете и движении — без устали рисовали свои неправильные восьмерки вокруг тусклой лампы; Керекеш, уже полусонный, продолжал играть, и в его клонящейся на грудь голове с ошеломляющей скоростью сменяли одна другую картины рвущихся бомб, пикирующих самолетов, бегущих солдат и пылающих городов, меж тем как в корчму, совершенно бесшумно и незаметно, вошли они и застыли перед открывшимся их глазам зрелищем в таком изумлении, что Керекеш скорее почувствовал, нежели понял, что Иримиаш с Петриной прибыли.

## Часть вторая

### VI. Иримиаш держит речь

Друзья мои! Должен признаться вам — я нахожусь в затруднительном положении. Насколько я вижу, никто из вас не пренебрег этим нашим судьбоносным собранием... И многие, в надежде на то, что я смогу объяснить вам причину этой — здравому уму непостижимой — трагедии, пришли сюда даже раньше, намного раньше времени, о котором мы с вами вчера условились... Но что я могу сказать вам, дамы и господа? Что еще могу я сказать, кроме того, что я... потрясен, что я в полном, скажу вам, отчаянии... Поверьте мне, даже я теперь пребываю в смятении, и, надеюсь, поэтому вы простите, что пока я с трудом нахожу слова... Я не могу говорить, ибо горло мое сжимается от ошеломления, так что не удивляйтесь, что все мною сказанное в это мучительное для всех нас утро будет жалким, невнятным лепетом, ибо, должен признаться, мне нисколько не помогло то, что я предложил, когда мы вчера вечером в ужасе обступили застывшее тело ребенка, найденного после долгих поисков, — а предложил я тогда, что лучше нам всем собраться сегодня утром, ибо утро вечера мудренее и, может быть, нам удастся трезвее взглянуть на случившееся, но, увы... в душе моей царит тот же хаос, а растерянность и отчаяние нынче утром только еще усилились... И все же... Я знаю... я должен собраться с силами... и я уверен, что вы поймете, если в эту минуту я еще не смогу сказать ничего сверх того, что я глубоко... глубоко разделяю боль страдающей матери, ее безутешную неизбывную скорбь... ибо, я полагаю, нет нужды повторять, что с болью утраты... когда мы вот так, в одночасье, лишаемся самого дорогого для нашего сердца, не может сравниться ничто, дорогие друзья... Я не думаю, что среди всех здесь собравшихся найдется хотя бы один, кто со мной не согласен... Эта трагедия тяжким бременем легла на всех нас, ибо мы прекрасно осознаем, что в том, что произошло, виноваты без исключения все мы. И самое тяжкое в этой ситуации то, что мы — со скрипом зубовным, со сжимающимся от горечи горлом, со слезами на глазах — должны, несмотря ни на что, одолеть это потрясение... Потому что — и на это я хотел бы настоятельно обратить внимание! — нет сейчас ничего более важного, чем то, чтобы еще до прибытия представителей власти, до того, как полиция начнет тут расследование, мы, свидетели и виновники, детально реконструировали истоки этой страшной беды, причины чудовищной гибели невинного ребенка... ибо лучше будет, если мы сразу, уже сейчас, приготовимся к тому, что все эти городские расследователи первым делом предъявят обвинения нам... Да, друзья мои, именно нам! Прошу вас не удивляться! Потому что... положа руку на сердце, разве мы не могли предотвратить случившееся, проявив толику внимания, толику здравой предусмотрительности, чуточку сердечной заботы и благоразумия?.. Вы только представьте себе, что это беспомощное создание, которое сейчас уже, несомненно, можно назвать жертвенным агнцем Божьим, рискуя стать легкой добычей первого встречного, любого бродяги с большой дороги, кого угодно, друзья мои... целую ночь мокло тут под дождем, страдало от ветра и прочих стихий... В небрежении, непростительном и преступном, как отверженная, она слепо блуждала где-то *здесь*, рядом с нами, она до конца была возле нас — и, может быть, даже заглядывала в это окно и видела, как вы, дамы и господа, отплясываете здесь в пьяном угаре; не отрицаю, что, возможно, она и нас видела, спрятавшись за каким-нибудь деревом или за стогом сена, когда мы, вымокшие до нитки, изможденно брели от столба к столбу по тракту к нашей конечной цели — усадьбе Алмаши; да, она была где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки от нас, и никто, повторяю, никто не поспешил ей на помощь, ее голос — а она, я уверен, взывала к нам, пыталась дозваться кого-нибудь в свой последний час! — относило ветром и заглушало вашими пьяными воплями, дамы и господа! Так что это была за игра кошмарных случайностей, спросите вы, что за дьявольская гримаса судьбы?.. Не поймите меня неправильно, я никого конкретно не обвиняю... Я не обвиняю мать, которая, может быть, до конца своей жизни не сможет спокойно уснуть, ибо она никогда не простит себе, что тогда, в тот роковой день... слишком поздно проснулась. Я не обвиняю — в отличие от вас, друзья! — и брата жертвы, сего подающего большие надежды юношу, который видел ее последним, в каких-нибудь двухстах метрах отсюда, от места, где мы сейчас сидим, в двухстах метрах от вас, дамы и господа, вас, которые, ни о чем не догадываясь, терпеливо ожидали нашего прибытия и под конец, опьянев, погрузились в мертвецкий сон... Нет, я не обвиняю никого лично... и все же... позвольте задать вам вопрос: не являемся ли мы все виновными? Не честнее ли будет, вместо поисков оправданий, прямо сейчас откровенно признать, что обвинение можно предъявить нам всем? Потому что — и в этом госпожа Халич тысячу раз права — мы не можем ради успокоения совести обманывать себя, говоря, что случившееся есть результат непредвиденного стечения обстоятельств, с которым мы ничего не могли поделать... Это вовсе не так, и в ближайшее время я надеюсь вам доказать это! Давайте рассмотрим все по порядку... разберем до мельчайших подробностей всю жуткую совокупность событий, ибо главный вопрос — и вы должны помнить об этом, дамы и господа! — заключается в том, что́ случилось здесь вчера утром... Потому что... представьте себе, всю прошедшую ночь я метался в постели без сна, пока до меня не дошло!.. В самом деле, мы ведь не знаем не только того, *каким образом* произошла трагедия, но нам неизвестно даже, *что именно* произошло... Дело в том, что имеющиеся в нашем распоряжении данные и свидетельства настолько противоречат друг другу, что надо быть — по общеизвестному выражению — семи пядей во лбу, чтобы что-то увидеть в этом подозрительном мраке... Ведь единственное, что мы знаем — это то, что ребенка не стало. Что, честно сказать, немного! Вот почему, думал я, лежа в кладовой, которую бескорыстно предоставил мне на ночлег господин корчмарь, у нас нет другого пути, кроме как продвигаться вперед шаг за шагом, и я убежден, что это единственный правильный метод... Давайте же соберем все, даже самые незначительные на первый взгляд детали, ничуть не колеблясь, если вспомнится какая-то несущественная, по вашему мнению, подробность... Подумайте, нет ли чего-то, о чем вы вчера забыли мне рассказать... потому что лишь так мы можем надеяться найти объяснение и, может быть, оправдание в нелегкие минуты предстоящего разбирательства... Используем же с умом оставшееся в нашем распоряжении недолгое время, ибо никто, кроме нас самих, не прольет свет на драматические события минувшей ночи и утра.

Тяжелые слова Иримиаша гудели в корчме непрерывающимся мрачным набатом, из которого можно было понять только то, что случилось нечто ужасное, но не смысл приключившейся беды. Люди — со следами ночных кошмаров и пугающих полусонных видений на лицах — молча, испуганно, зачарованно столпились вокруг него, словно только в этот момент проснулись и теперь, в мятой одежде, со спутанными волосами, а кое-кто даже с отпечатком подушки на виске, тупо ждали его объяснений, поскольку, пока они спали, мир вокруг них перевернулся... и все в нем смешалось. Иримиаш сидел среди них, положив ногу на ногу, преисполненный собственного достоинства, откинувшись на спинку стула и старательно избегая взглядов похмельно-красных отекших глаз; его гордо изогнутый ястребиный нос и волевой свежевыбритый подбородок так и летали над окружающими его головами, волосы, отросшие до плеч, завивались с обеих сторон; иногда — дабы подчеркнуть значимость какого-то слова или фразы — он резко вскидывал густые, почти сросшиеся, кустистые брови и воздевал указательный палец, приковывая к нему лучи беспокойных взглядов.

Но прежде чем мы отправимся в этот рискованный путь, я должен вам кое-что сказать. Когда мы прибыли вчера на рассвете, вы, друзья мои, обрушили на нас град вопросов; перебивая друг друга, вы что-то нам объясняли и спрашивали, утверждали, опровергали, просили и предлагали, чертыхались и восхищались, и сейчас я хотел бы ответить на два вопроса, возникших в этой сумятице, хотя некоторым из вас я уже говорил о них... Один из ваших вопросов сводился к тому, чтобы я «открыл», как некоторые это называли, «тайну»... нашего... так сказать... «исчезновения» без малого полтора года назад... Так вот, дамы и господа, здесь нет никакой «тайны» и никакого «тумана», заявляю вам это с полной ответственностью... В течение этого времени мы должны были исполнить некое поручение — можно даже назвать это миссией, — о котором пока достаточно будет сказать, что оно... самым тесным образом связано с нашим нынешним пребыванием здесь... А теперь я вынужден разочаровать вас признанием в том... что наша «внезапная и непредвиденная», как вы выражаетесь, встреча является чистой случайностью... Дело в том, что наш путь — мой и моего верного друга и неоценимого ассистента — вел нас в усадьбу Алмаши, которую... мы должны были... по определенным причинам... срочно посетить с целью, можно сказать, рекогносцировки... И поскольку мы были уверены в том, что вас, дорогие друзья, мы уже не застанем здесь, мы даже сомневались, что эта корчма все еще работает... так что это *для нас* было неожиданностью снова встретить вас здесь, как будто ничего не произошло... Не скрою, мне было приятно увидеть знакомые лица, но вместе с тем... не буду кривить душой, я с некоторым беспокойством определил, что вы, дорогие друзья, по-прежнему... коптите здесь небо... вы можете возразить мне, если сочтете мои слова обидными!.. здесь, в этом забытом Богом и безнадежном краю, который вы уже тысячу раз поклялись покинуть и поискать счастья где-нибудь в другом месте... Когда полтора года назад... мы с вами прощались и вы стояли здесь, у корчмы, и махали нам, пока мы не скрылись за поворотом... я очень хорошо помню, сколько захватывающих идей, сколько блестящих планов было у вас и сколько желания все эти планы осуществить... и вот я встречаю всех вас в том же самом положении, еще более — простите на грубом слове! — голоштанными и отупевшими, дамы и господа! Так что же произошло? Что сталось с этими планами и захватывающими идеями?! Ну да ладно, я, кажется, немного отвлекся от главного... Итак, наше появление среди вас, дорогие друзья, является, как вы видите, чистой случайностью. И хотя дело, из-за которого мы уже давно, еще вчера в полдень, должны были находиться в усадьбе Алмаши, является чрезвычайно спешным и даже почти неотложным, я, по старой дружбе, решил, что не могу бросить вас в этом бедствии, дамы и господа, и не только из-за того, что случившаяся трагедия в некотором отношении касается и лично меня, ведь, в сущности, когда она произошла, я был уже здесь, не говоря о том, что я, пусть и смутно, но помню безвременно усопшую жертву и давно поддерживаю близкие отношения с ее семьей... но еще и потому, что вижу — вся эта драма прямо проистекает, друзья мои, из сложившейся здесь ситуации, и бросить вас в таком положении я не вправе... На второй ваш вопрос я, по сути, уже ответил, но все-таки повторю, чтобы потом не возникло каких-то недоразумений... Вы заблуждались, когда, услышав о том, что мы направляемся в эти края, опрометчиво решили, будто мы собираемся к вам в поселок, поскольку, как я уже упоминал, нам и в голову не пришло, что вы все еще здесь обретаетесь... Не скрою, что эта потеря времени меня несколько напрягает, потому что сегодня я уже должен был вернуться в город, но раз так сложилось, давайте скорее покончим с этим... и подведем черту под трагедией... Ну а если... возможно... нам достанет времени... я попытаюсь сделать что-нибудь и для вас, хотя... честно признаться... пока что я в полной растерянности...

Он взял паузу и дал знак притулившемуся возле масляной печки Петрине, который с готовностью подскочил к нему, держа в руках — спасибо женской заботе госпожи Шмидт! — свежевыглаженный клетчатый пиджак Иримиаша. И в тот момент, когда они увидали, как Иримиаш достает из нагрудного кармана сигарету, Халич, Футаки и Кранер, не сговариваясь, дружно кинулись к нему, чтобы поднести огня. Корчмарь — который с напряженным, белым как мел лицом стоял, не смешиваясь с другими, за стойкой — смерил их насмешливым взглядом.

Ну а теперь перейдем к делу. И распутывать эту историю начнем с позавчерашнего полдня, когда Шани, мой юный друг Шандор Хоргош, обедал на хуторе вместе с ныне покойным ребенком. По его словам, он не заметил тогда в поведении младшей сестры ничего необычного — верно я излагаю, молодой человек? — стало быть, ничего... ведь так?.. Отобедали, да. И ничего особенного он не заметил, не считая того обстоятельства... что сестра вела себя более взволнованно, чем обычно... Но это волнение наш подающий большие надежды друг не может объяснить иначе как тем, что шел дождь, я правильно помню?.. Ну да... Ибо вид дождя... если я верно понял... всегда производил на нее гнетущее впечатление. Это, конечно, довольно странно, но, памятуя о том, что ребенок, как всем известно, обладал ограниченными умственными способностями, мы, разумеется, можем объяснить дело тем, что в подобного рода случаях любое событие может вызвать подавленность, большее или меньшее смятение, именуемое в науке депрессией... Ну а дальше... как долго?.. до самой темноты мы теряем жертву из виду, пока наш юный друг Шандор не встречает ее вдруг на тракте между домом дорожного мастера и корчмой... что, не совсем между?.. хорошо, почти у самого дома дорожника... Наш друг Шандор находит ее чрезвычайно встревоженной... лучше даже сказать — отчаявшейся?.. словом, находит свою сестру в отчаянии, и на его вопрос, что она здесь делает и не лучше ли ей сейчас быть дома, Эштике отвечает молчанием... И вот наш очевидец в конце концов после долгих расспросов велит ей немедленно отправляться домой, ибо — как он изложил мне во время вчерашней беседы — он был крайне обеспокоен здоровьем младшей сестры, на которой уже тогда была эта самая желтая кофта да тюлевая занавеска под ней... и вся она, до нитки промокнув, дрожала... И вот в этот момент... поправьте меня, если я ошибаюсь... мы окончательно теряем ее из виду. И обнаруживаем уже только вчерашним вечером, далеко отсюда, в замке Венкхейма... где наконец, после продолжавшихся целый день поисков, напоминавших скорее военную операцию, по наитию и предложению нашего друга Шандора, — именно его! — мы нашли ее мертвой в одном из разрушенных и заросших травой помещений... Посмотрим теперь, что обо всем этом думаете вы сами... Некоторые из вас полагают — и на этом мнении настаивает прежде всего мой друг Кранер, — что случившееся можно объяснить только одним: произошло убийство... И обосновывают это тем, что в связи с умственной отсталостью девочки невозможно себе представить, чтобы она оказалась способной собственноручно покончить с жизнью... Потому что — говорит мой друг Кранер — как у нее мог оказаться крысиный яд?.. И если даже представить, что она его каким-то образом нашла в сарае на хуторе, то откуда ей было знать, зачем он нужен? Мой друг Кранер также не может представить, как с этим ядом в руках Эштике могла добраться в такую непогоду до заброшенного здания в нескольких километрах отсюда, чтобы... там... А потом... спрашивает наш друг Кранер... с какой стати она волокла с собой кошку? Чтобы там ее отравить? Но каким образом? И зачем? Разве не проще было бы, если уж мы говорим о самоубийстве, совершить его дома, на хуторе? Ведь ей никто не мешал... Старших сестер дома не было, брат после обеда ушел из дому и в тот день вообще не вернулся, а мать жертвы так глубоко уснула, что не просыпалась до вечера, разве не так?.. Не совсем?.. Ну да... Она еще днем начала шуметь... понимаю... и вы ее отослали играть... под дождем? А, понятно, она под навесом обычно играла... Но как бы там ни было... днем она еще была дома... То есть с хутора она могла уйти незадолго до того, как наш юный друг обнаружил ее на тракте... Ну вот, видите, общими усилиями мы уже продвинулись вперед... Однако продолжим... Мой друг Кранер, несмотря на множество метких наблюдений... по всей видимости, ошибается... Я полагаю так, что предположение об убийстве мы должны однозначно отбросить, ибо в описываемое время ни у кого попросту не было ни причин, ни возможностей совершить это страшное злодеяние... Ведь вы все находились здесь, в корчме, не так ли... если не считать нашего друга Шандора... а также господина доктора... ну и членов семьи погибшей, ведь так?.. Что касается доктора, то я думаю, мы все согласимся, что его можно с полной уверенностью исключить из круга подозреваемых, ибо все мы знаем, что по натуре он домосед, человек с диковинными привычками, не говоря уже о некоторых заскоках, связанных с непогодой!.. Старшие сестры Хоргош, как всем известно, были на мельнице, где они поджидали... окончания дождя, а мой друг Шандор героически ждал нас возле дома дорожного мастера, что я лично могу засвидетельствовать... Что касается появления какого-нибудь постороннего бродяги, то и эту возможность мы должны, разумеется, исключить, ибо нельзя поверить в то, чтобы бродяги с крысиным ядом в руках гонялись за десятилетним ребенком под проливным дождем... Таким образом — к величайшему нашему облегчению, — мы не можем согласиться с нашим другом Кранером, однако... нам тяжело признать и правоту тех, кто полагает, что тут имел место некий фатальный... несчастный случай... Ибо если предположить, что жертва в смятенном, подавленном состоянии... отправилась к замку Венкхейма... хотя непонятно, почему туда?.. то невозможно никак объяснить, дамы и господа, если мы говорим о несчастном случае, какое отношение имела к нему кошка... Однако не будем бездумно отбрасывать и это предположение, друзья мои... ведь что сказал общий наш благодетель, достойный всяческого уважения господин корчмарь? Фатальный случай, не так ли?.. фатальный несчастный случай... так вы сказали? Я правильно помню, господин корчмарь? Это когда вчера вечером... когда мы принесли усопшую и возложили ее на бильярдный стол, чтобы иметь возможность проститься с ней, пока наш друг Кранер изготавливал гроб... вы, очевидно под тяжестью происшедшего, едва не расплакались. Так вот, что-то подсказывает мне, что мы начинаем приближаться к истине... Ибо, дамы и господа, фатальное — это сказано совершенно точно... Но разве фатальное может быть случайным?.. И можем ли мы вообще говорить о несчастном случае, если случай этот фатален, то есть неотвратим?..

Женщины шмыгали носами, а госпожа Хоргош, сидя сзади в окружении своих детей, чуть поодаль от остальных, вся в черном — у бильярда, на котором еще в беспорядке валялись остатки веток клена и серебристого тополя, украшавших тело ребенка, — не отнимала от глаз платка... Мужчины слушали Иримиаша, оцепенев, прикуривая одну сигарету от другой, напряженно и мрачно, без единого слова, и с нарастающим тяжелым предчувствием ожидая продолжения и прислушиваясь не столько к смыслу произносимого, сколько к интонации, все более звучной и угрожающей, потому что — хотя в первые минуты они с недоумением слушали все эти слова про «ответственность», «нашу жертву» и всякие обвинения — в них постепенно нарастало чувство вины; у Халича от этого прямо заныло сердце, и даже Кранер, больше других недоумевавший, вынужден был отступить, осознав, что в словах Иримиаша «действительно что-то есть...».

Ну да ладно, можете вы сказать сейчас про себя, пусть это не убийство и не несчастный случай... Но что же тогда?.. Я надеюсь, никто из вас не сомневается в том, что с тех пор, как мы с вами узнали, что ребенок не потерялся, а навсегда пропал, я сделал все от меня зависящее, чтобы выяснить, что же произошло. И, не жалея усилий — а вы можете мне поверить, что это было неимоверно трудно после ночи, проведенной в пути под дождем и ветром, и изнурительных, казавшихся уже безнадежными поисков, — не жалея усилий, повторю я, вчера вечером я с глазу на глаз побеседовал с каждым из вас, таким образом, все возможные данные находятся в моем распоряжении, и вы не можете усомниться в моих словах, если я объявлю вам: эта трагедия *не могла* не произойти!.. Пожалуй, не стоит терзать друг друга дальнейшими подробностями, ибо, как я уже сказал, вопрос в том, что именно произошло, а не в том, каким образом!.. И ответ на этот вопрос существует, дамы и господа! И вы, друзья мои — я в этом совершенно уверен, — уже и сами догадываетесь о нем! Разве это не так? Разве вы — все без исключения — не догадываетесь, что произошло?.. Только догадываться о чем-то, дамы и господа, недостаточно, так мы с вами ни к чему не придем. Надо знать! А узнав, тотчас сформулировать, что мы знаем! Но это бремя я, с вашего позволения, сниму с ваших плеч, ибо должен сказать вам без всякого самомнения, что в подобного рода делах имею определенный опыт... Ну так вот... На рассвете, в те несколько часов после нашего прибытия, пока не появилась госпожа Хоргош и все вместе мы не отправились на поиски девочки, я, как вы, вероятно, помните, провел с некоторыми из вас важные разговоры, и не в последнюю очередь — с нашим другом Футаки... и из этого весьма поучительного обмена мнениями мне стало очевидно, что положение ваше, дамы и господа, критическое... Вы рассказывали мне лишь о том, что дела ваши не заладились, но я тотчас же понял, что беда тут гораздо серьезней. Друзья мои, еще до моего прибытия вы прекрасно осознавали, но боялись в этом признаться друг другу, что над поселком уже давно — гораздо дольше чем полтора года, поверьте мне — тяготеет... какой-то злой рок, и вы имеете все основания чувствовать, что приговор в скором времени будет неотвратимо приведен в исполнение... Вы, друзья мои, глубоко погрязли в этом распаде, вдали от всего, что есть Жизнь... ваши планы один за другим рушатся, мечты разбиваются вдребезги, вы верите в некое чудо, которое никогда не произойдет, надеетесь на спасителя, который должен вас отсюда вывести... между тем как вы знаете, что верить вам уже не во что и надеяться не на что, ибо минувшие годы лежат на вас таким грузом, дамы и господа, что кажется, будто вы окончательно потеряли возможность что-то сделать с этой беспомощностью, которая день ото дня все крепче сжимает вам горло, и скоро наступит момент, когда вы уже не сможете вдохнуть воздух... Но что же это за рок... жертвой которого вы стали, бедные мои друзья? Неужто и правда речь идет о настойчиво повторяемых предположениях нашего друга Футаки, который твердит нам об осыпающейся штукатурке... о растащенной черепице... осевших стенах... о покрытых плесенью кирпичах и кислом вкусе во рту... Но не лучше ли было бы говорить об упадке воображения, о рухнувших перспективах, о дрожащих коленях и полной... тотальной неспособности к действию?.. Не удивляйтесь, что я высказываюсь необычно жестко... но я полагаю, мы с вами должны говорить откровенно. Ибо всякие экивоки, нерешительность и брезгливость, поверьте мне, могут только усугубить беду!.. И если вы в самом деле видите, что ваш поселок, как мне признался на ушко господин директор, «обречен на гибель», то почему вы не смеете ничего предпринять?! Быть может, вы полагаете, что лучше синица в руках, чем журавль где-то в небе? Но этот позорный, трусливый и легкомысленный образ мыслей — уж простите меня, друзья, — чреват последствиями!.. Ведь эта пассивность — пассивность преступная, и эта слабость — преступная слабость... Это трусость, дамы и господа, преступная трусость! Потому что — и это прошу вас заметить как следует! — мы можем совершить нечто непоправимое не только в отношении других, но и в отношении самих себя!.. А это, друзья мои, куда серьезнее, больше того, если подумать как следует, то *любой* наш грех есть покушение на самих себя!..

Посельчане сидели, дрожа от страха, и, услышав последние фразы, совсем уже громогласные, вынуждены были потупить глаза, ибо их жгли не только слова Иримиаша, но и взгляды, которые он метал словно молнии... Госпожа Халич с видом раскаяния на лице впитывала в себя эти страстные инвективы, чуть ли не сладострастно съежившись перед Иримиашем. Госпожа Кранер вцепилась в своего мужа, да с такой силой, что тот иногда вынужден был шепотом одергивать свою благоверную. Госпожа Шмидт, побледнев, сидела за «служебным столиком» и время от времени проводила рукой по лбу, словно хотела стереть с него красные пятна и мягкие волны неудержимой гордости. Ну а госпожа Хоргош, в отличие от мужчин, которые — даже не понимая точного смысла всех этих туманных намеков — были исполнены ужаса от этой необузданно страстной речи, с язвительным любопытством выглядывала иногда из-за скомканного носового платка.

Да, конечно... я понимаю!.. Ситуация все же не так проста! Но прежде чем вы — ссылаясь на неодолимое давление обстоятельств и тиски беспомощности перед лицом фактов — решите снять с себя эти обвинения, вспомните на минуту опять об Эштике, неожиданная гибель которой вызвала среди вас такой переполох... Вы, друзья мои, можете заявить, что вашей вины тут нет... Но что вы сказали бы, поставь я перед вами такой вопрос: если вы неповинны, то как нам назвать несчастное дитя?.. Жертвой ни в чем не повинных людей? Нечаянной мученицей? Существом, потерпевшим от рук безгрешных?.. Ну, вот видите. Так что останемся при том мнении, что безгрешной была *она*, вы согласны? Но тогда... Если она была воплощенной невинностью, тогда получается... что виноваты вы, дамы и господа, все до единого! Друзья, вы можете опровергнуть это мое утверждение, если считаете его огульным!.. Но нет, вы почему-то молчите! А стало быть, вы со мною согласны. И это хорошо, это значит, что мы уже на пороге раскрепощающего признания... Ибо все вы теперь уже знаете, что́ случилось, а не только догадываетесь, не так ли? Я хотел бы, чтобы вы подтвердили это, все вместе, хором... Что, нет? Вы молчите, друзья мои? Ну конечно, конечно, я вас понимаю, это трудно, трудно даже теперь, когда уже все прояснилось. Ведь ребенка-то уже не вернешь, я так думаю! Но поверьте мне, наша цель в другом! Ибо силу нам может дать лишь способность взглянуть в лицо фактам! Чистосердечное признание — это, знаете ли, все равно что исповедь. Очищение души, раскрепощение воли и возможность вновь жить с поднятой головой! Вот о чем надо думать теперь, друзья! Господин корчмарь вскоре доставит гроб в город, мы же останемся здесь, с горестной памятью о трагедии на душе, но не обессилевшие, не беспомощные, не прячущиеся в трепете по углам — ибо честно признали свою вину; сокрушенные, но с открытым забралом встанем мы под взыскующие правды лучи правосудия... И больше уже колебаться не будем, ибо поняли, что смерть Эштике была наказанием и предостережением, была жертвой во имя нас, жертвой во имя вашего более справедливого будущего, дамы и господа...

На потухших невыспавшихся глазах заблестели слезы, по лицам при последних словах побежали волны пока еще неуверенного, осторожного, но неудержимого облегчения, там и тут раздавались короткие и как будто безличные вздохи, напоминающие мучительную одышку на знойной жаре. Ведь они уж давно, не один час беспрерывно ждали этой все разрешающей фразы об их «лучшем, более справедливом будущем», и теперь из их чуть было не разуверившихся глаз на Иримиаша излился поток доверия и надежды, веры и воодушевления, решимости и мало-помалу крепчающей воли...

И знаете, когда я думаю о том зрелище, что открылось нам на пороге корчмы в момент нашего прибытия, когда вы, друзья мои, пуская слюни, вповалку валялись без памяти на этих столах и стульях... оборванные и взопревшие... то, признаюсь, сердце мое обрывается, и я никогда не смогу осудить вас, ибо никогда не забуду увиденного. И всякий раз, когда кто-нибудь пожелает мне воспрепятствовать в деле, к которому меня предназначил Господь, я снова и снова буду вспоминать это зрелище. Ибо здесь мне дано было лицезреть неизбывную нищету обездоленных, тьму несчастных, отверженных, убогих, сирых и беззащитных, и в вашем сопении, храпе и стонах мне неизбежно слышался настоятельный зов о помощи, на который обязан я отвечать неустанно, до последнего издыхания, до тех пор, пока сам я не стану прахом... В этом зрелище я увидел особый знак, ибо единственной причиной, побудившей меня отправиться в путь, стало желание стать во главе нарастающего праведного протеста, требующего голов настоящих преступников... Друзья мои, мы прекрасно знаем друг друга, я для вас — открытая книга. Вам известно, что я странствую по свету уже годы и десятилетия, и я с горечью вижу, что за эти годы — невзирая на все посулы — за плотным покровом обмана и лживых слов так ничего и не изменилось... Нищета осталась нищетой, и те две добавочные ложки похлебки, которые мы получаем, означают, что за них мы лишаемся определенной порции кислорода. Должен сказать вам, что за минувшие полтора года... я понял одно: то, чем я занимался прежде, — полная ерунда... я должен оказывать помощь не в повседневных хлопотах, а найти куда более основательное решение... Вот почему, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, я решил, собрав несколько человек, создать образцовое хозяйство, которое обеспечит средствами к существованию и сплотит эту кучку отверженных, то есть... вы меня понимаете?.. Вместе с несколькими людьми, которым терять уже нечего, я создам небольшой островок, свободный от угнетения, где мы будем жить не в борьбе, а в согласии друг с другом и где каждый сможет ложиться спать, сознавая, что жизнь его протекает в изобилии и покое, в безопасности и достоинстве... А когда весть об этом разнесется по городам и весям, то, я знаю, подобные островки станут расти как грибы, и нас будет все больше и больше, и тогда то, что казалось вам беспросветным... твоя жизнь... и твоя... и твоя... неожиданно обретет перспективу... Дойдя в своих размышлениях до этого пункта, я понял, почувствовал, что этот план непременно должен осуществиться. И поскольку сам я из этих мест, здесь я родился, то именно здесь и хочу все это воплотить в жизнь. Вот почему я направился со своим помощником в усадьбу Алмаши, и вот почему мы сейчас с вами встретились, друзья мои... Если память не изменяет мне, главное здание там все еще в хорошем состоянии, да и с другими хозяйственными постройками особых сложностей не предвидится... Договор об аренде... за ним тоже дело не станет. Есть только одна большая проблема, но не стоит о ней говорить...

Вокруг Иримиаша поднялся взволнованный гул; он закурил сигарету и, закусив губу, задумчиво, мрачно уставился прямо перед собой. Морщины на лбу у него углубились. Петрина, сидевший у него за спиной, у печки, изнемогая от благоговения, вперил взгляд в «его гениальный затылок»... А затем, почти в один голос, Футаки и Кранер спросили: «А что это за проблема?»

Я полагаю, излишне вас этим обременять. Я знаю, что вы сейчас думаете, а почему бы не вам стать этими людьми... Нет, друзья мои, это никак невозможно. Мне нужны люди, которым действительно терять нечего и — главное! — которые не боятся риска... Потому что мой план — предприятие, несомненно, весьма рискованное. Если кто-нибудь, понимаете, дамы и господа, кто-нибудь станет вставлять мне палки в колеса, то... пиши пропало, мне придется пойти на попятную... Мы живем в сложные времена, я не могу сейчас лезть на рожон... я должен быть готов к тому, чтобы — если передо мной возникнет препятствие, которого я сейчас не могу одолеть — временно отступить... Но разумеется, только до первого благоприятного момента, когда можно будет продолжить начатое...

Теперь уже сразу с нескольких сторон послышался тот же самый вопрос: «Но что это за проблема такая? Ну а вдруг... все-таки... как-нибудь...»

Видите ли, друзья мои... Конечно, это не тайна, я мог бы вам и сказать о ней, только что это даст?.. В данный момент помочь вы наверняка не сможете... И потом, как я уже сказал, я с удовольствием поддержал бы вас, чтобы дела тут пошли на лад, но вы сами видите, что мой план сейчас требует от меня всей энергии, и к тому же, сказать по совести, поселок мне представляется безнадежным... Быть может, я мог бы помочь по отдельности... той или иной семье, подыскать... где-нибудь... какую-то работенку, которая позволит выжить... только сразу ничего не получится... это требует размышлений... Что? Хотите остаться вместе? Я вас понимаю, но что я могу для этого сделать?.. Что говорите? Ах, проблема? Ну да, я уже сказал, что не вижу резонов что-то скрывать от вас, только... Короче, все упирается в деньги, дамы и господа... ведь без гроша, сами знаете, ничего не сдвинется... арендная плата... расходы на регистрацию... реконструкция... инвестиции... ведь производство, оно, как известно, дело затратное... ну да все это сложно, не стоит в это сейчас вдаваться, друзья... Что вы сказали?.. Не понял... У вас?.. Но откуда?.. А, понимаю... За скот... Ну, это похвально...

Собравшихся охватило волнение; Футаки тут же вскочил, схватил столик и подтащил его к Иримиашу, затем сунул руку в карман, выхватил из него свою долю и, продемонстрировав деньги присутствующим, швырнул их на стол; в следующую минуту все последовали его примеру: сперва Кранеры, а затем, один за другим, остальные выложили свои деньги рядом с деньгами Футаки... Корчмарь с бледно-серым лицом взволнованно бегал вдоль стойки, иногда неожиданно останавливаясь и вставая на цыпочки, чтобы лучше видеть... Иримиаш устало потирал глаза, сигарета в его руке погасла. Немигающим взглядом смотрел он на Футаки, Кранера, Халича и Шмидта, директора школы и госпожу Кранер, которые, перебивая друг друга, восторженно уверяли его в своей решимости и готовности, указывая то на деньги, кучей лежавшие на столе, то на самих себя... Но вот он медленно поднялся, отошел к Петрине, встал рядом с ним и жестом призвал к тишине.

Друзья мои! Не скрою, ваш энтузиазм меня трогает... Но вы же не думаете это всерьез! Нет, нет! И не возражайте! Все это легкомысленно! Как вы можете... вот так вдруг... поддавшись внезапной идее... швыряться скромными денежками, добытыми тяжким трудом и нечеловеческими усилиями?.. Пожертвовать их на дело, сопряженное с большим риском?! Нет, друзья мои! Я весьма благодарен вам за столь трогательную самоотверженность, но увольте! Я не могу принять от вас деньги, полученные... я полагаю, за месяцы... даже так?.. за год подвижнических трудов!.. Как вы только додумались до такого? Ведь мой план полон нежданных препятствий! Подводных камней! Я должен считаться с возможным сопротивлением, которое на месяцы и даже на годы способно затормозить его реализацию! И вы хотите на это пожертвовать свое скромное, с таким трудом заработанное состояние? Вы предлагаете его мне, который только что объявил, что не может помочь вам... во всяком случае, в данный момент?! Нет, дамы и господа! На это я не пойду! Так что прошу вас собрать свои денежки и оставить их при себе! А мы как-нибудь обойдемся... Я не могу ставить вас под удар... Господин корчмарь, да остановитесь вы на минутку, прошу, принесите мне вина с содовой... Спасибо... Больше того! Надеюсь, никто не будет возражать, если я приглашу всю честную компанию на стаканчик вина... Прошу, господин корчмарь, да не мешкайте вы... Пейте... и размышляйте... Размышляйте, друзья мои... Вам нужно успокоиться и как следует все обдумать... Не надо рубить сплеча. Я... рассказал вам, о чем идет речь... Рассказал о том, что предприятие это рискованное... Поэтому окончательное решение вы можете принять, только взвесив все за и против... Подумайте о том, что эти деньги, заработанные тяжелым трудом, могут пропасть... и тогда вам придется... возможно... все начинать сначала... Стойте, Футаки, друг мой! Мне кажется, это уж перебор... Ну какой я... спаситель... Что вы, что вы, не надо меня смущать!.. А вот это уже точнее... с этим можно и согласиться, друг Кранер... да, заступник, это, конечно, правильнее... Как я вижу, переубедить вас мне не удастся... Хорошо, хорошо... все в порядке... Господа! Дамы!.. Минуточку внимания!.. Не забывайте, зачем мы здесь собрались нынче утром!.. Спасибо... Садитесь, прошу вас... Да... Пожалуйста... Благодарю вас, друзья мои... Благодарю!

Подождав, пока все рассядутся по местам, Иримиаш вернулся к своему стулу, остановился, откашлялся, умиленно развел руками, затем беспомощно опустил их и устремил в потолок свои лучезарно-голубые, подернутые поволокой глаза. Позади посельчан, с благоговением взиравших на него, расположились — теперь уже окончательно обособившись от других — члены семейства Хоргошей, нервозно и беспомощно переглядывающиеся друг с другом. Корчмарь со встревоженным видом стал обмахивать тряпкой стойку, поднос для печенья, стаканы, затем уселся на треногий табурет, но, как ни пытался он отвести глаза, высившаяся перед Иримиашем гора измятых купюр так и приковывала к себе его взгляд.

Итак, дорогие, любезные друзья мои... Что я могу сказать? Пути наши пересеклись случайно, но судьба пожелала, чтобы с этого часа мы с вами оставались вместе, составляя единое целое... Хоть я и опасаюсь, дамы и господа, вашей возможной неудачи, но все же признаюсь, что... мне приятно ваше доверие... приятна... ваша любовь, которой я недостоин... Однако не забывайте, кому мы этим обязаны! Не забывайте! Давайте ежеминутно помнить, какой ценой нам это досталось! Какой ценой! Дамы и господа! Я надеюсь, вы все согласитесь со мной, если я предложу небольшую часть лежащей передо мной суммы выделить на оплату похорон, дабы освободить от этого бремени несчастную мать и выразить признательность ребенку, который, вне всяких сомнений, уснул вечным сном ради нас... или из-за нас... Ибо, в конце концов... невозможно решить, случилось ли это ради нас или из-за нас... Мы не можем сказать тут ни да ни нет... Но вопрос этот навеки останется в нашей душе, как и непреходящая память о бедной девочке, которой, быть может, пришлось погибнуть... чтобы наша звезда наконец начала восходить... Как знать, друзья мои... Но ежели это правда, то жизнь обошлась с нами беспощадно.

### V. Перспектива, вид спереди

Даже годы спустя госпожа Халич настаивала на том, что когда Иримиаш, Петрина и начиная с этого дня окончательно присоединившееся к ним «адово отродье» скрылись на тракте, ведущем в город, за пеленой сеющегося дождя, а они еще долго безмолвно стояли перед корчмой, всматриваясь в резкие очертания фигуры их благодетеля, неожиданно в воздухе над их головами — непонятно откуда взявшись — запорхали яркие райские бабочки, а сверху, отчетливо различимые, зазвучали мягкие звуки ангельской музыки. И хотя в этом убеждении никто ее особенно не поддерживал, можно с уверенностью сказать, что именно с этого момента они по-настоящему глубоко уверовали в то, что произошло; только теперь им стало окончательно ясно, что они не пленники сладкого, завораживающего, но коварного сна, пробуждение от которого может быть очень горьким, а восторженные избранники давно выстраданной ими свободы, ибо до тех самых пор, пока Иримиаш, отдав напоследок четкие распоряжения и попрощавшись несколькими ободряющими словами, не скрылся из виду, страх, что в любую минуту может произойти нечто непоправимое, что обратит хрупкую их победу в страшную панику, вызванную внезапным отказом, постоянно гасил тлеющий жар их воодушевления. Поэтому в мучительно долго тянувшееся время между заключением соглашения и расставанием — всего лишь до ночи — они страстно, перебивая друг друга, лукаво отвлекали внимание Иримиаша жалобами то на превратности местной погоды, то на мучения, причиняемые их членам подагрой, то на падение качества бутылочного вина и жизни в целом. Можно было понять, почему они только теперь смогли облегченно вздохнуть — ведь Иримиаш был источником не только их будущего, но и возможной осечки, так что неудивительно, что только после его ухода они поверили в то, что отныне «все пойдет как по маслу»; только теперь пришло время всецело предаться радости, взявшей верх над страхом, пьянящему ощущению легкости и нежданной свободы, перед которым «вынужден отступить даже кажущийся неодолимым злой рок». Их безоблачное настроение стало еще веселей, когда они, помахав на прощание («Так и надо тебе, старый жмот!» — крикнул Кранер), оглянулись на корчмаря, который со скрещенными на груди руками, изможденный, с кругами под глазами, прислонился к дверному косяку, наблюдая за удаляющейся процессией радостно болтающих посельчан, ну а когда он преодолел мучительные порывы ярости, испепеляющей ненависти и беспомощности, то способен был лишь проорать им вслед вне себя от злости: «Чтоб вы сдохли, подлые и неблагодарные твари!» Ибо тщетно он на протяжении бессонной ночи, перебирая всевозможные ухищрения, строил все новые и новые планы, как ему наконец-то избавиться от Иримиаша, который вдобавок бесцеремонно вытурил его из собственной постели, и пока он с налитыми кровью глазами обдумывал, зарезать ли его, задушить, отравить или просто изрубить на куски топором, эта «крючконосая мразь», не обращая на него никакого внимания, сладко храпела в глубине кладовой; так же тщетны были и разговоры, не приведшие ни к чему, хотя он предпринял все, чтобы — то сердито, яростно, угрожающе, то прося, даже умоляя — отговорить «этих недоумков» от несомненно гибельного для всех них плана; он мог распинаться сколько угодно («Да опомнитесь, вашу мать! Неужто не видите, что он вас водит за нос?»), все было им нипочем, и ему не осталось ничего другого, как, проклиная весь белый свет, с горечью осознать, что, к стыду своему, он разорен, окончательно и бесповоротно. После всего случившегося — «не оставаться же здесь ради одного забулдыги да старой шлюхи!» — придется ему сматывать удочки и перебираться до весны на городскую квартиру, а затем попытаться как-то избавиться от корчмы и, возможно... даже и с пауками что-нибудь предпринять. «Например, предложить их, — блеснул у него в голове луч надежды, — для научных экспериментов, кто знает, может, и выручу что за них... Но это, — признал он с тоской, — капля в море... Правда в том, что придется мне все начинать сначала». Глубже его отчаяния было только злорадство госпожи Хоргош, которая, проследив с кислой миной за «этой дурацкой церемонией», вернулась после отбытия Иримиаша в корчму и насмешливо поглядывала теперь на хозяина, удрученно сгорбившегося за стойкой: «Ну вот видите. Зарвались вы. Пеняйте теперь на себя». Корчмарь не пошевелился, хотя с удовольствием пнул бы ее ногой. «Так оно и бывает. Нынче густо, а завтра пусто. Я всегда говорила, что самое милое дело — сидеть тихо и не высовываться. И к чему вы пришли? У вас и шикарный дом в городе, и барыня-жена, и машина, но ведь вам все мало. Вот вы и прогорели». — «Ну чего тут раскаркались, — зарычал на нее корчмарь. — Ступайте домой, там и каркайте». Госпожа Хоргош допила пиво и закурила: «Муж у меня был такой же шебутной, как вы. И того ему не хватало, и этого. А когда спохватился, то было уж поздно. Пришлось брать веревку — и на чердак». — «Ну, будет уже меня распекать! Вы бы лучше за дочками присмотрели, а то, чего доброго, тоже сбегут!» — «Кто, эти? — осклабилась госпожа Хоргош. — Вы думаете, я белены объелась? Я заперла их дома, и будут сидеть там, пока поселковые отсюда не уберутся. Ну а как же? Подумайте сами. А то они меня тут одну оставят на старости лет. Будут землю мотыжить, поблядовали, и хватит. Ничего не поделаешь, привыкать придется. Одного только Шани я отпустила. Пусть уходит. Дома-то от него все равно толку нет. Жрет как боров, не напасешься. Пусть проваливает куда глаза глядят. По крайней мере, одной заботой меньше». — «Вы с Керекешем можете поступать как хотите, — проворчал корчмарь. — А мне карачун пришел. Эта крысиная рожа меня окончательно разорила». Он знал, что вечером, когда закончит паковать вещи и уже ни сзади, куда он пристроит гроб, ни на сиденьях больше ничего не поместится, он тщательно запрет все окна и двери и, чертыхаясь, погонит свою развалюху «Варшаву» в город, погонит как можно быстрее, не оглядываясь, чтобы, избавившись поскорее от гроба, попытаться забыть об этой проклятой корчме в надежде, что она провалится в тартарары, что ее поглотит земля и на ее месте не будут останавливаться даже бродячие псы, чтобы зарыть там свои экскременты; точно так же и по той же причине не оглянутся на поселок и его обитатели, чтобы бросить прощальный взгляд на замшелую черепицу крыш, покосившиеся дымоходы и забранные железными решетками окна, потому что, дойдя до таблички с неактуальным уже названием поселения, почувствуют, что их «блестящие перспективы» не только сменяют, но и начисто отменяют прошлое. Они договорились встретиться у машинного зала самое позднее через два часа, потому что хотели добраться до усадьбы Алмаши еще засветло, и вообще им казалось, что для сбора самых необходимых вещей этого времени будет вполне достаточно, а тащить на себе за десять или двенадцать километров всякое прочее барахло было глупо, тем более что они знали: на новом месте они не будут испытывать недостатка ни в чем. Госпожа Халич вообще предложила отправиться в путь немедленно, не брать ничего с собой и начать новую жизнь, так сказать, в евангельской бедности, ведь «наивысшая милость нам уже дарована — у нас есть Библия»; но остальные — и главным образом Халич — в конце концов убедили ее, что самые важные личные вещи желательно взять с собой. Взволнованные, они разошлись по домам и принялись лихорадочно упаковывать вещи. Все три женщины сперва выгребли все из платяных шкафов и кухонных буфетов, после чего взялись за съестные припасы, в то время как Шмидт, Кранер и Халич в первую очередь отбирали самые необходимые инструменты, а затем придирчиво осмотрели все помещения, чтобы в них из-за женской небрежности чего доброго не оставить что-нибудь ценное. Проще всего было двум холостякам, для пожитков каждому хватило двух больших чемоданов. В отличие от директора школы, который паковал вещи быстро, но педантично, стремясь «как можно рациональней использовать имеющееся в его распоряжении место», Футаки торопливо пошвырял свое барахло в потертые, унаследованные еще от отца чемоданы и молниеносно защелкнул замки, словно загнав злого джинна обратно в бутылку; затем, водрузив один чемодан на другой, он уселся на них и дрожащими руками закурил. Сейчас, когда больше ничто не указывало на его присутствие, когда помещение, освобожденное от его вещей, казалось холодным и голым, у него возникло такое чувство, будто вместе с вещами исчезли все знаки, свидетельствовавшие о том, что эта крохотная частичка мира когда-то принадлежала ему. И хотя его ожидали дни, недели, месяцы, а может, и годы, исполненные надежд, ведь ему было совершенно ясно, что судьба наконец-то направила его жизнь к тихой гавани, сейчас, сидя на чемоданах в этом темном, продуваемом сквозняками затхлом помещении (о котором он больше не мог сказать, вот, мол, здесь я живу, как не мог ответить и на вопрос: ну а где же тогда?), Футаки со все большим трудом подавлял в себе вдруг нахлынувшую на него удушающую тоску. Изувеченная нога заныла, поэтому, встав с чемоданов, он осторожно прилег на панцирную кровать. Он задремал, но тут же в испуге проснулся и попытался вскочить, но так неловко, что больная нога застряла между краем кровати и сеткой и он едва не свалился на пол. Чертыхнувшись, Футаки снова лег, положил ноги на спинку кровати и какое-то время печальным взором блуждал по растрескавшемуся вдоль и поперек потолку. Затем, опираясь на локоть, он окинул взглядом пустынное помещение. И тут понял, почему он не может решиться покинуть его, ведь он только что сокрушил то единственное, в чем можно было не сомневаться, и теперь у него ничего не осталось; и как раньше ему было страшно здесь оставаться, так теперь он не смел уйти, потому что, окончательно уложив вещи, он как бы изъял себя из некоего пространства, просто-напросто поменял старую западню на новую. До сих пор он был пленником поселка и машинного зала, а теперь стал невольником неизвестной угрозы; и если до этого он страшился того, что настанет день, когда он не сможет открыть эту дверь и когда окно не будет уже пропускать ни единого лучика света, то теперь, когда он обрек себя на участь раба вечного воодушевления, он может лишиться и этого. «Еще минута, и я пойду», — дал он себе небольшую отсрочку и нащупал рядом с кроватью пачку сигарет. Он с горечью вспомнил слова Иримиаша, сказанные у дверей корчмы («Отныне, друзья мои, вы свободные люди!»), поскольку в эту минуту чувствовал себя кем угодно, только не свободным: он никак не решался отправиться в путь, хотя время его подгоняло. Футаки закрыл глаза и попытался представить свою будущую жизнь, чтобы как-нибудь снять излишнее беспокойство; но вместо этого его охватило такое волнение, что лоб покрыла испарина. И напрасно насиловал он свое воображение — перед его глазами вновь и вновь вставала одна и та же картина: в своем видавшем виды пальто, с драной заплечной торбой, он изможденно бредет под дождем по тракту, затем останавливается и неуверенно поворачивает назад. «Ну уж нет! — решительно прорычал он. — Хватит, Футаки!» Он спустился с кровати, заправил рубашку в брюки, надел свое старенькое пальто и связал ремнем ручки двух чемоданов. Вынеся чемоданы на улицу, он поставил их под навес, а затем — поскольку вокруг не заметно было никакого движения — отправился поторопить остальных. Он хотел уже постучаться в дверь к Кранерам, жившим ближе всего к нему, когда из дома послышался металлический звон, потом оглушительный грохот, как будто в доме рухнуло что-то тяжелое. Футаки отступил назад, потому что подумал, будто стряслась беда. Но когда он снова решил постучать, то явственно различил заливистый смех госпожи Кранер, а потом... о каменный пол разлетелась тарелка... или, может, большая кружка. «Что они вытворяют там?» Он подошел к окну кухни и, приставив ладони к лицу, заглянул внутрь. В первое мгновение он не поверил своим глазам: Кранер поднял над головой десятилитровую кастрюлю и со всей силы швырнул ее в кухонную дверь, тем временем госпожа Кранер срывала занавески с окна, выходящего на задний двор, после чего, сделав предостерегающий знак запыхавшемуся Кранеру, отодвинула от стены пустой буфет и мощным толчком опрокинула его. Буфет с грохотом рухнул на пол, одна его стенка оторвалась, а остальные принялся крушить ногами Кранер. Его жена, забравшись на кучу обломков, образовавшуюся посреди кухни, одним рывком сорвала с потолка жестяной абажур и раскрутила его над собой. Футаки едва успел пригнуться, абажур, пробив оконное стекло, пролетел над его головой и, прокатившись несколько метров по земле, остановился под ближайшим кустом. «Это еще кто такой?» — воскликнул Кранер, когда ему наконец удалось осторожно открыть окно. «Боже мой!» — взвизгнула за его спиной госпожа Кранер. Причитая, она смотрела, как Футаки, чертыхаясь и опираясь на палку, тяжело поднимается на ноги и начинает отряхиваться от осколков стекла. «Вы не порезались?» — «Я за вами пришел, — проворчал раздраженно Футаки. — Но если бы знал, какой меня ожидает прием, то остался бы дома». С Кранера градом катился пот, и как он ни старался, у него никак не получалось стереть со своего лица следы только что бушевавшей на нем жажды разрушения. «Так не надо подглядывать! — натянуто ухмыльнулся он Футаки. — Ну, заходите, коль сможете, выпьем за примирение!» Футаки кивнул, сбил с сапог грязь, и к тому времени, когда ему удалось пробраться через осколки большого зеркала, помятый масляный радиатор и разбитый вдребезги платяной шкаф в прихожей, Кранер уже успел налить три стакана. «Ну, как вам? — с довольным видом остановился он перед Футаки. — Красивая работа?» — «Да уж, ничего не скажешь», — согласился тот и чокнулся с Кранером. «Ну а что? Не цыганам же оставлять добро! Уж лучше пускай пропадает!» — пояснил Кранер. «Понятно», — неуверенно произнес Футаки, поблагодарил за палинку и быстро попрощался. Преодолев грунтовку, отделявшую друг от друга два ряда домов, он направился к Шмидтам, где повел себя осмотрительней и сперва заглянул в окно. Однако здесь ему уже ничто не грозило — все лежало в руинах, а Шмидт с женой, отдуваясь, сидели на перевернутом буфете. «С ума посходили все? Что это на них нашло?» Он постучал в окно и жестом показал смущенно уставившемуся на него Шмидту, чтобы поторопились, пора уже отправляться; затем он двинулся к калитке, но через несколько шагов остановился, заметив, что директор школы, осторожно перебравшись через дорогу, направляется во двор Кранеров и украдкой заглядывает в разбитое окно; потом — все еще полагая, что его никто не видит (Футаки прикрывала калитка Шмидтов) — директор бросился к своему дому и сперва неуверенно, а затем все смелее стал хлопать входной дверью. «На этого тоже нашло? Тут что, все свихнулись?» — недоуменно подумал Футаки, вышел со двора Шмидтов и стал медленно приближаться к дому директора. Тот с нарастающей яростью, словно желая себя распалить, хлопал дверью, а затем, видя тщетность своих усилий, сорвал дверь с петель, отступил на пару шагов и с размаху шарахнул ею об стену. Но дверь все еще была цела, и тогда он вскочил на нее и принялся бешено колотить ногами, пока не разнес ее в щепки. Если бы он не обернулся случайно назад и не увидел ухмыляющегося Футаки, то, надо думать, принялся бы затем за мебель, которая наверняка еще оставалась в доме; но, заметив свидетеля, он сильно смутился, поправил на себе серое драповое пальто и неуверенно улыбнулся Футаки: «Вот видите...» Но Футаки не произнес ни слова. «Сами знаете, как оно бывает. И потом...» Футаки пожал плечами: «Понятно. Я просто хотел узнать, готовы ли вы. Остальные уже все закончили». Директор откашлялся: «Я? Ну, можно считать, что я тоже готов. Осталось только погрузить чемоданы в тележку Кранера». — «Хорошо. Думаю, вы договоритесь». — «Да уж договорились. Два литра палинки с меня взял. В другом случае я бы еще подумал, но сейчас, перед такой дорогой...» — «Понимаю. Оно того стоит», — успокоил его Футаки и, попрощавшись, направился к машинному залу. Директор, словно только и ждал, когда Футаки отойдет, на прощание смачно плюнул через дверной проем в прихожую и, схватив обломок кирпича, запустил им в кухонное окно. А когда Футаки резко обернулся на звон стекла, он принялся отряхивать от пыли пальто и, словно ничего не произошло, стал озабоченно ковыряться в груде обломков. Спустя полчаса посельчане стояли уже у машинного зала, готовые двинуться в путь. У всех, за исключением Шмидта (который отвел Футаки в сторону и попытался объяснить случившееся: «Понимаешь, приятель, мне такое и в голову не пришло бы. Просто вдруг со стола упала кастрюля, ну а дальше само пошло»), раскраснелись лица и поблескивали глаза, выдавая удовлетворение тем, что «прощание удалось на славу». На двухколесной тележке Кранеров, кроме чемоданов директора, поместилась еще и добрая часть пожитков Халичей, а у Шмидтов имелась своя тележка, так что можно было не опасаться, что из-за обилия скарба их движение слишком замедлится. Все было готово, и они могли бы уж двинуться в путь, но не было никого, кто отдал бы команду. Каждый ждал, что это сделает другой, так они и стояли, безмолвно и в нарастающем смущении глядя на поселок, ибо теперь, в момент расставания, они чувствовали, что «все-таки надо бы что-то сказать», какие-то слова прощания «или что-то подобное», причем все рассчитывали на Футаки, но к тому времени, когда он нашел подобающие «довольно торжественные» слова, несколько затушевывающие впечатление от так и не понятого им бессмысленного погрома, потерявший терпение Халич ухватился за рукоятки тачки и крикнул: «Н-но!» Кранер впрягся в свою тележку спереди, задавая процессии направление, его жена и госпожа Халич поддерживали поклажу с боков, чтобы от тряски не свалилась какая-нибудь сумка или кошелка; за ними, толкая тачку, шел Халич, а замыкали шествие Шмидты. Они выехали из главных ворот вымершего поселка; долгое время слышен был только скрип колес ручных тележек и тачки, ибо кроме госпожи Кранер — которая не могла выдержать столь продолжительного молчания и время от времени комментировала состояние, в котором пребывали наваленные на их тележку вещи, — никто не осмеливался нарушить тишину. Ведь было не так-то просто привыкнуть к тому смятению, к странной смеси энтузиазма и беспокойства, связанного с неизвестностью, которые только усугубляли тревогу по поводу того, удастся ли выдержать после двух бессонных ночей все тяготы продолжительного пути. Но это длилось недолго, ибо всех успокоило, что вот уже несколько часов дождь только накрапывал, и ухудшения не предвиделось и позднее, а с другой стороны, им было все труднее сдерживать в себе слова облегчения и восторга от собственной героической смелости, которые не может долго обуздывать ни один человек, отправившийся на поиски приключений. Кранер готов был исторгнуть восторженный вопль уже тогда, когда они вышли на тракт и двинулись в направлении, ведущем от города к усадьбе Алмаши, ведь в этот момент закончилась десятилетняя череда мучений, за которые он отомстил миру полчаса назад, — но, видя, с каким удрученным видом бредут за ним его спутники, он сдержался и не выказывал своих чувств до тех пор, пока они не достигли бывших владений Хохмайса: тут он уже не мог скрывать дальше веселое настроение и радостно возопил: «Мать вашу так-растак! Конец горемычной жизни! Нам удалось! Люди! Братцы мои! Нам все-таки удалось!» Остановив тележку, он повернулся лицом к остальным и, хлопая себя по ляжкам, снова заорал: «Вы слышите, братцы?! Конец нищете! Вы способны это понять? Эй, жена, до тебя доходит?!» Он подскочил к госпоже Кранер, подхватил ее будто ребенка и стремительно закружился с ней, а когда выдохся, опустил на землю и бросился ей на шею, приговаривая: «Я всегда говорил, я всегда говорил!» Тут прорвало и остальных: первым бойко затараторил Халич, который, честя на чем свет стоит небо и землю, повернулся к поселку и грозно потряс кулаком, затем Футаки подошел к широко улыбающемуся Шмидту, но от растроганности смог только проговорить: «Эх, приятель...», а школьный директор с энтузиазмом стал объяснять госпоже Шмидт («Вот и я говорил, никогда не надо терять надежды! Надо верить, до последнего вздоха! А иначе что с нами было бы? Ну скажите — что?»), но та — с трудом выдерживая этот внезапный приступ безумной радости — ответила ему неопределенной улыбкой, дабы не привлекать внимания остальных; госпожа Халич, возведя глаза к небу, истово бормотала молитву, начинающуюся словами «Благословенно имя Твое», до тех пор, пока дождь, падавший ей на лицо, не вынудил ее опустить голову — к тому же она понимала, что не может перекричать «этот безбожный гвалт». «Люди! — воскликнула госпожа Кранер. — За это надо выпить!» И вытащила из баула пол-литровую бутылку. «Мать честная! Да вы подготовились к новой жизни!» — обрадовался Халич и быстро пристроился за спиной Кранера, чтобы очередь поскорее дошла до него; но бутылка переходила от одного рта к другому безо всяких правил, и когда Халич спохватился, жидкость уже едва булькала на ее донышке. «Не печальтесь, Лайош! — шепнула ему госпожа Кранер и ободряюще подмигнула. — Подождите, будет еще!» С этого момента Халича будто подменили: он так легко погнал тачку по дороге, словно она была пустой, и несколько успокоился, лишь когда через пару сотен метров укоризненно посмотрел на госпожу Кранер, но та охладила его пыл взглядом, означавшим «еще не время...». Радость Халича, конечно, приободрила и остальных, поэтому — хотя то и дело приходилось поправлять кошелки и сумки на вершине тележек — продвигались они неплохо: вскоре остался позади мостик через старый оросительный канал, и вдали уже показались огромные мачты высоковольтной линии с болтавшимися между ними провисшими проводами. К перескакивающему с пятое на десятое разговору иногда подключался и Футаки, хотя ему идти было тяжелее, чем остальным, потому что шагать с ними в ногу ему мешали тяжелые чемоданы, которые он тащил на себе (Кранер и Шмидт неоднократно пытались пристроить их на тележку, но все их старания были тщетны), а кроме того, он должен был прилагать особые усилия, чтобы не отстать из-за своей хромоты. «Хотел бы я знать, что с ними будет?» — задумчиво заметил он. «С кем?» — спросил Шмидт. «Ну, с Керекешем, например». — «С Керекешем? — обернувшись к ним, крикнул Кранер. — Нашли о ком беспокоиться! Вчера он спокойно вернулся домой, упал на кровать, и если она под ним не рухнула, то, я думаю, проснется он только завтра. Потом поворчит у корчмы и поплетется к Хоргош. Они ведь с ней два сапога пара». — «Это уж точно! — подхватил Халич. — Назюзюкаются как следует, их ведь больше ничто не интересует! До всего остального им дела нет! Эта Хоргош вон даже траур на следующий день сняла...» — «Да, кстати, — перебила его госпожа Кранер, — а как там наш Келемен знаменитый? Он так быстро смотался, что я даже не заметила». — «Келемен? Мой драгоценный приятель? — обернувшись, осклабился Кранер. — Да он еще вчера в полдень слинял. Не повезло бедолаге, хе-хе! Сперва на меня нарвался, а потом, дурак, к Иримиашу прицепился. Только он не на того напал, Иримиаш не стал с ним цацкаться, а сразу послал его куда следует, когда тот начал ему заливать, что так, мол, и этак, и он знает, что тут надо делать, всю эту банду упрятать в тюрягу, а сам он заслуживает особого отношения со стороны Иримиаша, ну и тому подобное! В общем, удрал он, только его и видели! Думаю, что его сгубило то, что он начал под носом у Иримиаша своей повязкой дружинника размахивать, ну, тот ему и сказал, чтобы этой повязкой он себе жопу подтер, простите за выражение». — «Да я тоже не в восторге от этого идиота, — заметил Шмидт. — Зато от телеги его я бы не отказался». — «Это верно. Да только что бы мы делали с ним? Он только и знает, что всех задирать». Госпожа Кранер внезапно остановилась: «Стойте, стойте!» Кранер испуганно притормозил тележку. «Черт возьми, вот голова-то моя дырявая!» — «Да в чем дело? — прикрикнул на нее Кранер. — Что с тобой?» — «Доктор». — «Что доктор?» Наступило молчание. Шмидт тоже остановил тележку. «Ну... — запинаясь, начала она, — так я же... я ни единым словом ему не обмолвилась! Как же так?!» — «Да полно тебе, жена! — недовольно сказал ей Кранер. — Я уж думал, случилось что. Чего ты о нем беспокоишься?» — «Наверняка он пошел бы с нами. Он ведь там пропадет один. Я знаю его, как не знать после стольких лет? Он уже все равно что ребенок. Не поставишь перед ним еду, так он и помрет с голоду. А его палинка! Сигареты! Грязное белье! Да его крысы сожрут через две недели!» На эти слова с раздражением отозвался Шмидт: «Не надо здесь из себя героиню строить! Если так уж болит по нему душа — возвращайтесь! А я по нему не скучаю. Ни капельки! Но по-моему, он и сам рад, что больше не видит нас...» Тут вмешалась и госпожа Халич: «Верно вы говорите! Лучше поблагодарим Господа, что этого выродка преисподней нет с нами! Я давно поняла, что он с сатаной водится!» Воспользовавшись остановкой, Футаки закурил и предложил остальным. «Вот ведь странно, — задумчиво произнес он. — Неужели он ничего не заметил?» Подала голос и госпожа Шмидт, до тех пор молчавшая. «Да он все равно что крот, — сказала она, подойдя поближе. — Даже хуже. Крот-то хоть иногда голову на поверхность высовывает. А доктор, кажется, решил себя заживо схоронить. Я его уже несколько недель не видела...» — «Да будет вам! — радостно крикнул Кранер. — Он там чувствует себя замечательно. Каждый день напивается, а потом храпит, других дел у него и нету. И нечего его тут оплакивать! Мне бы такое наследство, какое он получил от матери! И вообще, хватит тут околачиваться! Идемте, а то мы так никогда не доберемся!» Но Футаки все же не успокоился. «День-деньской сидит у окна. Как он мог ничего не заметить? — тревожно подумал он и, опираясь на палку, двинулся вслед за Кранерами. — Там стоял такой гвалт, что нельзя было не услышать. Беготня, скрип колес, вопли... Хотя все возможно. Нельзя исключить, что он все проспал. В конце концов, госпожа Кранер виделась с ним позавчера, и тогда с ним все было в порядке. И вообще, Кранер прав, каждый должен заниматься своими делами. Если он хочет подохнуть там, пускай подыхает. А впрочем... готов биться об заклад, что через пару дней, услышав о том, что произошло, он подумает да и отправится вслед за нами. Без нас он уже не может». Пока они миновали следующие пятьсот или шестьсот метров, дождь зарядил сильнее. Посельчане, ворча, продолжали путь; облетевшие акации по обеим сторонам дороги попадались все реже, словно сама жизнь вокруг медленно иссякала. А поодаль, на заболоченных полях, не было и того: ни деревца, ни ворон. На небе уже показалась луна — ее бледный диск едва просвечивал сквозь хмурую пелену неподвижных туч. Час спустя стало ясно, что уже смеркается, а затем неожиданно наступила ночь, да к тому же на всех, тоже неожиданно, навалилась усталость: когда они проходили мимо обшарпанного жестяного распятия за околицей Чюда и госпожа Халич предложила немного передохнуть (да прочесть «Отче наш»), ее идею с гневом отвергли, понимая, что стоит им только остановиться, и они уже вряд ли продолжат путь. Напрасно пытался Кранер развеселить своих спутников, припоминая разные забавные случаи («А помните, как жена корчмаря расколотила деревянную ложку о мужнину голову...» или «А когда Петрина насыпал соли под хвост рыжей кошке...»), те не только не оживились, но про себя принялись укорять Кранера за то, что не закрывает рта. «И вообще! — бушевал Шмидт. — Кто сказал ему, что он тут главный? С какой стати он тут командует? Ничего, вот пожалуюсь Иримиашу, он рога ему обломает! Уж больно раздухарился в последнее время...» А когда несдающийся Кранер предпринял очередную попытку поднять настроение («передохнем минутку! Да выпьем по глоточку! Тут каждая капля — чистое золото, это не из нашей корчмы!»), то они прикладывались к бутылке с таким озлоблением, будто Кранер до этого прятал ее от них. Футаки тоже не выдержал: «Ишь, весельчак какой! Хотел бы я посмотреть, как бы ты веселился, если бы тебе самому пришлось с хромой ногой тащить эти два чемодана...» — «А ты думаешь, мне легко с этой чертовой колымагой? — вспылил Кранер. — Только и думаешь, как бы она не рассыпалась на этой сраной дороге!» Он обиженно замолчал и с этой минуты ни с кем больше не разговаривал, а впрягшись в тележку, смотрел только себе под ноги. Госпожа Халич принялась про себя костерить госпожу Кранер, поскольку была почти уверена, что та прохлаждается по ту сторону тележки; Халич, глядя на стертые в кровь ладони, проклинал Кранера и Шмидта, которым, «конечно, легко трепать языком...». Но главным бельмом на глазу у всех была, разумеется, госпожа Шмидт, поскольку теперь уже невозможно было не замечать, что она хранит молчание с самого начала пути, даже «нет, если хорошенько подумать, — мелькнуло одновременно и у госпожи Кранер, и у Шмидта, — ее голоса почти не слышно с тех самых пор, как вернулся Иримиаш...». «Подозрительна мне эта госпожа Шмидт, — продолжала размышлять госпожа Кранер. — Что-то гложет ее! Может, больна? Только не... Да нет. Она не такая дура. Наверняка Иримиаш что-то сказал ей, когда зазвал ее вчера вечером к себе в кладовую... Но что ему от нее понадобилось? Ну конечно, все знают, что было между ними в свое время... Но когда это было? Сколько лет уж прошло...» — «Этот Иримиаш совсем ей голову закружил, — беспокойно думал Шмидт. — Как она на меня посмотрела, когда госпожа Халич явилась с известием!.. Прямо пронзила взглядом! Может, она влюби... А, нет. В таком возрасте уже головы не теряют. Ну а если... все-таки? Вроде должна бы знать, что я тут же сверну ей шею! Нет, на это она не пойдет! И вообще, не думает же она, будто Иримиаш спит и видит ее в своих объятиях! Это смешно! Она же воняет, как хрюшка, хотя и одеколонится целыми днями. Очень нужна она Иримиашу! У него баб и так полно, одна лучше другой, на что ему эта курица деревенская! Нет, конечно... Но тогда почему у нее блестят глаза? Эти ее глазищи телячьи?.. А как она вертела хвостом перед Иримиашем, чтоб ей ни дна ни покрышки! Хотя она ведь вертит хвостом перед кем угодно, лишь бы мужик был... Но ничего, я ее отучу от этого! Если ей было мало того, что уже получила, то я добавлю, за мной не станет! Я ее приведу в чувство, это как пить дать! Да чтоб в этом гребаном мире не осталось ни одной сисястой шалавы!» Футаки становилось все труднее поспевать за другими, ремни до крови натерли плечо, кости ломило, и когда его искалеченную ногу снова пронзила боль, он сильно отстал от других; но те ничего не заметили, даже Шмидт наплевал на него, только крикнул: «Ну что там такое! Мы и так еле тащимся, а тут еще ты тормозишь!» Поскольку Шмидт все больше и больше злился на Кранера за то, что тот «разыгрывает из себя босса», он рявкнул на госпожу Шмидт, чтобы та не отлынивала, собрал последние силы и зачастил своими короткими ножками. Вскоре он поравнялся с тележкой Кранеров и возглавил процессию. «Давай, давай, чеши! — злобствовал про себя Кранер. — Посмотрим, кто дольше выдержит!» Халич издал жалобный стон: «Ох, братцы... Да не бегите вы так! Я себе ноги сбил в этих чертовых сапогах, каждый шаг — настоящая пытка!» — «Не скули! — гневно одернула его госпожа Халич. — Чего раскудахтался? Лучше покажи им, что ты не только в корчме герой!» Пришлось Халичу стиснуть зубы и поспешать вслед за Шмидтом и Кранером, которые все более ожесточенно боролись за первенство, пытаясь обогнать друг друга, так что во главе отряда попеременно оказывался то один, то другой. А Футаки по этой причине все больше отставал от процессии, и когда расстояние между ним и другими увеличилось до двухсот метров, он уже не пытался догнать их. В голове у него возникали все новые планы, как сделать так, чтобы было легче тащить тяжелеющие с каждой минутой чемоданы, но как бы он ни поправлял на себе ремни, мучения его не кончались. Наконец он решил больше не терзаться и, выбрав на обочине акацию со стволом потолще, свернул с дороги и как был, вместе с чемоданами, рухнул в грязь. Привалившись спиной к стволу, он какое-то время жадно глотал воздух, затем скинул с себя ремни и вытянул ноги. Сунув руку в карман, он хотел было закурить, но сил не было даже на это. Его неожиданно сморил сон. Очнулся он оттого, что захотел помочиться; он кое-как поднялся, но все члены его так затекли, что он тут же повалился обратно и лишь со второй попытки сумел удержаться на ногах. «Какие же мы идиоты... — вслух прорычал он и, закончив мочиться, сел на чемодан. — Не послушались Иримиаша! Говорил он нам, чтобы не спешили пока с этим переселением, а мы что? Сегодня же! Сегодня же вечером! И пожалуйста! Сижу тут в грязи, полумертвый от усталости... Как будто не все равно, сегодня, завтра или через неделю... А может, Иримиаш нам грузовик раздобыл бы! Но нам же не терпится! Сию минуту... немедленно!.. Особенно Кранеру! Ну да ладно. Теперь уже поздно каяться. Осталось не так уж много». Он все же вытащил сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Ему несколько полегчало, хотя голова все еще кружилась и ныла. Он вытянул и помассировал истерзанные конечности и стал ковырять палкой землю перед собой. Смеркалось. Дорога была уже еле видна, но Футаки был спокоен: сбиться с пути он не мог, ведь дорога заканчивалась у усадьбы Алмаши, к тому же несколько лет назад он частенько туда наведывался, потому что в то время усадьбу использовали как кладбище железного лома, и одна из его обязанностей состояла в том, чтобы доставлять пришедшие в негодность списанные плуги, бороны и бог знает какой еще хлам в строение, которое уже и тогда дышало на ладан. «А все-таки, если разобраться, есть во всем этом что-то очень странное... — вдруг подумал он. — Ну, во-первых... эта усадьба. Конечно, когда-то, еще в графские времена, она выглядела довольно прилично. Но теперь? Когда я был там в последний раз, комнаты заросли бурьяном, черепицу с башни сорвало ветром, и не то что дверей, даже окон не было, а в полу кое-где зияли такие дыры, что можно было в подвал заглянуть... Оно конечно, мое дело маленькое... Иримиаш — начальник, он знает, почему присмотрел именно эту усадьбу! Может быть... она тем и хороша, что чертовски далеко от всего... Ведь поблизости нет ни хутора, ничего... Кто знает. Всякое может быть». В такую сырую погоду ему не хотелось экспериментировать с тяжело зажигающимися спичками, поэтому он прикурил вторую сигарету от еще тлеющего окурка, но не выбросил его, а еще подержал немного в полусогнутых пальцах, чтобы не пропадало пусть совсем малое, но все же тепло. «И потом... все, что было вчера... Как ни стараюсь, а все не могу себе уяснить... Ведь он понимает, что мы его знаем. Зачем же тогда понадобилось кривляться? Вещал, как какой-то миссионер... Видно было, что он и сам мучается, не только мы... Не понимаю... ведь он наверняка знал, чего мы хотим. Знал, что всю его болтовню насчет этой дурочки мы слушаем только потому, что хотим наконец услышать: «Вот что, люди... давайте-ка с этим кончать... я здесь, я вернулся. Довольно уныния! Займемся-ка с вами чем-нибудь дельным. Если есть предложения, давайте обсудим...» Так нет же! Дамы и господа, дамы и господа, какие вы все виноватые... С ума сойти! И ведь не поймешь, дурачится он или это серьезно... Не скажешь ему, чтобы прекратил... Ну а все это дело со слабоумной девочкой... Ну наглоталась крысиного яду, так что? Может, для этой несчастной оно и лучше, по крайней мере отмучилась. Но при чем здесь я?! У нее есть мать, вот она и должна была позаботиться о ребенке! Так нет... она еще нас заставила целый день... в такую дрянную погоду... рыскать по всей округе, пока не нашли эту бедолагу!.. Пусть бы искала сама, эта старая ведьма! Все так. Только кто поймет Иримиаша? Нет на свете таких людей... А с другой стороны... раньше таких вещей он точно не делал... От изумления люди в себя не могли прийти... Это верно, он изменился. Кто знает, через что он прошел за последние годы? Но его ястребиный нос и клетчатый пиджак с красным галстуком — как были, так и остались! Значит, все будет хорошо!» Он облегченно вздохнул, поднялся, поправил на плече ремни и, опираясь на палку, двинулся по дороге. Чтобы время летело быстрее и чтобы отвлечь внимание от впивающихся в плоть ремней, да еще оттого, что ему было страшновато ковылять одному по пустынной дороге, затерявшейся на краю света, он затянул «Как прекрасна ты, милая Венгрия», но после второй строки не смог вспомнить слова, и поскольку ничего другого в голову не пришло, запел гимн Венгрии. Но от пения он почувствовал себя еще более одиноким. Он замолчал и тут же насторожился, затаив дыхание. Ибо справа от него как будто послышался некий шум... Он прибавил шагу, насколько позволяла больная нога. Но тут что-то захрустело с другой стороны. «Что за черт?..» Он решил, что лучше будет продолжить пение. Идти все равно уж недолго. Так и время пролетит незаметней...

Бог, мадьяру счастья дай

И богатства тоже!

В грозный час не покидай

Ты мадьяра, Бо...

А теперь... послышался как бы крик... Или нет... скорее плач. «Да нет. Это какой-то зверь... Скулит, кажется. Может, лапу сломал». Но, как он ни всматривался, по обе стороны дороги уже стояла кромешная тьма, и он ничего и не увидел.

Ведь, страдая больше всех,

Ад изведав сущий,

Искупил народ свой грех,

Прошлый и гряду...[[2]](#footnote-2)

«А мы уж решили, что ты передумал!» — крикнул со смехом Кранер, когда они заметили приближающегося Футаки. «Я его по походке узнала, — добавила госпожа Кранер. — Тут ошибиться трудно. Походка у него как у хромой кошки». Опустив чемоданы на землю, Футаки освободился от ремней и облегченно вздохнул. «Вы ничего по дороге не слышали?» — спросил он. «Нет. А что мы должны были слышать?» — удивился Шмидт. «Да я просто так спросил». Госпожа Халич сидела на камне и массировала ноги. «Мы слышали только странный звук, когда вы подходили. Не знали, кто это мог быть». — «А что вы подумали? Кто тут еще может быть, кроме нас? Тати ночные?.. Здесь даже птиц не видать. Не то что людей». Дорожка, на которой они стояли, вела к главному зданию; по сторонам от нее за десятилетия разросся дикий самшит, который местами обвивал толстые стволы буков и сосен, карабкаясь по ним с тем же упорством, что и дикий плющ по толстым стенам господского дома, отчего во всем облике «замка» (как тут его называли) сквозило какое-то немое отчаяние, потому что, хотя верхняя часть фасада еще оставалась свободной, было ясно, что еще год-другой, и он больше не сможет сопротивляться беспощадному натиску флоры. По обе стороны широкой лестницы, которая вела к огромному проему, некогда бывшему главным входом, раньше стояли «статуи голых баб», и Футаки, который их видел здесь еще годы назад, первым делом хотел разыскать их поблизости, но не нашел — статуи будто сквозь землю провалились. Боязливо, безмолвно, с широко раскрытыми глазами поднимались они по лестнице, потому что едва выступавший из темноты немой «замок» — даром что с его фасада уже осыпалась почти вся штукатурка, а по ветхой башне видно было, что очередную бурю она уже вряд ли переживет, да и пустые глазницы окон тоже не услаждали глаз — все еще сохранял следы былого величия и непреходящего, что там ни говори, достоинства, ради защиты которых он и был в свое время построен. Как только они взошли наверх, госпожа Шмидт без колебаний прошла под полуобвалившейся аркой главного входа и взволнованно, но без капли страха обошла звенящее от пустоты помещение; ее глаза вскоре привыкли к темноте, поэтому, войдя в открывавшийся слева небольшой зал, она достаточно ловко обходила коварно таившиеся на разбитых каменных плитах и почти полностью сгнившем паркете ржавые механизмы, запасные части и вовремя останавливалась перед проломами, так хорошо запомнившимися Футаки. Остальные следовали в десятке шагов позади нее, и так они обошли холодные, продуваемые сквозняками помещения заброшенного мертвого «замка», время от времени останавливаясь у оконного проема и бросая взгляд на тревожные заросли парка или, забыв об усталости, разглядывая в неровном свете вспыхивающих спичек пышную резьбу на кое-где до сих пор уцелевших, но изрядно прогнивших дверях и окнах и местами еще различимые застывшие фигурки барельефов над ними, но самым большим успехом пользовалась у них опрокинутая набок печка, затейливо «разукрашенная» медной чеканкой, на которой разволновавшаяся госпожа Халич насчитала ни много ни мало тринадцать драконьих голов. Из немого изумления их вывел звонкий голос госпожи Кранер, которая, встав на своих кряжистых ногах посреди зала, всплеснула руками и недоуменно воскликнула: «Да как они умудрялись все это отапливать?!» И поскольку в вопросе скрывался уже и ответ, слова госпожи Кранер встретили только согласным ворчанием, а затем вернулись в самый первый зал, и после непродолжительной дискуссии (особенно яростно против инициативы Кранера выступал Шмидт: «Прямо здесь? На самом сквозняке? Ну, ты придумал, шеф...») было принято предложение Кранера, полагавшего, что «сегодня лучше заночевать здесь. Да, здесь дует, и все такое, но что будет, если Иримиаш прибудет еще до рассвета? Как, скажите мне, он отыщет нас в этом чертовом лабиринте?», и с тем все отправились к тележкам, чтобы получше укрыть их брезентом на случай, если пойдет настоящий дождь или поднимется ветер, а затем, вернувшись, взяли у кого что было — мешки, одеяла, перины — и попытались изготовить из них импровизированную постель. Но когда все угнездились на своих лежбищах и надышали под одеялами немного тепла, выяснилось, что от усталости никто не может заснуть. «А все-таки я не совсем понимаю Иримиаша, — заговорил в темноте Кранер. — Может, кто объяснит мне?.. Был такой же простой человек, как мы — душа нараспашку, — только побашковитей. А теперь? Как барин себя ведет, как большая шишка!.. Разве не так?» Последовало длительное молчание, затем Шмидт добавил: «Что верно, то верно, все это было и правда странно. Зачем ему вся эта хрень понадобилась? Я видел, что он очень хочет чего-то добиться, но разве я знал, чем все закончится?.. Да знай я с самого начала, что он хочет того же, чего и все мы, я бы сказал ему: ну зачем же так надрываться?..» Директор школы повернулся на своем ложе и беспокойно уставился в темноту. «В самом деле, зачем так перегибать палку — и ты виноват, и ты, и Эштике то, да Эштике сё! Как будто мне было дело до этой дегенератки! Да стоило мне только имя ее услышать, как у меня закипала кровь! Какая еще, к дьяволу, Эштике? По-вашему, это нормальное имя? Разве можно так обратиться к ребенку: «Ну-ка, Эштике...»? Бред собачий, скажу я вам. У этой девчонки было пристойное имя — Эржебет. Но отцу надо было пофорсить. Отцовский гонор девчонку и погубил! Ну а при чем здесь я? При чем мы? Не говоря уж о том, что я сделал все, чтобы поставить этого ребенка с головы на ноги!.. Когда эта ведьма забрала дочку из спецшколы, я предлагал ей за небольшое вознаграждение привести девчонку в порядок, пусть только присылает ее ко мне по утрам. Так она — нет и нет. Эта старая бестия, эта пройдоха даже пары форинтов пожалела для бедолаги! А теперь я, оказывается, виноват! Смех и только!» — «Да угомонитесь вы! — шикнула на них госпожа Халич. — Мой уже спит. Он к тишине привык!» Но Футаки пропустил ее слова мимо ушей. «Будь что будет. Скоро выяснится, что Иримиаш задумал. Уже завтра все прояснится. Точнее, уже сегодня. Вы представляете, что здесь будет?» — «Лично я представляю, — отозвался директор школы. — Вы служебные постройки видели? Тут их, по крайней мере, пять. Бьюсь об заклад, что в них будут мастерские». — «Мастерские?.. — изумился Кранер. — Какие еще мастерские?» — «Ну откуда мне знать?.. Думаю... всякие-разные. Чего вы ко мне привязались?» Госпожа Халич тут снова возвысила голос: «Да уймитесь вы наконец! Люди тут отдыхают!» — «Ну ладно вам! — осадил ее Шмидт. — Уже и поговорить нельзя!» — «А по-моему, — продолжил задумчиво Футаки, — все будет наоборот. Те службы нам отдадут под жилье, а мастерские устроят здесь». — «Да что вы заладили, мастерские да мастерские... — не выдержал Кранер. — Что с вами? Все механиками решили стать? Ну, Футаки я еще понимаю, а вы? Кем вы будете? Механодиректором?» — «Прошу вас, оставьте свои остроты, — холодно отозвался директор школы. — Я не думаю, что сейчас подходящее время для дурацких шуточек. И вообще, кто вы такой, чтобы оскорблять меня?! Я не позволю!» — «Да спите вы уже, бога ради... — простонал тут Халич. — Я действительно не могу так заснуть...» Несколько минут стояла тишина, но недолго, потому что кого-то из них угораздило выпустить газы. «Кто это был?» — заржал Кранер и толкнул лежащего рядом Шмидта. «Отстаньте! Это не я!» — прорычал тот и повернулся на другой бок. Но Кранер не унимался: «Ну так что, не хватает духу сознаться?» Халич — от волнения уже задыхаясь — сел и взмолился плаксивым голосом: «Хорошо, я... во всем сознаюсь... Только уж замолчите вы наконец...» На этом разговор окончательно прекратился, и несколько минут спустя все уже крепко спали. Халича во сне преследовал горбатый карлик со стеклянными глазами. После всяческих злоключений он наконец нашел убежище в реке, но и тут положение его становилось все более безнадежным, ибо всякий раз, когда он выныривал из-под воды, чтобы глотнуть воздуха, человечек трахал его по голове чудовищно длинной палкой и при этом хрипло орал: «Ты за все заплатишь!» Госпожа Кранер услышала какой-то шум с улицы, но не могла понять, что это такое. Накинув шубейку, она осторожно направилась в сторону машинного зала. Но когда она уже почти добралась до тракта, ее неожиданно охватило дурное предчувствие. И, обернувшись, она увидала, что крыша их дома объята пламенем. «Растопка! Я оставила перед печью растопку! О господи, какой ужас!» — закричала она. Она бросилась назад, призывая на помощь, но безуспешно, все будто сквозь землю провалились, и тогда она, дрожа от страха, рванулась в дом, чтобы попытаться спасти что можно. Сперва она бросилась в комнату и молниеносно выхватила спрятанные под матрасом деньги, а затем, перепрыгнув через пылающий порог, ворвалась на кухню. За кухонным столом сидел Кранер и как ни в чем не бывало спокойно обедал. «Ты с ума сошел, Йошка? Дом горит!» Но Кранер даже не шелохнулся... Тут госпожа Кранер увидела, что языки пламени лижут уже занавески. «Спасайся ты, дурень, не видишь, что на нас сейчас крыша обвалится?!» Она выбежала из дома и долго сидела снаружи; страх и дрожь внезапно прошли, и она уже чуть ли не наслаждалась тем, что все ее добро постепенно превращалось в пепел. Она даже показала подошедшей к ней госпоже Халич: «Вы видите, красота какая? Такой изумительный красный цвет я вижу впервые в жизни!» Под ногами у Шмидта зашевелилась земля. Как будто он шел по трясине Дойдя до дерева, он залез на него, но почувствовал, что начинает погружаться и дерево... Он лежал на кровати и пытался стащить со своей жены ночную рубашку, но та завизжала, он бросился на нее, рубашка затрещала, госпожа Шмидт резко повернулась к нему и расхохоталась, соски на ее огромных грудях были похожи на великолепные розы В доме было ужасно жарко, с них градом катился пот Он выглянул на улицу: за окном хлестал дождь, Кранер бежал домой с картонной коробкой в руках, затем у коробки внезапно раскрылось дно и все содержимое вывалилось на землю, госпожа Кранер громко кричала ему, чтобы поспешил, так что он не успел собрать и половины рассыпавшегося и решил, что за остальным он вернется завтра Неожиданно на него набросилась собака от страха он закричал и пнул тварь по морде та заскулила упала осталась лежать на земле Не удержавшись он пнул ее еще раз Живот у собаки был мягкий Директор школы мучаясь и стыдясь уговаривал человечка в потрепанном костюме пойти вместе с ним потому что он знает одно укромное место и тот не умея отказывать согласился он уже едва сдерживался и войдя в заброшенный парк даже подтолкнул человечка чтобы быстрее добраться до каменной скамейки окруженной густыми зарослями он уложил на нее человечка бросился на него и стал целовать его в шею но в этот момент на ведущей к скамейке дорожке посыпанной белым гравием показалась группа врачей в белых халатах он стыдливыми жестами дал им понять что уже уходит но потом все же объяснил одному из них что им некуда было податься и следует непременно понять и учесть это обстоятельство а затем начал поносить застенчивого человечка потому что уже испытывал к нему чудовищное отвращение но напрасно оглядывался он по сторонам тот как в воду канул врач презрительно глянул ему в глаза а затем устало и вымученно махнул рукой Госпожа Халич мыла спину госпоже Шмидт четки повешенные на край ванны медленно будто змея скользнули в воду в окне появилась ухмыляющаяся рожа какого-то мальчишки госпожа Шмидт сказала что ей достаточно от мочалки у нее уже горит кожа но госпожа Халич силком втолкнула ее обратно в ванну и продолжила тереть ей спину потому что все больше боялась что госпожа Шмидт останется недовольна ею но потом вдруг как крикнет ей чтобтебя укусила бешеная гадюка и села заплакав на крайванны а в окне все ещемелькало ухмыляющееся лицо мальчишки Госпожа Шмидт былаптицей счастливо летавшейсреди молочных облаков вот онаувидала что кто-то внизу машетей рукой а спусти вшисьпониже услышала как Шмидт орет гдеобед сию жеминутуспускайсяпаскуда но она пролетаянадним про чирикала подождешьдозавтранебосьсголодунепомрешьсолнце грело ей спину неожиданно рядомсней о казался ШмидтНемедленно прекрати закричалон но она не обратилананеговниманияио пустилась ниже в надеждепойматькакого-нибудь жука Футакибилипоплечу какой-то железякой Он немог шевельнуться таккак былпривязанверевкамикдеревуоннапрягся и почувствовал чтоверевкаослабла взглянув на плечо он увиделдлиннуюрануиотвел взгляд невсилахвынестиэтогозрелищаонсиделвэкскаваторекоторыйрыл ковшом огромную яму мимошелчеловек он сказалпоспешипотомучтоты не получишь больше бензинукакнипросион всерылирыл яму аона все обва обваливалась он пытал сяопятьиопятьнонапрасно и тогдаонзаплакалсел уокнамашинногозалаинезнал что там заокномсветаетилисмеркаетсяивсеэтоникакнекончалось он сиделине зналчтотворится ничего вокругнеменялось и небылониутранивечера а лишьбеспрерывнонетосветалонето смеркалось

### IV. Вознесение? Сон наяву?

Как только они исчезли за поворотом и окончательно потеряли из виду людей, стоявших перед корчмой и махавших им вслед, он тут же забыл о свинцовой усталости и уже не чувствовал даже той изнурительной сонливости, которая — как он с ней ни боролся — еще недавно приковывала его к стоявшему рядом с масляной печкой стулу; ведь с того момента, когда вчера вечером Иримиаш предложил ему то, о чем он и мечтать не смел («Ну вот что, поговори с матерью. Ты можешь пойти со мной, если есть желание...»), он не мог сомкнуть глаз и всю ночь проворочался, не раздеваясь, в постели, боясь опоздать на встречу, которую Иримиаш назначил на раннее утро; но сейчас, когда он увидел перед собой теряющийся в дымке, словно рвущийся в бесконечность тракт, его силы как будто удвоились, он почувствовал, что перед ним наконец «открывается целый мир» и теперь, что бы ни произошло, он обязательно все одолеет. И хотя ему страшно хотелось как-то выразить вслух охвативший его восторг, он сдерживался и, невольно подстраиваясь под шаг Иримиаша, дисциплинированно, охваченный лихорадочным чувством избранности, следовал за учителем, потому что знал, что с возложенной на него задачей он сможет справиться только в том случае, если будет решать ее по-мужски, а не как сопливый щенок — не говоря уж о том, что подобное необдуманное проявление чувств наверняка вызвало бы со стороны вечно злобствующего Петрины очередную издевку, между тем для него невыносима была даже мысль о том, чтобы хоть раз опозориться перед Иримиашем. Он хорошо понимал, что для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше во всем преданно подражать Иримиашу; первым делом он присмотрелся к его характерным жестам, к легкому ритму широких шагов, к гордой посадке головы, к траектории указующего либо угрожающего перста, воздеваемого в паузах перед особенно значимыми словами, и постарался научиться самому сложному — нисходящей интонации Иримиаша и весомым паузам, отделяющим одну от другой отдельные части высказывания, неумолимости медно звенящих фраз и той твердой уверенности, благодаря которой Иримиашу всегда удавалось выражать свои мысли с беспощадной точностью. Ни на мгновение не отрывал он взгляда от слегка сутулившейся спины Иримиаша и его узкополой шляпы, которую ее владелец — чтобы дождь не хлестал в лицо — надвинул поглубже на лоб, и, видя, что учитель, не замечая их, напряженно о чем-то думает, он тоже шел молча, хмуро насупив брови, словно уже самой концентрацией собственного внимания хотел посодействовать Иримиашу в том, чтобы как можно скорее додумать мысль. Петрина растерянно ковырялся в ухе, ибо, видя напряженную гримасу младшего товарища по несчастью, он и сам не осмеливался нарушить молчание; между тем, хотя он и делал суровые знаки «щенку», отчасти дисциплинируя и себя («Ни звука! Он думает!»), рвущиеся из него вопросы с такой силой сдавливали ему горло, что у него перехватило дыхание, он начал хрипеть и свистеть, хватая ртом воздух, и так до тех пор, пока Иримиаш не обратил внимание на стоическое поведение упорно задыхающегося рядом с ним Петрины и не смилостивился над ним, скривив недовольно рот: «Ну, чего тебе? Говори!» Петрина вздохнул, облизал потрескавшиеся губы и часто захлопал глазами: «Маэстро! Я наложил в штаны! Как ты собираешься выпутаться из этого?!» — «Было бы удивительно, если б не наложил, — едко заметил Иримиаш. — Бумаги дать?» Петрина покачал головой: «Это не шутки. По совести говоря, меньше всего мне хочется сейчас ржать...» — «Ну и заткнись». Иримиаш с высокомерным видом бросил взгляд на исчезающую в туманной дымке дорогу, сунул в рот сигарету и, не сбавляя шага, не останавливаясь, закурил. «Если сейчас я скажу тебе, что мы ждали именно этого случая, — самоуверенно сказал он и заглянул Петрине в глаза, — ты успокоишься?» Его приятель с трудом выдержал его взгляд, опустил голову, встал как вкопанный и задумался, а когда вновь поравнялся с Иримиашем, то был в таком смятении, что едва смог выдавить из себя: «Ты... ты... ты... что задумал?» Но тот, ничего не ответив, с загадочной физиономией продолжал изучать дорогу. Петрина, мучимый недобрыми предчувствиями, попытался найти объяснение этому многозначительному молчанию, а затем — в глубине души уже понимая, что все это бесполезно, — предпринял попытку предотвратить неминуемое. «Послушай! Я был, есть и буду тебе товарищем и в беде, и в радости! И клянусь тебе, что в дальнейшем буду швырять на колени любого, кто посмеет не снять перед тобой шляпу! Но... не пори горячку! Послушай меня хоть на этот раз! Послушай мудрого старика Петрину! Давай слиняем отсюда! Сядем на первый же поезд — и поминай как звали! Они же нас на куски порвут, когда догадаются, какое свинство мы им устроили!» — «Еще чего не хватало, — насмешливо отмахнулся от него Иримиаш. — Мы должны поддержать безнадежную, но отчаянную борьбу за человеческое достоинство... — Он воздел свой знаменитый указательный перст и погрозил Петрине. — Лопоухий! Пришло наше время!» — «Горе мне! — жалобно завопил Петрина, словно понял, что дурные предчувствия его не обманывали. — Я знал! Я всегда знал, что однажды придет наше время! Я надеялся... думал, что обойдется... И вот вам пожалуйста!» — «Да что вы кривляетесь?! — вмешался тут из-за их спины «щенок». — Нет бы радоваться да вести себя посерьезней!» — «Кому, мне?! — простонал Петрина. — Да я сейчас зарыдаю от радости... — Скрипя зубами, он глянул на небо и в отчаянии замотал головой. — Ну скажи ради бога, чем я провинился? Может, обидел кого?! Может, дурное слово когда сказал?! Умоляю, маэстро, прими во внимание мои годы! Посмотри на мои седины!» Но выбить Иримиаша из колеи было невозможно; пропустив мимо ушей звонкие причитания своего товарища, он загадочно улыбнулся и произнес: «Сеть, лопоухий!.. — Петрина при этих словах встрепенулся. — Ты понимаешь? — Они встали друг против друга, и Иримиаш слегка подался вперед. — Сеть Иримиаша. Огромная паутина. На всю страну... Дошло наконец до твоих тупых мозгов? Если где-нибудь... где угодно... что-нибудь только дрогнет...» Петрина стал постепенно приходить в себя; сперва по лицу его скользнуло что-то вроде улыбки, затем в глазах-пуговицах заискрились заговорщицкие огоньки, от волнения загорелись уши, и все его существо накрыла волна умиления. «Если где-нибудь... где угодно... что-нибудь только дрогнет... Я, кажется, догоняю... — потрясенно прошептал он. — Да это же... так сказать... фантастика...» — «Ну, то-то, — холодно кивнул Иримиаш. — Думать надо, прежде чем верещать». За этой сценой «щенок» наблюдал с почтительного расстояния, но острый слух не подвел его и на этот раз: из сказанного он не упустил ни слова, но поскольку пока ни бельмеса не понял, быстро повторил про себя все услышанное, чтобы не забыть; затем достал сигарету, неторопливо закурил и, сложив губы трубочкой — как это делал Иримиаш, — выпустил изо рта тонкую струйку дыма. Он не присоединился к ним, а по-прежнему следовал шагах в десяти позади — с нарастающим чувством обиды на Иримиаша, который до сих пор «не счел нужным посвятить его в свои планы», хотя мог бы знать, что, в отличие от Петрины, который только палки в колеса вставляет, он душу готов положить за учителя, которому мысленно присягнул в беззаветной преданности. Мучительная обида со временем только крепла, в душе его нарастала горечь, ведь он уже ясно видел, что Иримиаш не удостаивает его ни единым словом, куда там! он даже не замечает его, «как будто его тут и нет», как будто то обстоятельство, что «он, Шандор Хоргош, не последний все-таки человек, предложил ему свои услуги», для него ничего не значит... От волнения он расчесал на лице уродливый прыщик, и когда они уже почти подошли к повороту на Поштелек, то не выдержал, догнал их, встал перед Иримиашем и дрожащим от злости голосом закричал: «Ну раз так, то я с вами не ходок!» Иримиаш посмотрел на него недоумевающее: «В чем дело?» — «Если со мной что не так, то скажите мне! Скажите, что вы мне не доверяете, и я исчезну!» — «Да что с тобой, черт возьми?!» — вспылил Петрина. «Со мной ничего! Только скажите мне, нужен я вам или нет?! С тех пор как мы вышли, вы словом со мной не обмолвились. Все только с Петриной, с Петриной, с Петриной! Если он вам так дорог, то зачем взяли с собой меня?!» — «А ну-ка, постой, — спокойно остановил его Иримиаш. — Я, кажется, понимаю, о чем ты. Заруби себе на носу то, что я скажу, ибо я повторять не люблю... Я взял тебя с собой потому, что ты толковый малый. Поэтому ты мне нужен. Но при условии, что ты сможешь соблюдать следующие правила. Первое: говорить только тогда, когда я тебя спрошу. Второе: если я что-нибудь поручу тебе, ты постараешься исполнить это на совесть. И третье: отвыкай пререкаться со мной. Пока что я сам решаю, что говорить тебе, а что нет. Понятно?..» «Щенок», присмирев, потупил глаза: «Да. Я только...» — «Никаких «только»! Веди себя по-мужски... Что касается остального... Мне известны твои способности, братец. И я верю, что ты лицом в грязь не ударишь... Ну а теперь пошли!» Петрина дружелюбно хлопнул «щенка» по плечу и, забыв на нем руку, потащил его за собой. «Ты знаешь, прохвост, когда я был таким пацаном, как ты, я и слова сказать не смел, если поблизости находился хоть один взрослый! Был нем как рыба! Потому что в те времена разговор был короткий! Не то что сейчас! Да что вы об этом зна... — Он внезапно остановился. — Что это?» — «Где?» — «Ну, вот этот... шум...» — «Я ничего не слышу, — недоуменно сказал «щенок». «Как не слышишь? Ну а теперь?..» Они, затаив дыхание, стали вслушиваться. Иримиаш, бывший в нескольких шагах впереди, тоже оцепенел. Они стояли у поштелекской развилки, тихонько накрапывал дождь, вокруг не было ни души, только стая ворон кружила вдали. Петрине почудилось, будто шум доносится... откуда-то сверху, и он молча указал на небо, но Иримиаш потряс головой. «Скорее оттуда...» — махнул он в сторону города. «Машина?..» — «Не знаю», — тревожно ответил маэстро. Они застыли на месте. Гул не усиливался, но и не пропадал... «Может быть, самолет...» — несмело предположил «щенок». — «Не похоже... — сказал Иримиаш. — На всякий случай... срежем путь. По проселку, который на Поштелек ведет, дойдем до замка Венкхейма, а дальше на старую дорогу свернем. Даже выиграем четыре или пять часов...» — «Ты что, не знаешь, какая там грязь?!» — бурно запротестовал Петрина. «Знаю. А только не нравится это мне. Лучше будет, если мы выберем ту дорогу. Там уж точно мы никого не встретим». — «Кого ты имеешь в виду?» — «Почем мне знать? Ну, пошли». Свернув с тракта, они двинулись в сторону Поштелека. Петрина беспокойно крутил головой, изучая окрестности, но так ничего и не обнаружил. Сейчас он уже был готов поклясться, что звук шел откуда-то сверху. «Только это не самолет... А как будто... кто на церковном органе... Но это же бред собачий. — Петрина остановился, нагнулся и, опираясь на одну руку, наклонил ухо почти к самой земле. — Нет. Совершенно определенно, нет. Так и свихнуться недолго». Гул тем временем продолжался. Не приближаясь, но и не удаляясь. И напрасно он рылся в памяти — этот шум не походил ни на что известное. Ни на рокот автомобиля, ни на гул самолета, ни на раскаты грома... Его пронзило дурное предчувствие. Он беспокойно оглядывался по сторонам, чуя опасность за каждым кустом, за каждом чахлым деревцем и даже в подернутой тиной придорожной канаве. Но больше всего ужасало то, что невозможно было понять, из какого места — близкого или отдаленного — угрожает им это... нечто. Он с подозрением повернулся к «щенку»: «Скажи, ты сегодня ел? Это не у тебя в животе урчит?» — «Не валяй дурака, Петрина! — с озабоченным видом обернулся назад Иримиаш. — Лучше шагу прибавь!..» Они отошли от развилки уже метров на триста или четыреста, когда наряду с и без того тревожным непрерывным гулом обратили внимание на новую странность. Петрина заметил ее первым и, не в силах произнести ни слова, только испуганно ахнул и вытаращенными глазами указал наверх. Справа от них, в пятнадцати или двадцати метрах над безжизненным заболоченным полем легко парила, медленно и торжественно опускаясь на землю, полупрозрачная белая вуаль. Еще не успев очнуться от изумления, они увидели, что нечто, принятое ими за вуаль, достигнув земли, тут же бесследно исчезло. «Ущипните меня!» — простонал Петрина, недоуменно тряся головой. «Щенок» застыл с открытым от удивления ртом, но, увидев, что Иримиаш с Петриной не знают, как реагировать, самоуверенно бросил: «Вы что, не видали тумана?» — «Какой это туман?! — вскинулся на него Петрина. — Не гони пургу! Даю руку на отсечение, что это какая-то... свадебная фата... Маэстро, я чую неладное...» Иримиаш с недоумением смотрел на то место, куда только что приземлилась вуаль: «Вот так штука. Петрина, собери мозги в кучку и скажи что-нибудь». — «Вы смотрите, смотрите!» — воскликнул «щенок». И показал на другую вуаль, медленно опускавшуюся недалеко от места, где недавно парила первая. Они зачарованно смотрели, как она приземлилась, а затем — как будто и впрямь была из тумана — бесследно исчезла... «Бежим отсюда, маэстро! — дрожащим голосом предложил Петрина. — Я боюсь, сейчас вместо дождя с неба камни посыплются...» — «Нет, должно быть этому объяснение, — уверенно сказал Иримиаш. — Вот только какое, черт побери!.. Не может же быть, чтобы у нас всех троих разом крыша поехала!» — «Эх, была бы здесь госпожа Халич, — ухмыляясь, заметил «щенок», — она бы сразу все объяснила!» — «Что-что?» — вскинул голову Иримиаш. Наступило молчание. «Щенок» смущенно потупил глаза: «Да я просто так сказал...» — «Ты что-то знаешь?!» — набросился на него перепуганный Петрина. «Я? — осклабился тот. — Да откуда мне знать? Так... сморозил по глупости...» Они молча двинулись дальше, и не только у Петрины, но и у Иримиаша в голове промелькнула мысль: а не лучше ли прямо сейчас повернуть обратно? Но на это они не решались, ведь никто не мог поручиться, что возвращение будет связано с меньшим риском... Они прибавили шагу, против чего на сей раз не протестовал и Петрина — напротив, будь его воля, они бы пустились бегом и не останавливались бы до самого города; так что когда показались очертания заброшенного замка Венкхейма и Иримиаш предложил немного передохнуть («Совсем ноги окоченели... Разведем костер, перекусим чего-нибудь, обсушимся да и двинемся дальше...»), Петрина в отчаянии завопил: «Ну уж нет! Неужели ты думаешь, что я способен хоть на минуту остановиться здесь? После того, что случилось?» — «Не надо дрейфить, друг мой, — успокаивал его Иримиаш. — Дело в том, что мы слишком устали. Почти не спали два дня. Надо отдохнуть. Идти еще далеко». — «Хорошо, только чур ты пойдешь впереди!» — оговорил Петрина и, собравшись с духом, последовал шагах в десяти за ними; сердце у него бешено колотилось, и даже не было желания отвечать на издевательскую насмешку «щенка», который, глядя на спокойствие Иримиаша, опять осмелел и предложил наградить Петрину «медалью за храбрость»... Подождав, пока они свернут на дорожку, что вела к замку, Петрина крадучись, то и дело вертя головой, двинулся вслед за ними, но когда впереди уже показались ворота заброшенного замка, он заметил, как Иримиаш с мальчишкой бросились за кусты, но не смог последовать их примеру, потому что от страха у него онемели ноги. Откуда-то — то ли из замка, то ли из выгоревшего и вымоченного дождями парка — явственно доносился веселый и звонкий, как колокольчик, смех. «Вот теперь уже точно сойду с ума. Я это чувствую. — Лоб его покрылся холодным потом. — Ад и дьявол! Во что мы вляпались?» Он затаил дыхание, до предела напряг все жилы и — бочком — тоже улизнул за куст. Переливистый смех зазвучал еще громче, казалось, здесь пересмеивалась какая-то веселая беззаботная компания, как будто было совершенно естественным делом, что сие благодушное общество проводит свободное время в этой пустынной местности, под дождем, на холоде, на ветру... И к тому же смех этот... звучал очень странно... По спине у Петрины побежали мурашки. Он выглянул на дорожку и, сочтя момент подходящим, сломя голову бросился к Иримиашу, упал рядом с ним, прямо как на войне, когда солдаты, рискуя жизнью, под шквальным огнем противника перебегают из окопа в окоп. «Дружище... — зашептал он задыхающимся голосом, приникнув к сидевшему на корточках Иримиашу. — Что здесь происходит?!» — «Пока что я ничего не вижу, — ответил тот тихо, спокойно, с большим самообладанием, не отрывая глаз от замкового парка. — Но сейчас все выяснится». — «О нет! — издал стон Петрина. — Не надо ничего выяснять!» — «Похоже, кто-то решил тут повеселиться...» — заметил «щенок» взволнованно и сгорая от нетерпения, поскольку не мог дождаться, когда наконец учитель чем-нибудь его озадачит. «Здесь?! Под этим дождем?! — проскулил Петрина. — В этом богом забытом краю? Маэстро, надо делать ноги, пока не поздно!..» — «Заткнись, а то я ничего не слышу!» — «А я слышу! Я слышу! И могу сказать...» — «Ну-ка цыц, ты!» — прикрикнул на него Иримиаш. В парке, где среди дубов, орешника, самшита и цветочных клумб все заросло бурьяном, по-прежнему не было заметно никакого движения, поэтому Иримиаш — поскольку из-за куста видна была только часть парка — решил, что они должны осторожно продвинуться дальше; он схватил упирающегося руками и ногами Петрину и, волоча его за собой, направился к главному входу, миновав который они на цыпочках, вдоль стены, пошли дальше. Добравшись до угла здания, Иримиаш, который шел впереди, осторожно выглянул, чтобы обозреть заднюю часть парка, но тут же оцепенел и быстро отдернул голову. «Что такое?! — прошептал Петрина. — Надо валить?» — «Видите вон ту хибару? — сдавленно спросил Иримиаш и показал на стоявшее неподалеку покосившееся строение. — Бежим туда. По одному. Сначала я. Затем ты, Петрина. А потом ты, щенок. Все понятно?» И тут же, согнувшись, он бросился в сторону бывшего летнего флигеля. «Только без меня, — ошарашенно забормотал Петрина. — Тут как минимум двадцать метров! Пока добежим, нас расстреляют к чертям собачьим!» — «Вперед!» — грубо пихнул его в спину «щенок», и Петрина, совершенно не ожидавший толчка, потеряв равновесие, сделал несколько шагов и шлепнулся в грязь. Он тут же вскочил, затем снова упал на землю и, как ящерица, по-пластунски дополз до развалин флигеля. От испуга он долго не мог поднять головы и, прикрыв руками глаза, неподвижно лежал на земле, а когда осознал, что «милостию Божьей» все же остался в живых, то собрался с духом, поднялся на ноги и сквозь щель в стене выглянул в парк. Но зрелища, которое он увидел, его нервы, и без того расстроенные, выдержать не смогли. «Ложись!» — завопил он и снова упал на землю. «Не блажи ты, скотина! — прикрикнул на него Иримиаш. — Если услышу еще хоть звук, я тебя придушу!» В дальней части парка, перед тремя кряжистыми, сбросившими листву дубами, на небольшой лужайке... лежало завернутое в полупрозрачную белую вуаль... миниатюрное тело. До него было, видимо, меньше тридцати метров, так что можно было даже различить не закрытое вуалью лицо; и если бы все трое не считали это абсурдом, если бы они сами, своими руками не укладывали ее недавно в сколоченную Кранером грубую домовину, то могли бы поклясться, что видят младшую сестру «щенка», которая — с бледным как воск лицом, с завитыми в локоны огненно-рыжими волосами, — казалось, мирно дремала... Ветер время от времени шевелил край вуали, дождь тихо омывал тело, а три старых дуба так немилосердно тряслись и скрипели, словно хотели немедленно вывернуться из земли... А вокруг тела девочки — ни души... только слышимый отовсюду сладкий заливистый смех, звучащий как беззаботная, радостная, игривая музыка... «Щенок» оцепенело уставился на лужайку, и невозможно было понять, что больше его пугает — то, что вымазанное в грязи, сведенное смертной судорогой тело сестры предстало теперь перед ним белоснежно-чистым и ужасающе безмятежным, или то, что оно сейчас может пошевелиться, встать и направиться прямо к нему; ноги у него дрожали, в глазах потемнело, и он не видел ни парка, ни деревьев, ни замка, ни неба — только ее, сияющую посреди лужайки все более ослепительным, режущим, ранящим светом. В наступившей вдруг тишине, в абсолютном безмолвии даже капли дождя разбивались о землю беззвучно, так что он мог подумать, будто он оглох — ведь он только ощущал, но не слышал завывание ветра, как и странное, прикоснувшееся к его телу легкое теплое дуновение; тем не менее ему чудилось, что он слышит беспрестанный недавний гул, слышит, как заливистый смех вдруг сменяется жутким визгом и хрипами. Ему показалось, что к нему кто-то направляется. Он заслонил глаза рукой, и из груди его вырвался вопль. «Посмотри!» — окаменев, прошептал Иримиаш и с такой силой стиснул Петрине локоть, что побелели пальцы. Вокруг останков завихрился ветер, и в полной тишине ослепительно-белое тело стало неуверенно подниматься... но где-то у вершин дубов вдруг качнулось и, с содроганием устремившись вниз, вновь опустилось на середину лужайки. Недавно звучавшие бесплотные голоса в этот миг разразились яростными воплями, словно недовольный хор, который не по своей вине вновь потерпел провал. Петрина тяжело дышал: «Ты можешь в это поверить?» — «Пытаюсь», — сказал бледный как мел Иримиаш. «Интересно, давно они так упражняются? Этот ребенок по крайней мере два дня как умер». — «Петрина, кажется, мне впервые в жизни страшно». — «Старина... Можно тебя спросить?» — «Ну, спроси». — «Как ты думаешь...» — «Что я думаю?» — «Ну... короче... ты думаешь, ад существует?» Иримиаш нервно сглотнул: «Кто знает. Возможно». Неожиданно опять наступило безмолвие. Только гул немного усилился. Тело вновь стало подниматься, затем, метрах в двух над лужайкой, оно содрогнулось и, с невероятной скоростью устремившись вверх, вскоре исчезло среди неподвижных угрюмых туч. Над парком пронесся ветер, дубы задрожали, задрожал и полуразрушенный флигель, а затем они услыхали, как над их головами торжествующе грянули звонкие голоса. Постепенно они затихли, и о том, что тут было, напоминали лишь падающие с неба клочки вуали, стук черепицы на просевшей замковой крыше да жуткий грохот отвалившихся водосточных труб, ударяющихся о стену... Еще долго оба смотрели, оцепенев, на поляну, но поскольку там уже ничего не происходило, они постепенно пришли в себя. «Кажется, кончилось», — сказал Иримиаш и громко икнул. «Хотелось бы думать, — прошептал Петрина. — Давай приведем в себя пацана». Они подхватили под мышки все еще дрожавшего на корточках мальчишку и поставили его на ноги. «А ну-ка, возьми себя в руки, — уговаривал его Петрина, у которого тоже ноги еще подкашивались. — Уже все в порядке». — «Отстаньте вы от меня... — шмыгал носом «щенок». — Пустите!» — «Ну ладно тебе! Все уже позади!» — «Оставьте меня здесь! Я никуда не пойду!» — «Еще как пойдешь! Хватит нюни-то распускать! Говорят тебе, все уже кончилось...» «Щенок» приник к щели и посмотрел на лужайку: «А где... она?» — «Рассеялась как туман, — ответил Петрина и уцепился за выступающий из стены кирпич. — Как туман». «Щенок» несмело заметил: «Так значит, я прав был». — «Это точно, — сказал Иримиаш, подавив наконец икоту. — Должен признать, ты был прав». — «Ну а вы... вы что-нибудь видели?» — «Лично я видел только туман, — сказал Петрина и, уставившись в никуда, горько потряс головой. — Сплошной туман кругом». «Щенок» беспокойно взглянул на Иримиаша: «Но тогда... что это было?» — «Сон наяву, мираж, — сказал бледный как мел Иримиаш; голос его ослаб, и «щенок» невольно придвинулся к нему ближе. — Мы смертельно устали. Особенно ты. Так что, собственно говоря... удивляться тут нечему». — «Абсолютно нечему, — подхватил Петрина. — В таком состоянии все что угодно может привидеться. Вон на фронте, бывало, за мной по ночам ведьмы на помеле гонялись. Серьезно вам говорю». Дойдя до конца дорожки, они вышли на поштелекский проселок и молча брели по нему, обходя глубокие, по щиколотку, лужи, и пока они приближались к старой дороге, что вела прямиком на юго-восточную окраину города, Петрина с нарастающей тревогой следил за состоянием Иримиаша. Видно было, что маэстро вот-вот взорвется от напряжения, ноги у него подкашивались, и порою казалось, что еще шаг, и он рухнет. Лицо его было бледным, черты исказились, остекленевшие глаза смотрели в пустоту. К счастью, «щенок» ничего этого не замечал, поскольку, с одной стороны, после слов Иримиаша и Петрины ему удалось успокоиться («Ну понятно! Что это еще могло быть, если не мираж! Надо взять себя в руки, а то, чего доброго, они меня на смех поднимут!..»), а с другой стороны, его страшно воодушевляло, что Петрина назначил его кем-то вроде впередсмотрящего, отрядив во главу процессии. Неожиданно Иримиаш остановился. Петрина испуганно подскочил к нему, чтобы, если понадобится, подставить плечо. Но Иримиаш оттолкнул от себя товарища, повернулся к нему лицом и бешено заорал: «Ах ты, тварь!!! Когда ты наконец уберешься к чертям собачьим?! Ты достал меня! Понимаешь?! Достал!!!» Петрина быстро потупил глаза. Иримиаш схватил его сзади за воротник и попытался приподнять над землей, а когда это не удалось, грубо пихнул Петрину так, что тот, потеряв равновесие, сделал несколько шагов и шлепнулся в грязь. «Старина... — умоляющим голосом сказал он. — Ты совсем потерял...» — «Так ты еще огрызаешься?!» — заревел Иримиаш, бросился к Петрине, рывком поднял его и с размаху ударил по лицу. Какое-то время они стояли друг против друга. Петрина, потерянный и отчаявшийся, таращился на него, а Иримиаш в одно мгновение протрезвел и чувствовал уже только убийственную усталость и полную опустошенность, тот смертельный груз безысходности, какой ощущает зверь, угодивший в капкан, когда до него доходит, что спасения нет. «Маэстро... — пробормотал Петрина. — Да я... не сержусь...» Иримиаш опустил голову: «Не сердись, лопоухий...» Они двинулись дальше. Петрина махнул рукой изумленно уставившемуся на них «щенку», мол, «пошли, все уже в порядке», и, ковыряя в ухе, тяжко вздохнул. «А ведь я лютеранец...» — «Лютеранин, хочешь сказать?» — уточнил Иримиаш. «Во-во! Именно это я и хотел сказать... — подхватил Петрина и воспрянул духом, видя, что его товарищу полегчало. — Ну а ты?» — «Меня даже не крестили. Знали наверняка, что это мне не поможет...» — «Тсс! — в ужасе замахал руками Петрина, указывая наверх. — Тише, тише!» — «Да брось, лопоухий... — с горечью сказал Иримиаш. — Теперь уже все равно...» — «Тебе, может быть, все равно, а мне нет! Как подумаю обо всех этих котлах, так мурашки по коже бегают!» — «Это все не так, — после длительного молчания сказал Иримиаш. — То, что мы сейчас видели, еще ничего не значит. Преисподняя? Рай? Потусторонний мир? Чепуха это все. Я уверен, что все это бьет мимо цели. Воображение наше ни на минуту не прекращает своей работы, но мы ни на йоту не приближаемся к истине». Тут Петрина окончательно успокоился. Теперь он знал, что уже «все в порядке», как знал он и то, что́ нужно сказать, чтобы его приятель окончательно обрел привычную форму. «Ты бы хоть не орал! — шикнул он на того. — Мало у нас неприятностей?» — «Да ведь Бог не в словах нам является, лопоухий. И ни в чем другом. Он вообще не хочет показываться. Его нет». — «Я верующий человек! — перебил его возмущенный Петрина. — Ты хотя бы со мной посчитался, безбожник!» — «Все это заблуждение. Потому что я понял: между мной и жуком, между жуком и рекой, между рекой и криком, который над ней разносится, нет ни малейшей разницы. Все вершится бессмысленно, неразумно и подневольно, под властью слепой и непостижимой силы. И вовсе не чувства, всегда нас обманывающие, а наше воображение искушает нас верой в возможность когда-нибудь вырваться из подземелий убожества. Так что спасения нет, лопоухий». — «И это ты говоришь сейчас? — возмутился Петрина. — Сейчас? Когда мы увидели то, что увидели?» Лицо Иримиаша скривилось в гримасе горечи. «Потому я и говорю, что нам никогда не вырваться. Тут здорово все придумано! И тебе тоже лучше бы не пытаться и не верить своим глазам. Это ловушка, Петрина. И мы вечно в нее попадаем. Когда нам кажется, что мы вырываемся на свободу, мы всего-навсего поправляем замки на цепях. Да, придумано замечательно». Тут Петрина действительно пришел в ярость: «Я ни бельмеса не понимаю! Хватит лирики, черт возьми! Говори яснее!» — «Предлагаю повеситься, лопоухий, — грустно сказал Иримиаш. — Чтобы долго не мучиться. А впрочем, не все ли равно? Можно и не вешаться». — «Совсем я с тобой запутался, старина! Давай прекратим, не то я сейчас зареву...» Какое-то время они шагали молча, однако Петрина никак не мог успокоиться. «Ты знаешь, маэстро, в чем твоя беда? В том, что ты некрещеный». — «Возможно». Они уже шли по старой дороге, и «щенок», жаждущий приключений, старательно изучал лежащую перед ними местность, но кроме глубоких колдобин, оставленных колесами летних телег, другие опасности их не подстерегали; над головами у них иногда пролетала стая каркающих ворон, дождь временами становился гуще, и ветер по мере приближения к городу как будто все больше усиливался. «И что теперь?» — спросил Петрина. «Не понял». — «Ну, что теперь будет?» — «Что значит — что будет? — сквозь зубы ответил ему Иримиаш. — Стезя наша пойдет круто в гору. Раньше тебе говорили, что делать, а теперь будешь говорить ты. Но говорить будешь в точности то же самое. Слово в слово». Они закурили и мрачно выпустили дым. Когда показалась юго-восточная окраина города, уже смеркалось, они шли по безлюдным улицам, в окнах горел свет, и за ними, безмолвно склонившись над тарелками с дымящимся супом, сидели люди. У рюмочной Иримиаш остановился: «Заглянем сюда ненадолго». Они вошли в душное, наполненное табачным дымом, битком набитое помещение и, протолкавшись через толпу громко хохочущих и спорящих друг с другом извозчиков, страховых агентов, каменщиков и студентов, встали в очередь, которая змеилась у стойки. Хозяин заведения, узнавший Иримиаша, как только тот появился на пороге, проворно подбежал к концу стойки: «Да неужели! Кого я вижу! Мое почтение! И вам, господин затейник! — Он перегнулся через стойку и, протянув руку, тихо спросил: — Чем могу служить, господа?» Иримиаш, не замечая протянутой ему руки, холодно ответил: «Два рома с ликером и вино с содовой». — «Слушаюсь, господа, — убирая руку, ответил слегка опешивший хозяин. — Два рома с ликером и вино с содовой. Сию минуту!» Он поспешно вернулся на место, быстро приготовил напитки и с готовностью протянул Иримиашу: «Господа — мои гости». — «Благодарим, — отвечал Иримиаш. — Ну, что нового, Вейс?» Хозяин отер рукавом рубашки вспотевший лоб и, оглянувшись по сторонам, наклонился к лицу Иримиаша. «На днях с бойни сбежали лошади... — взволнованно прошептал он. — Как говорят». — «Лошади?» — «Ну да, лошади. Я только что слышал, что их до сих пор не поймали. Целый табун, представляете? По городу носятся. Говорят». Иримиаш кивнул и, подняв стаканы над головой, пробился через толпу к Петрине и Шандору, которым удалось отвоевать у окна местечко. «Для тебя, щенок, вино с содовой». — «Спасибо. Как только вы догадались?» — «Нетрудно было сообразить. Ну, будем здоровы!» Они выпили, Петрина предложил спутникам сигареты, и все закурили. Иримиаш почувствовал у себя на плече чью-то руку. «Добрый вечер! Вы?! Черт возьми, как вы здесь оказались? Рад вас видеть!» Рядом с ним стоял лысый низенький человечек с багровым лицом и доверительно протягивал ему руку. «А, знаменитый затейник! Мое почтение!» — поприветствовал он и Петрину. «Как дела, Тот?» — «Да идут помаленьку, насколько можно в наши-то времена! А у вас? Страшно подумать, уже два года, нет, как минимум три, я о вас ничего не слышал! Случилось что?» Петрина кивнул: «Можно и так сказать». — «Тогда дело другое... — Лысый смутился и повернулся к Иримиашу: — Вы слыхали? Сабо дали под зад коленом». — «Угу, — буркнул тот и допил остатки. — Ну, что нового, Тот?» Лысый наклонился к самому его уху: «Квартиру дали». — «Даже так? Поздравляю. Что еще?» — «Жизнь течет, — глухо ответил Тот. — Сейчас выборы были. Вы знаете, сколько людей не явилось? Хм. Наверно, догадываетесь. И я знаю их всех до единого. Они у меня вот здесь». — И он показал на свой лоб. «Ну, молодчина, Тот, — устало сказал Иримиаш. — Я вижу, вы времени зря не теряете». — «Ну а как же, — развел руками лысый. — Человек должен знать свое место. Не так ли?» — «Ну, тогда встаньте в очередь и принесите нам выпить!» — сказал Петрина. Лысый с готовностью наклонился к нему: «Что господа будут пить? Я угощаю». — «Ром с ликером». — «Минуточку, я сейчас». Через мгновение он уже был у стойки, где подозвал хозяина, и вскоре вернулся с полными стаканами в руках. «Ну, за встречу!» — «Будьте здоровы!» — сказал Иримиаш. «До гробовой доски!» — добавил Петрина. «Ну, теперь расскажите вы, какие там новости?» — спросил Тот, выкатывая глаза. «Там — это где?» — вопросительно поглядел на него Петрина. «Это я так сказал. Вообще». — «А, понятно... Вот, как раз возвращаемся с воскрешения мертвеца». Лысый оскалил желтые зубы: «Ха-ха-ха! Вы нисколько не изменились, Петрина! С воскрешения мертвеца, говорите? Это здорово! Узнаю вас!» — «Что, не верите? — кисло усмехнулся Петрина. — Вы плохо кончите, Тот. Я вам советую, не одевайтесь слишком тепло, как почувствуете, что пришел ваш последний час, — жарко будет!» Тот затрясся от хохота. «Хорошо, господа, — отдуваясь, сказал он. — Меня ждут приятели. Надеюсь, еще увидимся?» — «К сожалению, Тот, — грустно улыбнулся Петрина, — это неизбежно». Они вышли из рюмочной и направились по окаймленному пирамидальными тополями проспекту к центру города. В лицо им дул ветер и хлестал дождь, и, распарившись в жаркой рюмочной, они содрогались теперь от озноба. До самой Соборной площади им не встретилось ни души. Петрина даже заметил: «Здесь что, комендантский час ввели?» — «Да нет, просто осень, — печально сказал Иримиаш. — Сейчас усядутся все возле печки и встанут, только когда придет весна. Часами будут торчать у окон, пока не начнет смеркаться, будут есть, пить, тискаться под перинами. А если, случаем, почувствуют, что не могут так больше жить, зададут хорошую взбучку ребенку или поддадут ногой кошке и на время опять успокоятся. Так оно и идет, лопоухий». На главной площади их остановился группа людей. «Вы ничего не видали?» — спросил один из них, долговязый мужик. «Ничего», — ответил Иримиаш. «Как увидите что-нибудь, сразу нам сообщите. Мы будем ждать вестей здесь». — «Хорошо. Пока». Через пару шагов Петрина спросил: «Может быть, я с ума спятил? А может, наоборот, они? Хотя с виду вроде нормальные. Кого мы должны тут увидеть?» — «Лошадей», — ответил Иримиаш. «Каких еще лошадей?» — «Которые с бойни сбежали». Они прошли по безлюдной центральной улице, свернули в Надьроманварош — Большой румынский квартал, и увидели их на пересечении улицы Эминеску и Променада. Неподалеку от питьевого фонтанчика, прямо посреди улицы Эминеску, паслись восемь или десять лошадей. Слабый свет фонарей поблескивал на их крупах. Они мирно щипали травку, пока не заметили уставившихся на них людей, и тогда чуть ли не одновременно вскинули головы, одна из них захрапела, и через минуту табун уже скрылся в противоположном конце улицы. «Ты за кого болеешь?» — спросил, ухмыляясь, «щенок». «За самого себя», — нервно ответил Петрина. Когда они вошли в корчму Штайгервальда, там болталось всего несколько человек, а вскоре покинули помещение и они; был уже поздний час. Штайгервальд возился в углу с телевизором. «Черт бы подрал этот хренов ящик», — не замечая вошедших, ругался он. «Вечер добрый!» — крикнул ему Иримиаш. Штайгервальд быстро обернулся: «Прошу пожаловать! Ну, что с вами?» — «С нами полный порядок, — успокоил его Петрина. — Никаких проблем». — «Это хорошо. А то я уж подумал, — проворчал корчмарь, возвращаясь за стойку. — Вот ведь рухлядь, — гневно указал он на телевизор. — Час кручу-верчу — нет картинки, и все тут». — «Ну, тогда надо отдохнуть немного. Дайте нам два рома с ликером. А молодому человеку — вино с содовой». Они сели за столик, расстегнули пальто и опять закурили. «Щенок, — сказал Иримиаш, — как выпьешь, отправишься к Пайеру. Ты знаешь, где он живет. Ну так вот. Передашь ему, что я его жду здесь». — «О’кей», — ответил тот и снова застегнул пальто. Он взял из рук корчмаря стакан, залпом выпил вино и выскочил за дверь. «Штайгервальд», — остановил Иримиаш хозяина, который, поставив перед ними стаканы, направился было обратно к стойке. «Значит, все же случилось что-то», — встревожился тот и опустил могучее тело на один из стульев. «Ничего не случилось, — успокоил его Иримиаш. — Мне завтра понадобится грузовик». — «А когда вернешь?» — «Завтра вечером. И ночлег нужен на сегодня». — «Хорошо, — с облегчением кивнул Штайгервальд и тяжело поднялся. — А когда заплатишь?» — «Сейчас». — «Да ну?!» — «Ты ослышался, — передумал маэстро. — Завтра». Тут отворилась дверь, и в корчму, запыхавшись, вбежал «щенок». «Сейчас придет», — сообщил он и сел на прежнее место. «Отлично, братец. Попроси себе еще вина. И скажи ему, пусть приготовит фасолевый суп». — «С рулькой!» — расплылся в ухмылке Петрина. Через пару минут в корчму вошел коренастый и толстый седой мужчина; в руках он держал зонт, и видно было, что он уже собирался отойти ко сну, потому что пальто он накинул поверх пижамы, а на ногах были тапочки из искусственного меха. «Я слышал о том, что вы снова пожаловали в наш город, мистер, — сказал он сонливо и медленно сел рядом с Иримиашем. — Не стану возражать, если вы захотите пожать мне руку». Иримиаш, мрачно смотревший перед собой, при словах Пайера вскинул голову и улыбнулся довольной улыбкой: «Мое почтение. Я очень надеюсь, что не нарушил ваш сон». Пайер прикрыл глаза и с усмешкой ответил: «Нет, не нарушили, и полагаю, что после встречи с вами я смогу так же крепко спать». Улыбка не покидала лица Иримиаша. Он положил ногу на ногу, откинулся на спинку стула и выпустил длинную струйку дыма: «Перейдем к делу». — «О, не пугайте меня так сразу, — медленным, но уверенным жестом отмахнулся гость. — Закажите мне чего-нибудь! Раз уж вынули меня из постели». — «Чего вы хотели бы выпить?» — «Не спрашивайте меня, чего я хотел бы. Здесь этого нет. Попросите стаканчик сливовой». Смежив веки, он словно бы задремал, слушая Иримиаша, и вновь поднял руку, чтобы взять слово, только когда корчмарь принес палинку, и гость медленными глотками осушил стакан. «Одну минуту! Куда это мы так торопимся? Мы даже не познакомились с уважаемыми коллегами...» Петрина вскочил: «Я Петрина, с вашего позволения. Это имя... или фамилия, как вам больше нравится». «Щенок» даже не пошевелился: «Хоргош». Пайер вскинул опущенные веки. «У вашего юного друга замечательные манеры, — сказал он и одобрительно посмотрел на Иримиаша. — Он далеко пойдет». — «Я рад, что мои помощники вызывают у вас симпатию, господин торговец оружием». Пайер испуганно отдернул голову: «О, не надо характеристик. Я не фанатик своей профессии, полагаю, вы это знаете. Меня можно звать просто Пайером». — «Хорошо, — улыбнулся Иримиаш и загасил сигарету о низ столешницы. — Дело вот в чем. Я был бы весьма признателен вам... за некоторые... материалы. И чем они будут разнообразнее, тем лучше». Пайер закрыл глаза. «Ваш интерес чисто теоретический или же вы готовы прямо сейчас с помощью некоей суммы помочь мне перенести горести и ничтожество этой жизни?» — «Разумеется». Гость одобрительно кивнул: «В очередной раз я могу засвидетельствовать, что вы истинный джентльмен, коллега. К сожалению, в ваших кругах мне все реже доводится иметь дело с людьми, обладающими столь безукоризненными манерами». — «Не хотите с нами поужинать?» — с неувядающей улыбкой поинтересовался Иримиаш, когда возле их стола появился Штайгервальд с фасолевым супом. «А что вы можете предложить?» — «Ничего», — лаконично ответил корчмарь. «Вы хотите сказать, что все, что вы можете нам подать, — несъедобно?» — устало осведомился Пайер. «Именно так». — «Тогда мне ничего не нужно. — Он поднялся, слегка поклонился и отдельно коротко кивнул «щенку». — Господа, всегда к вашим услугам. Подробности, как я понял, мы обсудим позднее». Иримиаш тоже поднялся и протянул ему руку: «Все верно. Я загляну к вам в конце недели. Приятных снов». — «Коллега, последний раз я мог беспробудно проспать пять с половиной часов двадцать шесть лет назад, а с тех пор я всю ночь ворочаюсь с боку на бок. В любом случае благодарствую». Он еще раз откланялся и неторопливо, с сонливым видом двинулся из корчмы. После ужина Штайгервальд, ворча, постелил им в одном из углов, молча погрозил кулаком в сторону сдохшего телевизора и направился к выходу. «У вас Библии не найдется?» — окликнул его Петрина. Штайгервальд вздрогнул, остановился и повернулся к нему: «Библии? Зачем она вам?» — «Хочу почитать немного на сон грядущий. Меня это всегда успокаивает». — «Постеснялся бы врать-то, — проворчал Иримиаш. — Последний раз ты, наверное, в детстве книгу в руках держал, да и то лишь картинки разглядывал...» — «Не слушайте его! — с обиженным видом запротестовал Петрина. — Это зависть в нем говорит». Штайгервальд почесал в затылке: «Да у меня тут одни детективы! Принести?» — «Упаси Господь! — отшатнулся Петрина. — Это не годится!» Штайгервальд с кислой миной исчез за дверью, ведущей во двор. «Ну и дубина же этот Штайгервальд... — проворчал Петрина. — Честное слово, голодный медведь, который может присниться в кошмарном сне, дружелюбней, чем этот пень». Иримиаш улегся на пол и натянул на себя одеяло: «Может быть. Зато он переживет нас всех». «Щенок» погасил свет, и наступила тишина. Какое-то время ее нарушало лишь бормотанье Петрины, мучительно пытавшегося припомнить слова молитвы, которую он когда-то слышал от бабушки:

Отче наш... ага, отче наш,

иже еси на небесах, или как там,

на небесех, благословен будь

Господь наш Иисус Христос,

не так... да святится... ну да...

да светится имя твое, и да будет...

Да будет... в общем, пусть будет

все, как ты хочешь, повсюду,

куда дотянутся руки твои...

на земле и на небесех...

или хрен его знает где... аминь.

### III. Перспектива, вид сзади

С неба тихо и бесконечно лился дождь, ветер, то вскидываясь, то неожиданно замирая, пробовал на прочность застывшую корочку луж, но касался ее так робко и сокрушенно, что ночная защитная оболочка даже не давала трещин, и вместо того, чтобы вновь обрести вчерашний усталый блеск, лужи своей поверхностью все ненасытней поглощали медленно разливающийся с востока свет. Кору деревьев и временами поскрипывающие сучья, полегшие на землю гниющие сорняки и даже сам «замок» покрыл тонкий скользкий налет, словно тайные агенты мрака пометили их до следующей ночи, когда сможет возобновиться процесс неотступного всепожирающего распада. Когда луна, скрытая в вышине за сплошным облачным покрывалом, незаметно исчезла за западным горизонтом и они, щуря глаза, уставились на солнечный свет, застывший в узких бойницах окон и зияющем проломе, бывшем некогда главным входом, то почувствовали — что-то к рассвету переменилось, что-то в мире не так, и вскоре сообразили, что то, чего они втайне так сильно боялись, все же произошло: их мечте, которая еще вчера так воодушевляла их и гнала вперед, наступил конец и пришло горькое пробуждение... Начальное замешательство вскоре сменилось испуганным сознанием того, что они «с этим делом» глупо поторопились и вместо того, чтобы трезво обдумать все, бросились сломя голову в путь, поддавшись минутному наваждению, и теперь, когда корабли сожжены, у них не осталось шанса даже на отступление, которое казалось все более разумным выходом. Ибо сейчас, в этот горький рассветный час, когда, разминая затекшие члены, дрожа от холода, с посиневшими губами, вонючие и голодные, они выползали из своих нор, то вынуждены были понять, что тот «замок», который еще вчера сулил скорое исполнение их заветных грез, оказался сегодня — в беспощадном солнечном свете — холодным суровым узилищем. С отчаянием и все большей горечью двинулись они вновь по пустынным залам мертвого здания, в мрачном молчании обходя разбросанные в диком беспорядке ржавые механизмы, и в кладбищенской тишине их сердца сжимались от все крепнущего тяжкого подозрения, что они оказались в ловушке, став простодушными жертвами коварного заговора, и стоят теперь здесь, лишенные крова, обманутые, ограбленные и униженные. Первой в логово, где они спали, являвшее в рассветных сумерках весьма жалкое зрелище, вернулась госпожа Шмидт, дрожа, уселась на сбившуюся в ком постель и стала разочарованно наблюдать, как за окнами занимается день. Краска для век, полученная в подарок «от него», размазалась по распухшему лицу, во рту было горько, в горле пересохло, желудок болел, и сил не было даже на то, чтобы поправить растрепанные волосы и хоть как-то привести в порядок одежду. Ибо как бы там ни было, а нескольких восхитительных часов, проведенных «с ним», было недостаточно для того, чтобы даже теперь — когда становилось все очевиднее, что Иримиаш вероломно нарушил свое обещание, — по-прежнему сдерживать страх, что, быть может, уже все пропало... Ей было нелегко, но что еще оставалось делать? Пришлось ей смириться с мыслью, что Иримиаш («...пока это предприятие не обретет своей окончательной формы...») не заберет ее отсюда и мечта о том, чтобы вырваться наконец-то из «грязных лап» Шмидта и покинуть эту «дыру», сможет осуществиться лишь спустя месяцы, а то и годы («Боже мой, опять годы, годы!..»); но от чудовищной мысли, что и это предположение является ложью и ее Иримиаш, может быть, уже где-нибудь в тридевятом царстве ищет новые приключения, руки ее сжались в кулаки. Хотя верно и то, что, думая о вчерашней ночи, когда в заднем углу кладовой корчмаря она отдалась Иримиашу, она и теперь, в этот жуткий час, ни о чем не жалела: те сладостные мгновения, те минуты неземного блаженства возместят ей все; она не простит — никогда, ни за что на свете — лишь «любовный обман», лишь втоптанные в грязь ее «чистые страстные чувства»! А о чем другом могла теперь идти речь, когда окончательно выяснилось, что слова, тайком сказанные вчера на прощание («Еще до рассвета, милая, непременно!..»), были «гнусным враньем»! Она безнадежно и все-таки с жадной тоской глядела через огромный проем бывшего главного входа на неровные струи дождя. Спина ее была сгорблена, сердце упало, растрепанные волосы свешивались на измученное лицо. Но напрасно она пыталась думать о мести, вытеснив ею саднящую печаль смирения, — ей постоянно слышался ласковый голос Иримиаша и виделась его высокая, сухощавая, представительная фигура, выдающий решительность и уверенность изгиб носа, узкие мягкие губы и неотразимый блеск глаз; снова и снова чувствовала она его тонкие пальцы, самозабвенно играющие ее волосами, тепло ладоней на своей груди и бедрах, и во всяком шорохе, воображаемом или реальном, ей чудился он... но когда вернулись все остальные и она увидела в их глазах ту же смертную скорбь, что испытывала сама, то отчаяние прорвало последнюю хилую дамбу, воздвигнутую на его пути нежеланием признать правду. «Что же будет со мной без него?! Ну пожалуйста, ради бога... пусть он бросит меня... Но не сейчас...потом!.. О, если бы только еще разок!.. На час!.. На минуточку!.. Да какое мне дело, что он сделает с ними... Главное, чтобы не поступал так... со мной! О нет! Пусть позволит мне, если уж не дано иного, быть хотя бы его любовницей! Наложницей... Служанкой, в конце концов! Какая мне разница! Пусть пинает меня, бьет смертным боем, только... пускай вернется... хотя бы на этот раз!..» Разложив на коленях скудные припасы, они удрученно сидели вдоль стены и молча жевали, озаренные холодными синеватыми лучами рассвета. Снаружи, от покосившейся, ободранной башни, внутри которой таился когда-то колокол примыкавшей к «замку» часовни, послышался треск, а затем в глубине здания глухо ухнуло, словно где-то опять провалился пол... Делать было нечего, им оставалось только признать, что в дальнейшем бездеятельном ожидании нет никакого смысла, ведь Иримиаш обещал прийти «еще до рассвета», между тем как рассвет давно уже позади. Однако нарушить молчание и высказать нелегкие слова о том, что «случилось большое свинство», пока не осмеливался ни один из них, ибо было неимоверно трудно так вот, вдруг, в «спасителе Иримиаше» увидеть «подлого негодяя», «бесчестного лжеца» и «гнусного вора», тем более что окончательно так и не прояснилось, что же произошло... Ведь ему могло что-нибудь помешать! Или просто они опаздывают из-за плохой дороги, из-за дождя, из-за того, что... Кранер поднялся, подошел к главному входу, прислонился к сырой стене и взволнованно уставился на тропинку, ведущую от тракта к «замку»; он закурил, затем яростно оттолкнулся, выбросил кулак в воздух и вернулся на место. «Братцы!.. — дрожащим голосом сказал он немного спустя. — У меня есть такое чувство, что нас... крепко надули!..» Все опустили глаза, даже те, кто до этого не глядел мертвым взглядом перед собой, и смущенно заерзали. «Говорю вам, надули нас, люди!» — сказал он громче. Но никто не пошевелился, и в испуганной тишине его резкие, отрывистые слова отозвались зловещим эхом. «Да вы что, все оглохли? — выходя из себя, заорал Кранер и вскочил. — Сказать нечего?!» — «А я вас предупреждал! — бешено сверкая глазами, закричал Шмидт. — Я с самого начала предупреждал!» Губы у него тряслись, а указательный палец укоризненно устремился на съежившегося Футаки. «Он обещал, — взревел Кранер, выпучив глаза и подавшись вперед, — обещал, что построит нам здесь Ханаан!.. Вот, пожалуйста! Посмотрите! Вот он, наш Ханаан! Вот что из этого вышло, да чтоб небо обрушилось на всех прохиндеев, какие есть в этом гребаном мире! Заманил нас сюда... на руины... а мы! Будто стадо баранов!..» — «Ну а сам, — подхватил Шмидт, — сам отчалил в противоположном направлении. Кто знает, где он сейчас?! Ищи теперь ветра в поле!..» — «И кто знает, в каком кабаке он спускает сейчас наши денежки?!» — «Мы за них целый год работали! — дрожащим голосом продолжал Шмидт. — Вкалывали как проклятые! И вот я опять без гроша! Без единого грошика!» Кранер, как запертый в клетку зверь, в бешенстве ходил взад-вперед, сжав кулаки и время от времени боксируя воздух: «Это дорого ему обойдется! Этот негодяй еще пожалеет! Кранер этого так не оставит. Я его из-под земли достану! Вот этими вот руками поймаю гада!» Футаки нервно вскинул руку: «Что-то вы разошлись! Полегче на поворотах! А что, если он через две минуты появится? Что тогда запоете?! А?!» Шмидт вскочил: «И ты еще смеешь тут выступать? Разевать свою пасть?! Кого мне благодарить за то, что меня ограбили?! Не тебя ли?!» Кранер подошел к нему и пристально посмотрел в глаза. «Погодите! — перевел он дыхание. — Хорошо. Подождем две минуты! Ровно две! И посмотрим... что будет!» Он потянул за собой Шмидта, и оба замерли на пороге главного входа. Кранер, широко расставив ноги, мерно покачивался взад-вперед. «Ты гляди-ка! Уже идет, — насмешливо повернулся Шмидт в сторону Футаки. — Ты слышишь? Идет твой спаситель и спотыкается! Эх, несчастный ты человек!» — «Да постойте вы, — перебил его Кранер и крепко сжал локоть Шмидта. — Подождем, пока две минуты кончатся! А потом поглядим, что он будет нам говорить!» Футаки опустил голову на подтянутые к груди колени. Наступила мертвая тишина. Госпожа Шмидт испуганно сжалась в комочек в углу. Халич нервно сглотнул и, смутно догадываясь о том, что сейчас воспоследует, еле слышно забормотал: «Это кошмар... чтобы в такое время... друг друга!..» Директор школы приподнялся со своего места. «Ну вы что в самом деле! — примиряющим тоном обратился он к Шмидту и Кранеру. — Да разве так можно? Ведь это не выход! Одумайтесь...» — «Цыц ты, клоун!» — рявкнул на него Кранер, и директор под его угрожающим взглядом тут же опустился на место. «Ну что, приятель, — не оборачиваясь к Футаки и вглядываясь в тропинку, глухо спросил Шмидт, — прошли уже твои две минуты?» Футаки поднял голову и обхватил колени руками: «Ну, скажи мне, пожалуйста, зачем ты устраиваешь этот цирк? Ты серьезно думаешь, будто я во всем виноват?» Шмидт тут побагровел: «А кто меня убеждал в корчме?! Не ты?! — И медленно двинулся на него. — Кто талдычил, мол, не волнуйся, все будет как надо? Кто?» — «Да ты спятил, приятель. — Футаки тоже повысил тон и нервно заерзал. — Ум за разум зашел?» Но Шмидт стоял уже перед ним, не давая Футаки встать. «Верни мои деньги! — выкатив налитые кровью глаза, прошипел Шмидт. — Ты слышал, что я сказал?!» Футаки отполз назад и прижался спиной к стене. «Ты их не у меня ищи! Да опомнись ты!» Шмидт опустил глаза: «Верни деньги — в последний раз тебе говорю!» — «Эй, братцы, держите его, он и правда спя...» — закричал Футаки, но не успел закончить — Шмидт с размаху ударил его ногой по лицу. Голова Футаки отдернулась назад, на мгновение он застыл, из носа брызнула кровь, и он медленно повалился набок. Но к этому моменту и госпожа Шмидт, и Халич, и директор школы уже подскочили к Шмидту, заломили ему руки за спину и, толкаясь, с большим трудом оттащили его. Кранер, нервно ухмыляясь, расставив ноги и скрестив руки на груди, застыл в дверном проеме, а затем направился к Шмидту. Госпожа Шмидт, госпожа Кранер и госпожа Халич, вереща, испуганно метались вокруг лежащего без сознания Футаки; первой опомнилась госпожа Шмидт, схватила тряпку, выбежала на террасу и, окунув тряпку в лужу, вернулась; встав на колени, она принялась обтирать лицо Футаки, затем крикнула причитающей госпоже Халич: «Вместо того чтобы голосить, принесли бы еще одну тряпку, побольше — кровь ему промокать!..» Футаки постепенно пришел в сознание, открыл глаза, посмотрел одурело на потолок, на взволнованное лицо склонившейся над ним госпожи Шмидт и, внезапно почувствовав острую боль, попытался сесть. «Ради бога, не шевелитесь! — закричала госпожа Кранер. — У вас еще кровь не остановилась!» Они уложили его обратно на одеяла, госпожа Кранер бросилась наружу, чтобы прополоскать окровавленную тряпку, а госпожа Халич, опустившись рядом с Футаки на колени, стала тихо молиться. «Да гоните вы эту ведьму, — простонал Футаки. — Я еще жив...» Шмидт, тяжело дыша, с мутным взглядом сидел в противоположном углу и упирал сжатые кулаки себе в пах, как будто лишь таким образом мог удержаться на месте. «Ну, знаете, — покачал головой директор школы, вместе с выглядывающим из-за его спины Халичем преградив дорогу Шмидту, чтобы не дать ему снова наброситься на Футаки. — Я просто глазам своим не поверил! Вы ведь серьезный взрослый человек! Да как вы такое удумали?! Взять и ударить другого! Да вы знаете, как это называется? Самоуправство!» — «Отстаньте вы от меня», — проворчал тот сквозь зубы. «Правильно! — подступил к директору Кранер. — Потому что кого-кого, а вас это не касается! Чего вы повсюду суете свой нос?! И вообще, этот мужлан получил только то, что ему причиталось!..» — «А вы молчите! Тоже хорош гусь!.. — разъярился директор. — Это ведь вы... вы его подбивали! Думаете, я не видел? Так что лучше бы вам помолчать!» — «А я вам советую... — сказал Кранер, мрачно сверкнув глазами, и ухватил директора за грудки, — я советую вам убираться отсюда, покуда целы! Не то я вам обломаю...» В этот момент с порога раздался зычный, решительный, строгий голос: «Что здесь происходит?!» Все вскинули головы. Госпожа Халич испуганно вскрикнула, Шмидт вскочил, Кранер невольно попятился. На пороге стоял Иримиаш — в мышиного цвета плаще, застегнутом до подбородка, в надвинутой на лоб шляпе. Колючим взором он «оценивал обстановку», держа руки в карманах, из уголка рта свисала размокшая сигарета. Наступила мертвая тишина. Футаки сел, затем, пошатываясь, поднялся на ноги, промокнул все еще сочившуюся из носа кровь и быстро спрятал за спину тряпку. Потрясенная госпожа Халич перекрестилась и тут же опустила руки, потому что муж отчаянно замахал ей, призывая «немедленно прекратить!». «Я спрашиваю, что здесь происходит?» — грозно повторил Иримиаш. Он сплюнул окурок, сунул в рот новую сигарету и закурил. Посельчане стояли перед ним, понурив головы. «Так мы уже думали, что вы не придете...» — нерешительно начала госпожа Кранер и натянуто улыбнулась. Иримиаш взглянул на часы и раздраженно постучал по стеклу: «Шесть часов сорок три минуты. Часы идут точно». Госпожа Кранер едва слышно ответила: «Но ведь вы... вы говорили, что еще затемно...» Иримиаш нахмурил брови: «Я вам что, таксист? Я ради вас в лепешку готов расшибиться, не сплю трое суток, часами мотаюсь под дождем, бегаю из конторы в контору, стремясь устранить все препятствия, а вы?! — Он шагнул вперед, бросил взгляд на остатки их бивуака и остановился рядом с Футаки. — Что это с вами?» Футаки стыдливо опустил голову: «Кровь из носа пошла». — «Это я вижу. А по какой причине?» Футаки промолчал. «Ну, друг мой... — вздохнул Иримиаш, — этого я от вас не ожидал. И от вас тоже! — повернулся он к остальным. — А ведь мы еще только в самом начале. А что будет дальше? Будете резать друг друга? Нет... — жестом остановил он Кранера, хотевшего что-то сказать, — увольте, подробности меня не интересуют! Мне достаточно и того, что я видел. Печально, скажу я вам, все это очень печально!» Иримиаш прошелся перед посельчанами, хмуро глядя перед собой, а затем, когда вновь оказался у главного входа, повернулся к ним: «Послушайте, я не знаю, что в точности здесь случилось. И не желаю знать, потому что у нас слишком мало времени, чтобы тратить драгоценные минуты на всякую чепуху. Но я этого не забуду, и прежде всего не забуду вам, мой друг Футаки. Однако на этот раз я вас всех прощаю. Только с одним условием: чтобы больше такого никогда не было! Уяснили?! — Он сделал короткую паузу и, придав лицу выражение озабоченности, провел рукой по лбу. — Ну а теперь к делу! — Затянувшись в последний раз докуренной почти до ногтей сигаретой, он бросил окурок на каменный пол и затоптал его. — Я должен сообщить вам кое-что весьма важное». Все, будто очнувшись от какого-то наркотического дурмана, разом пришли в себя. И теперь просто не могли понять, что случилось с ними в минувшие часы, что за дьявольское наваждение заглушило в них здравый смысл, что нашло на них, когда они, обезумев, набросились друг на друга, как «грязные поросята, заждавшиеся помоев», и как стало возможным, чтобы они, вырвавшись наконец-то из беспросветности, которой, казалось, не будет конца, и вдохнув опьяняющий воздух свободы, стали, как узники, в безумном отчаянии носиться по клетке? И при этом ослепли? Иначе как можно объяснить, что в своем будущем доме они углядели только упадок, смрад и убожество, забывши обетование, что «будет воздвигнуто заново то, что разрушено, и пойдет в гору то, что катилось с горы». Словно бы пробудившись после дурного сна, окружили притихшие посельчане Иримиаша. Глубже свалившегося на них облегчения было, пожалуй, только чувство стыда, ведь в своей непростительной нетерпимости почти все они отреклись от того, кто — пускай с опозданием в пару часов — но сдержал все же данное слово и кому, если разобраться, они обязаны абсолютно всем; саднящий стыд лишь усиливался оттого, что их благодетель ни о чем даже не догадывался, не знал, что они, за кого он «положил душу», только что поносили его последними словами, втаптывали его в грязь, обвиняли бездумно в том, живым опровержением чего был тот факт, что он стоял сейчас перед ними в полной готовности к действию. Вот почему они слушали его с нарастающими угрызениями совести и по этой причине, разумеется, — с незыблемым доверием и согласием, и, еще не успев понять толком, о чем идет речь, стали воодушевленно кивать, особенно Кранер и Шмидт, прекрасно осознававшие тяжесть своей вины. Между тем «неблагоприятное изменение обстоятельств», о котором говорил Иримиаш, вполне могло бы их даже огорчить, ибо выяснилось, что «планы, связанные с усадьбой Алмаши, придется отложить на неопределенное время», так как некоторым кругам «в нынешней ситуации может не понравиться» появление в данном месте объекта «столь туманного назначения», причем особые возражения, сообщил им Иримиаш, вызвало то обстоятельство, что усадьба находится далеко от города и, таким образом, труднодоступность «замка» практически «сводит к минимуму» возможность систематического контроля... В данном положении, продолжал Иримиаш с вибрирующими нотками в и без того звонком голосе, «единственный путь к осуществлению столь серьезно волнующего всех нас плана заключается в том, чтобы до поры до времени рассеяться по территории области», до тех пор, пока «все эти господа не запутаются, не потеряют наши следы, и тогда мы спокойно вернемся сюда, чтобы приступить к исполнению нашего изначального замысла...» С нарастающей гордостью слушали они слова о том, что с этой минуты они становятся «персонами особо важными», ибо «призваны к делу», в котором преданность, рвение и неусыпная бдительность являются совершенно незаменимыми качествами. И хотя подлинный смысл некоторых пассажей остался для них загадкой (в особенности таких как «Наша цель затмевает саму себя»), им сразу же стало понятно, что их рассеяние всего лишь «тактическая уловка» и если друг с другом у них до поры до времени контакта не будет, то связь с Иримиашем останется непрерывной и содержательной... «Только не думайте, — возвысил тон маэстро, — что все это время вы будете бездеятельно ожидать, пока дела сами по себе переменятся к лучшему!» С недоумением, впрочем быстро прошедшим, слушали они, что задача их будет заключаться в неусыпном наблюдении за их окружением и строгой фиксации мнений, толков, событий, имеющих «безусловную важность с точки зрения дела», поэтому всем им придется приобрести совершенно необходимый навык, который поможет «отличать благоприятные симптомы от неблагоприятных, иными словами — добро от зла», ибо он, Иримиаш, надеется, что никто из них не считает всерьез, что без этого они смогут продвинуться хоть на шаг по детально описанному им пути... Когда же на вопрос Шмидта «А на что мы будем все это время жить?» был получен ответ, мол, «спокойствие, люди, спокойствие — все продумано и организовано, у каждого из вас будет работа, а на первое время на самое необходимое вы получите сумму из общего капитала», то у всех уже изгладились из памяти последние следы утренней паники, и теперь оставалось только собрать вещи и погрузить их в кузов грузовика, ожидавшего их на тракте, у начала тропинки, ведущей к «замку»... Они лихорадочно взялись за дело, и пусть не сразу, а с некоторыми заминками, между ними завязалась веселая болтовня; пример подавал главным образом Халич, который, таща баул или чемодан, то подражал по-медвежьи неповоротливому Кранеру, то, прячась за спиной у своей жены, как мартышка передразнивал ее размашистую молодецкую походку, а управившись со своими вещами, он вытащил на дорогу и чемоданы Футаки, который все еще сильно пошатывался, заметив ему: «Друзья познаются в беде...» Когда все вещи были уже у дороги, «щенку» удалось развернуть грузовик (после долгих просьб Иримиаш позволил ему ненадолго усесться за руль), и теперь осталось лишь, бросив последний взгляд на место их будущей жизни, молча попрощаться с «замком» и забраться в открытый кузов. «Ну, братцы, — высунул голову из кабины Петрина, — рассаживайтесь поудобней — даже на этом сверхскоростном драндулете путь займет не менее двух часов! Застегнуться как следует, нахлобучить капюшоны и шляпы и повернуться спиной к вашему светлому будущему, не то этот чертов дождь будет хлестать вам в рожу...» Багаж занял почти половину кузова, поэтому людям пришлось разместиться двумя рядами, тесно прижавшись друг к другу, так что не удивительно, что когда Иримиаш нажал на газ и грузовик, дергаясь, тронулся с места — назад, к городу, — они вновь ощутили то же воодушевление, то же тепло «нерушимого единения», которые скрашивали им некоторые запомнившиеся этапы вчерашнего путешествия. Кранер и Шмидт сильнее других клялись в том, что никогда больше не позволят себе дурацких приступов ярости, и если в будущем в их компании возникнут какие-нибудь раздоры, они будут первыми, кто положит этим раздорам конец. Шмидту, который тщетно пытался в ходе недавнего всеобщего ликования каким-то образом дать понять Футаки, что он уже «очень раскаивается в содеянном», так и не удалось «пересечься» с ним на тропинке, да и духу для этого не хватало, так что Шмидт лишь теперь решился на то, чтобы предложить приятелю «ну, сигарету хотя бы», но госпожа Кранер и Халич так зажали его с двух сторон, что он не мог даже пошевелить рукой. «Не беда, — успокаивал он себя, — в крайнем случае угощу, когда слезем с этого драндулета... Не расставаться же нам с ним в ссоре!» У госпожи Шмидт лицо раскраснелось; при виде стремительно удаляющегося огромного, заросшего чертополохом и диким плющом здания усадьбы с торчащими по углам четырьмя убогими башенками и убегающей в бесконечную даль дороги глаза ее засверкали; и от облегчения, оттого, что «ее любимый» все же вернулся, она пришла в такое волнение, что не обращала внимания ни на дождь, ни на ветер, бившие в лицо, от которых не защищал даже накинутый на голову капюшон, поскольку во всеобщей неразберихе она оказалась на самом краю заднего ряда. Теперь у нее уже не оставалось сомнений, она поняла, что ее веру в Иримиаша больше не сможет поколебать ничто, как вдруг — сидя в кузове мчащегося грузовика — она поняла и то, какая роль ее ожидает в будущем: призрачной тенью будет следовать она за ним по пятам — в качестве то любовницы, то служанки, то жены, превращаясь, если понадобится, даже в ничто, чтобы потом возродиться вновь; она научится понимать каждый его жест, разгадывать скрытый смысл его интонаций, его снов, и если — не приведи Господь! — его кто-то обидит, то именно ей на колени сможет он преклонить свою голову... Она научится ждать, подготовится к возможным невзгодам, и если однажды по воле судьбы Иримиаш вынужден будет навеки покинуть ее, то ничего не поделаешь, она смирится и с этим: до конца своих дней будет молча носить траурную вуаль и сойдет в могилу с гордым сознанием, что ей довелось быть подругой «великого человека и истинного мужчины»... Рядом с ней сидел Халич, которому ничто — ни дождь, ни ветер, ни тряска — не могло испортить хорошего настроения, хотя его узловатые ноги затекли в сапогах, с крыши кабины за шиворот ему временами низвергалась вода, а от порывов ветра, бивших сбоку в лицо, из глаз текли слезы; его возбудило не только возвращение Иримиаша, но и сам факт путешествия, ведь, как он любил говорить, лично он всегда был «фанатом скорости», и теперь наступил именно такой момент: Иримиаш, не обращая внимания на опасные колдобины на дороге, вдавливал педаль газа в пол, и Халич, когда ему удавалось приоткрыть глаза, блаженствовал, зачарованно глядя на проносившиеся с бешеной скоростью пейзажи; и вскоре в его голове родилась идея: еще ведь не поздно, а сейчас тем более, осуществить давно лелеемую им мечту, и он уже подбирал слова, чтобы уговорить Иримиаша помочь ему, когда вдруг осознал: чтобы быть шофером, следует отказаться от некоторых привычек, от которых — увы! — он «в силу преклонного возраста» отказаться не может... Поэтому он решил, насколько это возможно, насладиться радостями поездки сейчас, чтобы во всех мельчайших подробностях описывать их будущим собутыльникам, потому что ведь «личный опыт даст сто очков вперед» любому воображению... Одна только госпожа Халич не радовалась «этой сумасшедшей гонке», ибо — в отличие от своего мужа — терпеть не могла всяческих новомодных поветрий и, будучи почти уверенной, что если не остановить безумия, то они непременно свернут себе шею, в страхе молитвенно сложила руки и просила Господа о защите, дабы не оставил их в этой опасности; но напрасно она уговаривала остальных («Христом Богом молю вас, скажите этому лихачу, чтобы сбавил скорость!»), в реве мотора и диком свисте ветра те и «ухом не вели» на ее причитания, напротив, казалось, будто «эта опасность доставляла им удовольствие!..». Кранеры и даже директор школы сидели в кузове с гордым видом и почти детской радостью, надменно щурясь на бешено проносившийся мимо них безотрадный ландшафт. Именно так они представляли себе это путешествие — с ветерком, на головокружительной скорости, торжествуя над всеми препятствиями!.. Кичливо поглядывали они на места, которые — вот ведь чудо! — они покидали все же не как какие-то нищеброды, а с гордо поднятой головой, уверенные в своей конечной победе!.. И жалели только о том, что, мчась мимо поселка и, далее, мимо дома дорожного мастера у плавного поворота, не могли видеть на такой скорости, как мучаются черной завистью корчмарь, Хоргоши и слепой Керекеш... Футаки осторожно потрогал распухший нос и пришел к заключению, что «легко отделался», ведь еще недавно нос саднил так, что он не смел к нему прикоснуться и потому не знал, цела ли переносица. Он все еще не до конца пришел в себя, голова у него кружилась, и его подташнивало. Перед глазами мелькали беспорядочные картины: то он видел перед собой искаженное багровое лицо Шмидта, то стоящего за спиной Шмидта и готового броситься в атаку Кранера, то вновь ощущал на себе суровый, испепеляющий взгляд Иримиаша... По мере того как мало-помалу утихала боль в носу, он обнаруживал у себя и другие травмы: от одного из клыков откололся кусок, из нижней губы текла кровь. Он едва слышал благодушные слова сидящего рядом с ним директора («Не принимайте это так близко к сердцу! В конце концов, все обернулось к лучшему...»), потому что в ушах у него звенело, он крутил головой, не зная, куда сплюнуть скопившуюся во рту запекшуюся, соленую кровь, и почувствовал облегчение лишь тогда, когда мимо промелькнули заброшенная мельница и провалившаяся крыша Халичей, но как он ни поворачивался, как ни вертелся, так и не смог увидеть машинный зал, потому что, когда ему удалось занять подходящую позицию, грузовик уже мчался мимо корчмы. Футаки бросил несмелый взгляд на сидящего за ним Шмидта и признался себе, что, как это ни странно, он не сердится на него; он ведь знал его, знал, что Шмидт человек по натуре вспыльчивый, и — еще до того, как успел подумать о мести — от всего сердца простил его, решив как можно скорее дать ему это понять, ибо он ведь догадывался, что творится сейчас у того на душе. С грустью глядя на мелькавшие по обе стороны дороги деревья, он чувствовал: то, что случилось в «замке», должно было произойти в любом случае. Шум, свист ветра и то и дело обрушивающийся сбоку дождь на какое-то время отвлекли его внимание и от Шмидта, и от Иримиаша. Он с трудом выудил из кармана сигарету, наклонился вперед и, прикрывая ладонью огонь, закурил. Они давно уже проехали и корчму, и поселок, и, насколько он мог заметить, скосив взгляд в сторону, осталось каких-нибудь двести — триста метров до электроподстанции, а оттуда они уже через полчаса наверняка доберутся до города. От Футаки не укрылось, как гордо и воодушевленно поглядывали по сторонам и директор, и сидящий по другую сторону от него Кранер, как будто ничего не случилось и все, что произошло в «замке», дело прошлое и не стоит упоминания; сам же Футаки совершенно не чувствовал, будто с приходом Иримиаша все тучи над их головой рассеялись... И хотя несомненно, что в ту минуту, когда они увидали стоящего на пороге Иримиаша, «их жребий переменился», эта странная суета, эта гонка по пустынному тракту совсем не указывали на то, что они следовали по точно спланированному маршруту — скорее, все это было похоже на паническое бегство, как будто они бесцельно неслись «куда глаза глядят», не имея понятия о том, что их ждет, если они наконец где-нибудь остановятся... С недобрым чувством Футаки осознал, что совершенно не представляет себе, что задумал Иримиаш и ради чего нужно было в такой спешке покидать усадьбу. На мгновение в голове его мелькнула устрашающая картина, от которой в последние годы он не мог избавиться: в потертом пальто, опираясь на палку, голодный и совершенно отчаявшийся, он снова бредет по тракту, позади медленно исчезает во мраке поселок, а впереди в зыбком тумане колеблется горизонт... И сейчас, отупев от рева мотора, он вынужден был признать, что предчувствие не обманывало его: нищий, голодный и сокрушенный, он сидит в кузове невесть откуда взявшегося грузовика, несущегося в неизвестность по неизвестной дороге, и если она приведет к развилке, то не он будет решать, куда повернуть, потому что ему остается только безвольно смириться с тем, что направление его жизни целиком определяет воля разбитого, дергающегося, старого драндулета. «Да, похоже, спасения нет, — безучастно подумал Футаки. — Куда ни кинь — все клин. Проснусь завтра в незнакомой комнате и так же не буду знать, что меня ожидает, как если бы я отправился в путь по собственному желанию. Разложу на столе да на лежаке, если будут там таковые, свое барахлишко и в сумерках вновь буду наблюдать, как меркнет за окном свет...» Со страхом он осознал, что его вера в Иримиаша пошатнулась уже в тот момент, когда тот появился в воротах «замка»... Может быть, не вернись Иримиаш, у него еще оставалась бы какая-то надежда... Но так? Ведь он уже в «замке» почувствовал, что за его словами скрывается только горечь, и уже тогда понял, что все пропало, когда увидел Иримиаша возле грузовика с понуренной головой, покуда они грузили свою поклажу!.. И вдруг, неожиданно все стало понятным... В Иримиаше уже не осталось сил, не осталось энтузиазма, «вконец угасло былое пламя», и сам он беспомощно мается в этой жизни, продолжая действовать по привычке; и Футаки наконец понял, что своей идиотски заумной речью в корчме он просто хотел скрыть от них, которые в него еще верили, что он беспомощен точно так же, как и они, что больше уже не надеется придать смысл той реальности, из удушающих объятий которой он тоже не в силах освободиться. Его все еще мучили пульсирующая боль в носу и приступы тошноты, и даже сигарета не доставляла сейчас удовольствия, так что Футаки, не докурив, отшвырнул ее. Они проехали по мосту через речку Вонючку, в которой, покрытая тиной и ряской, уже неподвижно застыла вода, вдоль дороги стали чаще встречаться деревья, и порой, в окружении сонных акаций, показывалось полуразрушенное здание какого-нибудь хутора; дождь несколько приутих, но ветер все яростнее налетал на них, грозя сорвать с наваленной в кузове груды вещей какой-нибудь узел. Людей видно не было, и даже проехав после поворота на Элек по дороге, ведущей к городу, они не встретили ни души. «На них что, мор напал?» — проорал Кранер. И только доехав до рюмочной и увидев двух типов в дождевиках, которые, стоя в обнимку, что-то пьяно горланили, они успокоились; грузовик свернул на улицу, ведущую к центральной площади, и они, словно освободившиеся после долгого заключения зеки, стали жадно разглядывать одноэтажные домики, затворенные ставни, изящные водостоки на крышах и большие резные ворота. Время теперь, конечно, летело стремительно, и не успели они налюбоваться открывшимся зрелищем, как грузовик уже затормозил на просторной площади у железнодорожной станции. «Ну, братцы, — крикнул, высунувшись из кабины, Петрина, — прогулка закончена». Все уже приготовились вылезать, но Иримиаш остановил их. «Подождите, — прокричал он, выходя из кабины. — Собираются только Шмидты, Кранеры и Халичи! А вы, Футаки, и вы, господин директор, пока останьтесь». Он шел впереди твердой решительной поступью, остальные же, нагруженные поклажей, спотыкаясь, следовали за ним. Войдя в зал ожидания, они сложили багаж в углу и обступили Иримиаша. «Время есть, можно спокойно все обсудить. Ну что, замерзли?» — «Да уж, сегодня вечером придется нам почихать, это как пить дать! — засмеялся Кранер. — Нет ли тут кабака? Я бы выпил чего-нибудь!» — «Есть, — ответил Иримиаш и посмотрел на часы. — Идемте». Ресторан был почти совершенно пуст, только какой-то железнодорожник на подгибающихся ногах опирался на стойку. «Вы, Шмидт, — начал Иримиаш, когда все осушили по стаканчику крепкой палинки, — отправитесь с женой в Элек. — Он вытащил бумажник, вынул из него записочку и вручил Шмидту. — Здесь все указано. Кого искать, на какой улице, номер дома и прочее. Скажете, что вы от меня. Все понятно?» — «Понятно», — кивнул Шмидт. «И скажете, что через пару дней я тоже туда загляну. А пока пусть дадут вам работу, стол и жилье. Понятно?» — «Понятно. А что за работа там?» — «Он мясник, — сказал Иримиаш, указывая на записку. — Работы хватает. Вы, госпожа Шмидт, будете прислуживать. А вы, Шмидт, будете помогать мяснику. Я уверен, вы справитесь». — «Да уж не подкачаем», — подтвердил Шмидт. «Хорошо. Поезд будет... — Иримиаш снова взглянул на часы, — да, примерно через двадцать минут. — Он повернулся к Кранерам. — А вы получите работу в Керестуре. Я ничего вам не записал, поэтому постарайтесь запомнить. Вашего человека звать Калмар, Иштван Калмар. Названия улицы я не знаю, но сначала найдете католический храм, он там один, так что не ошибетесь. Улица находится справа от храма. Запомнили? Идите по ней, пока не увидите по правую руку вывеску дамского портного. Там и живет Калмар. Скажете ему, что вас прислал Дёнци, запомните хорошенько, потому что не исключено, что мое настоящее имя он забыл. Скажете ему, что вам требуется работа, жилье и стол. Безотлагательно. За домом есть постирочная, пусть поселит вас там. Всё запомнили?» — «Да, — возбужденно залопотала госпожа Кранер. — Храм, справа улица, а там вывеска. Все будет в порядке». — «Вот это мне нравится, — улыбнулся Иримиаш и повернулся к Халичу. — Ну а вы, Халич, сядете на поштелекский автобус, он отправляется с привокзальной площади каждый час. В Поштелеке отправитесь в евангелический приход и спросите пастора Дивичана. Не забудете?» — «Дивичана», — с готовностью повторила госпожа Халич. «Правильно. И скажете, что вас прислал я. Он уже несколько лет донимает меня, чтобы нашел ему одного-двух помощников. Лучше вас никого и придумать нельзя. Места у него хватает, сможете выбирать, и церковное вино есть, Халич, ну а вашими обязанностями, госпожа Халич, будет прибираться в церкви, готовить на троих и заниматься хозяйством...» Халичи просияли от счастья. «Как вас благодарить за вашу доброту! — со слезами на глазах выразила признательность госпожа Халич. — Мы этого никогда не забудем!» — «Ладно, ладно, — остановил ее Иримиаш. — Еще рано благодарить меня. Лучше послушайте меня все внимательно. На первое время, пока дела не наладятся, вы получите по тысяче форинтов из общих денег. Тратьте их осмотрительно, без мотовства! И не забывайте о том, что нас объединяет! Каждую минуту помните, в чем ваша задача. Следить за всем, что происходит в Элеке, Поштелеке и Керестуре, только это может приблизить нас к цели! Через несколько дней я вас всех навещу, и мы тогда все подробно обсудим. Вопросы есть?» Кранер откашлялся: «Я думаю, все понятно. А сейчас мы торжественно... одним словом... хотели бы поблагодарить вас... Ну, за все, что вы, так сказать...» Иримиаш, как бы защищаясь, поднял руку: «Никаких благодарностей, братцы. Это мой долг. А теперь, — он поднялся, — пришло время прощаться. У меня еще куча дел... Ответственные переговоры...» Халич подскочил к нему и растроганно пожал руку. «Уж вы берегите себя, — пробормотал он. — Мы за вас беспокоимся! Не дай бог что случится!» — «За меня вы не переживайте, — улыбнулся Иримиаш и направился к выходу. — Берегите себя и не забывайте о неусыпной бдительности!» Он вышел из зала ожидания, подошел к грузовику и подозвал к себе директора школы. «Теперь вы послушайте! Мы высадим вас у Штребера, сядете в «Шараге», а я примерно через час за вами заеду. Тогда поговорим об остальном. А где Футаки?» — «Я здесь», — отозвался тот, появляясь из-за машины. «Вы...» Футаки поднял руку: «Обо мне вы не беспокойтесь». Иримиаш изумленно уставился на него: «Что с вами?» — «Со мной? Ничего. Но я знаю, куда я отправлюсь. Ночным сторожем уж куда-нибудь примут». Иримиаш раздраженно махнул рукой: «Вы опять фордыбачите. В другом месте вы пригодились бы куда больше, но как хотите, пусть будет по-вашему. Отправляйтесь сейчас в Надьроманварош, у «Золотого треугольника» — вы знаете, где это, — найдете стройку. Там требуется ночной сторож. Жилье вам дадут. На первое время вот вам тысяча форинтов. Пообедайте где-нибудь. Я посоветовал бы вам Штайгервальда, от стройки дотуда — один плевок. Замечательная еда». Футаки опустил голову: «Вы имеете в виду плевок?» Иримиаш поморщился: «С вами сейчас невозможно разговаривать. Придите в себя. И вечером будьте у Штайгервальда. Договорились?» Он протянул ему руку. Футаки неуверенно пожал ее, другой рукой сунул деньги в карман и, отвернувшись от стоящего у грузовика Иримиаша, молча пошел, опираясь на палку, в сторону Поцелуйной улицы. «А чемоданы!» — крикнул, высунувшись из кабины, Петрина, затем выпрыгнул и помог вернувшемуся Футаки приладить их на плечо. «Не тяжело?» — по-идиотски спросил директор и поспешно протянул руку. «Терпимо, — тихо ответил Футаки. — Ну, пока». И снова зашагал прочь, а Иримиаш, Петрина, «щенок» и директор школы, растерянно посмотрев ему вслед, забрались обратно в машину, директор — в кузов, остальные — в кабину, и поехали назад, к центру города. Футаки устало тащился по улице, чувствуя, что вот-вот упадет под тяжестью чемоданов, и, добравшись до первого перекрестка, опустил их на землю, развязал ремни и, немного подумав, столкнул один чемодан в придорожную канаву, а с оставшимся двинулся дальше. В отчаянии, потеряв цель, сворачивал он из улицу в улицу, иногда ставил чемодан на землю, чтобы передохнуть, и шел дальше... Когда кто-нибудь попадался ему навстречу, он проходил мимо с опущенной головой, потому что ему казалось, что, загляни он в чужие глаза, и его собственное несчастье станет еще более унизительным. Ведь он теперь человек пропащий... «Ну какой же я идиот! Как я верил еще вчера, как надеялся! И вот вам, пожалуйста! Полюбуйтесь! Плетусь с разбитым носом, сломанным зубом и разбитой губой, в грязи и в крови, словно должен расплачиваться этим за свое безрассудство». «Эх, нет все-таки... нет в мире справедливости...» — тоскливо твердил он вечером, включив свет в одном из бараков на стройке возле «Золотого треугольника» и пустым взглядом уставясь на собственное измученное отражение в грязном стекле окна. «Этот Футаки — величайший дурень из всех, кого я только знал, — заметил Петрина, когда они ехали по улице в сторону центра. — И что на него вдруг нашло? Он что, и правда вообразил, будто тут ему Ханаан? Или какого дьявола? Вы видели, какую он скорчил рожу? С этим своим распухшим носярой?» — «Помолчи, Петрина! — проворчал Иримиаш. — Будешь много болтать, у самого тоже сопатка распухнет». «Щенок» захихикал: «Что, заткнулся, Петрина?» — «Это я-то?! — вскипел тот. — Ты что, думаешь, я кого-нибудь испугаюсь?!» — «Ну хватит тебе трепаться, Петрина, — рассердился Иримиаш. — Если хочешь что-то сказать — не крути, говори прямо!» Петрина заухмылялся и почесал макушку. «Ну, маэстро, если на то пошло... — неуверенно начал он. — Я не кручу, ты не думай! Могу и сказать!.. Зачем сдался нам этот Пайер?» Иримиаш закусил губу, сбавил скорость, пропустив перед грузовиком старушку, и снова нажал на газ. «Не лезь в дела взрослых», — сказал он мрачно. «Маэстро, я все же хотел бы знать. Зачем он нам?..» Иримиаш ожесточенно смотрел вперед. «Так надо». — «Я не знаю, маэстро... но ты ведь не хочешь?..» — «Хочу!» — рявкнул Иримиаш. «Маэстро, ты хочешь взорвать весь мир... — испуганно выдавил из себя Петрина. — Тебе уже ничего не нужно». Иримиаш не отвечал. Он затормозил. Они остановились у заведения Штребера. Директор школы выпрыгнул из кузова, подошел к кабине, помахал на прощание рукой и, уверенным шагом перейдя улицу, скрылся за дверями «Шараги». «Уже полдевятого, — заметил «щенок». — Что они скажут?..» Петрина махнул рукой: «Да пошел этот капитан подальше! Что значит «опаздываем»? Я таких слов не знаю! Пусть радуется, что мы вообще к нему явимся! Если Петрина к кому-то является, то это большая честь! Понятно тебе, щенок? Запомни как следует, я повторять не буду!» — «Ха-ха! — насмешливо отозвался «щенок» и выпустил в лицо Петрине струю табачного дыма. — Плохая шутка». — «Зафиксируй в своих тупых мозгах, что шутка — она как жизнь, — торжественно объявил Петрина. — Плохо начинается и плохо заканчивается. А посередине — все замечательно». Иримиаш молча смотрел на дорогу. Сейчас, доведя дело до конца, он не чувствовал ни малейшей гордости. Глаза его мрачно уставились в пустоту, лицо было серым. Он судорожно сжимал руль, на виске билась толстая жилка. Иримиаш видел перед собой пока еще целые дома по обеим сторонам улицы. Палисадники. Покосившиеся ворота. Трубы, из которых валил дым. Он не чувствовал ни ненависти, ни отвращения. Воображение его хладнокровно работало.

### II. Сплошные труды и заботы...

Документ был передан канцеляристам на исполнение через несколько минут после инструктажа, состоявшегося в восемь пятнадцать, и поставленная перед ними задача казалась практически неразрешимой. Однако на лицах их не было и следа изумления, ярости или негодования, они только переглянулись в красноречивом молчании: вот, мол, новое убедительное и бесспорное доказательство прискорбно стремительной деградации. Ведь достаточно было просто взглянуть на кривые, нацарапанные как курица лапой строки, чтобы стало ясно, что предстоящая работа будет для них непосильным подвигом, ведь из этой «удручающе примитивной абракадабры» следовало сделать нечто целостное, понятное и пристойное. Отпущенные им непостижимо сжатые сроки и малая вероятность успеха наполняли их глубокой тревогой и озабоченностью, а неимоверная сложность задачи — завидной отвагой. Лишь «многолетним опытом, зрелостью и вызывающим всяческое уважение мастерством» можно было объяснить, что они, как всегда бывало в подобных случаях, быстро смогли абстрагироваться от нервирующего их гомона беспрестанно бегающих и шушукающихся коллег, мир вокруг них исчез, и все их внимание целиком сконцентрировалось на документе. С начальными фразами они покончили достаточно быстро — потребовалось только немного ослабить «неуклюжую вычурность» и туманность формулировок, выдававшие неискушенность автора донесения, так что первая часть текста перекочевала в так называемый «окончательный вариант» практически без изменений: *Хотя вчера я неоднократно решительно заявлял, что не считаю удачной идею фиксировать в письменном виде информацию подобного рода, тем не менее, в подтверждение своей доброй воли — и в качестве неопровержимого доказательства естественной преданности делу, — я выполняю данное мне поручение. При подготовке этого донесения я особо учитывал Ваши слова, побуждавшие меня к безусловной искренности. Уже здесь я должен отметить, что пригодность моих людей не вызывает у меня ни малейших сомнений, в чем, надеюсь, мне удалось убедить Вас еще в ходе вчерашней беседы. Я полагаю уместным и важным еще раз повторить это здесь, ибо из нижеследующих заметок можно сделать и иные выводы. Особое внимание хотелось бы обратить на следующее: для того, чтобы сеть оставалась активной, связь с моими людьми буду поддерживать исключительно я, ибо в противном случае нельзя гарантировать...*  и т. д. и т. п. Но едва только они дошли до части, посвященной госпоже Шмидт, как сразу столкнулись с величайшими затруднениями, ибо что можно было сделать с такими посконными выражениями, как, например, «тупая сисястая самка», как можно было — оставаясь профессионалами — придать подобного рода небрежным формулировкам достойную форму, с тем чтобы содержание никоим образом не претерпело ущерба?! После длительных размышлений они сочли подходящим вариант «духовно незрелая особа, главным образом акцентирующая свою женскую сущность», но не успели вздохнуть с облегчением, как наткнулись на жуткое по своей грубости выражение «дешевая блядь». Из-за недостаточной точности пришлось отказаться от словосочетаний вроде «женщина сомнительной репутации», «дама полусвета», «распутная женщина» и ряда других выражений, создающих обманчивую видимость решения; они нервно барабанили пальцами по стоящим один против другого столам, мучительно избегая глядеть друг на друга, и в конце концов скрепя сердце сошлись на компромиссном варианте «женщина, без зазрения совести торгующая своим телом». Не легче обстояло дело и с первой частью следующего предложения, но благодаря внезапному озарению им удалось заменить жутко пошлое «дает всем подряд, и если с кем-то в округе не переспала, то по чистой случайности» на относительно удачное и беспристрастное «показательный образец супружеской неверности». К их огромному удивлению, следующие три предложения можно было без изменений перепечатать в официальный вариант текста, но затем они снова застряли. И как они ни ломали головы, как ни перебирали слова, одно лучше другого, им так и не удалось найти ничего подходящего вместо фразы «от нее несет загадочным зловонием, состоящим из смеси дешевого одеколона и какой-то гнили»; они уже были близки к тому, чтобы вскочить и, признав свое поражение, вернуть работу капитану, рискуя вылететь со службы, но тут, благодаря стараниям робко улыбающейся пожилой машинистки, их несколько успокоил сладостный аромат дымящегося перед ними кофе. Они снова принялись искать решение и искали его до тех пор, пока на них опять не надвинулся угрожающий призрак коллапса — и тогда, решив больше не мучиться, они попросту написали: «Особа, пытающаяся заглушить неприятный запах тела нетрадиционным способом». «Как быстро летит время, коллега!» — заметил один из канцеляристов, когда им удалось завершить часть, посвященную госпоже Шмидт, и его товарищ испуганно посмотрел на часы: в самом деле, до обеда оставалось чуть больше часа... Они решили в дальнейшем попытаться как-то ускорить дело, что на практике означало, что теперь им все чаще приходилось удовлетворяться не слишком удачными вариантами; разумеется, это вело к тому, что «результат получался скверным». Вместе с тем они с радостью констатировали, что с помощью новой методики сравнительно быстро справились с испытанием, каковым была для них часть, обозначенная подзаголовком «Госпожа Кранер». Выражение «паскудная сплетница» им легко удалось заменить на успокаивающее «легкомысленная разносчица сомнительных новостей», как не вызвала особых сложностей и подходящая замена для фраз «надо серьезно подумать, как понадежней заткнуть ей пасть» и «жирная свиноматка». С особенной радостью они обнаружили еще несколько предложений, которые можно было почти в той же форме включить в официальный вариант, и с облегчением вздохнули, когда завершили ту часть, что была посвящена госпоже Халич, поскольку почти играючи справились с переводом «устаревшего блатного жаргона», на котором была описана эта личность, страдающая религиозным помешательством и некоторыми извращенными наклонностями. Однако увидев, с какой ужасающей нерадивостью составлен раздел, посвященный Халичу, они были вынуждены осознать, что самое трудное еще впереди: когда они уже думали, что им удалось заглянуть в самые дебри языкового сознания автора донесения, то выяснилось, что их силы конечны, способности ограниченны, а изобретательность снова терпит фиаско. Выражение «проспиртованный сморщенный червь» они просто заменили на «невзрачного престарелого алкоголика», но, к стыду своему, не имели понятия, как им быть с «вертлявым клоуном», «мертвой тупостью» и «пыльным мешком стебанутостью»; после долгих мучений они пришли к молчаливому соглашению опустить эти выражения, уповая на то, что у капитана не хватит терпения вдаваться во все детали и дело — в соответствии с заведенным порядком — будет сдано в архив недочитанным... Устало откинувшись на спинки стульев и потирая глаза, они с досадой увидели, что их коллеги, весело болтая между собой, уже собираются на обед: наводят некоторый порядок в бумагах и, перекидываясь с соседями непринужденными фразами, прихорашиваются, причесываются, моют руки, чтобы через минуту-другую по двое, по трое устремиться к выходу в коридор. Они грустно вздохнули, признав, что «обед сейчас был бы непозволительной роскошью», и, жуя бутерброды и сухое печенье, опять углубились в работу. Но судьба лишила их даже этого скромного удовольствия — еда стала безвкусной, и жевать ее было мучением, поскольку то, что они обнаружили в части, посвященной Шмидту, явилось для них куда большим испытанием, чем все, что было до этого: тут наши канцеляристы столкнулись с такой степенью невнятности, непонятности, неряшливости и то ли намеренной, то ли невольной небрежности, которая — как заметил один из них — «была равносильна пощечине всей их деятельности, мучениям и борьбе»... Ибо что могло означать, например, такое: «помесь варварской бесчувственности с лихорадочно (!) неприглядной опустошенностью в бездне неуправляемого мрака»?! Что это за надругательство над языком, что за сумятица выхваченных наугад образов?! Где здесь хотя бы малейший намек на якобы (!) свойственное человеческому духу стремление к чистоте, ясности и определенности?! И, к их величайшему ужасу, из таких выражений состояла вся часть, относящаяся к Шмидту. Вдобавок с этого момента почерк автора донесения по непонятным причинам сделался почти безнадежно неразборчивым, словно он по ходу дела надрался...Они снова были близки к тому, чтобы капитулировать и забрать в кадрах трудовые книжки, потому что «так не годится, чтобы нас каждый день ставили перед неразрешимыми задачами, и при этом никаких поощрений!», но в этот момент — уже второй раз за день — аромат дымящегося кофе, поданного с милой улыбкой, направил их на путь истинный. Они принялись выкорчевывать всю эту чушь вроде «неугомонной глупости», «нечленораздельных жалоб», «остолбенелого беспокойства, застывшего в густом мраке безутешного бытия» и тому подобных чудовищных выражений, пока не добрались до конца означенного пассажа, где, бессильно оскалившись, констатировали, что нетронутыми остались лишь несколько союзов да два сказуемых. А поскольку разгадать, что, собственно, хотел сообщить этой характеристикой автор донесения, было заведомо провальным делом, они лихим кавалерийским маневром заменили всю несусветную ахинею, касающуюся Шмидта, единственной трезвой фразой: «Ослабленные умственные способности и трусливое поведение перед лицом превосходящей силы делают его особенно подходящим для успешного ведения подобного рода деятельности». В тексте о человеке без имени, называемом просто «директором школы», туман, непоследовательность и доводящая до белого каления заумная тарабарщина не только не ослабли, но — если такое вообще возможно — даже усилились. «Похоже, — бледный как мел, заметил один из канцеляристов и, покачав головой, показал измятый черновик своему товарищу, который с поникшим видом сидел за пишущей машинкой, — похоже, что тут у этого полоумного совсем крыша поехала. Ты только взгляни: *Если человек, собравшийся прыгнуть в воду, в последний момент все же задумается, стоя на мосту, прыгать ему или нет, то я посоветовал бы ему вспомнить директора школы, и он сразу поймет, что выход только один — прыгать*. Не верящие своим глазам, изможденные и отчаявшиеся, уставились они друг на друга. Это что — издевательство над конторой?! Тот, что с убитым видом сидел за пишущей машинкой, молча махнул коллеге, мол, оставим как есть, все равно с этим делать нечего, надо двигаться дальше. «Внешностью он напоминает скукоженный, высохший на солнце огурец, а умственными способностями уступает даже Шмидту, что является в своем роде выдающимся достижением». «Пишем так, — измученно предложил тот, что сидел за машинкой, — пишем: внешность невзрачная, без выдающихся способностей...» Его коллега досадливо цокнул языком. «Как-то одно с другим не вяжется!» — «А я что, виноват?! — парировал первый. — Это он сам так пишет! А мы должны отражать содержание...» — «Ну хорошо, — согласился второй. — Идем дальше». «Трусливость натуры он компенсирует неумеренным самовосхвалением, манией величия и вопиющей, ни с чем не сравнимой тупостью. Склонен к сентиментальности и идиотскому пафосу, как это часто бывает с людьми онанистического склада ума...» и т. д. и т. п. Теперь уже — после этого — им стало совершенно ясно, что их стремление к компромиссу успехом не увенчается и им нужно быть довольными даже половинчатыми, а порой и совсем недостойными их профессионализма решениями; вот почему после долгого обсуждения они сошлись на следующем варианте: «Труслив. Склонен к прекраснодушию. Сексуально незрел». Нельзя было отрицать, что когда они «беспардонно покончили» с директором школы, угрызения совести, связанные с новой методикой, постепенно переросли в чувство серьезной вины, поэтому к разделу, посвященному Кранеру, они приступили, испытывая мучительную тревогу; еще больше они занервничали, заметив, как стремительно бежит время: один из них сердито показал на часы и окинул глазами зал, на что его коллега бессильно махнул рукой, ибо тоже заметил всеобщее оживление, недвусмысленно говорящее, что рабочее время вот-вот подойдет к концу. «Как же так? — удивился он. — Только мы углубились в работу, и уже отбой. Не понимаю. Дни пролетают так, что не успеваешь опомниться...» К тому времени, когда они поменяли раздражающее их выражение «пень, напоминающий больше всего неуклюжего буйвола» на «человек крепкого телосложения, бывший кузнец» и нашли нормальное соответствие для «ограниченного, общественно опасного тихони с тупым выражением лица», сослуживцы уже двинулись домой, и они были вынуждены молча терпеть бросаемые им на прощание злорадные или насмешливо одобрительные слова, ибо было ясно, что если они сейчас хоть на минуту прервутся, то существует риск, что они в ярости «бросят все», наплевав на несомненно тяжелые последствия, которые их ожидают завтра. В половине шестого, закончив и отшлифовав фрагмент о Кранере, они позволили себе минутный перерыв. Размяли затекшие члены, со стоном помассировали горящие от боли плечи и молча, с закрытыми глазами, выкурили по сигарете. «Ну, продолжим, — сказал один из них. — Я читаю, слушай... *Единственная фигура, представляющая собой опасность,*  — начиналась часть, посвященная Футаки. — *Но ничего серьезного. Его склонность к бунту сочетается с постоянной готовностью наложить в штаны. Он мог бы многого достичь, но не способен избавиться от своих навязчивых идей. Меня этот человек занимает, и я уверен, что в будущем больше всего я смогу рассчитывать именно на него...*  и т. д. и т. п.» — «Пиши, — принялся диктовать первый. — Опасен, но может оказаться полезным. По умственным способностям превосходит других. Хромой». — «Готово?» — вздохнул второй. Его товарищ устало кивнул. «Поставь подпись. В самом низу. Значит, так... ага... Иримиаш». — «Как?» — «Говорю: И-ри-ми-аш. Ты что, оглох?» — «Как слышится, так и писать?» — «Ну да! А как ты еще напишешь?!» Документ они положили в папку, а затем все досье расставили по местам, аккуратно заперли ящики и повесили ключи на доску у выхода. Молча надев пальто, они закрыли за собой дверь. Внизу, у ворот, пожали друг другу руки. «Ты на чем?» — «На автобусе». — «Ну, тогда пока», — сказал первый. «Хорошенький был денек, а?» — заметил его коллега. «Вот именно, черт бы его подрал». — «Хоть бы раз кто заметил, как мы надрываемся, — проворчал второй. — Так ведь нет». — «Дождешься от них похвалы!» — покачал головою первый. Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись, а когда вернулись домой, то обоих в прихожей ждал один и тот же вопрос: «Тяжелый день был сегодня, милый?» На что они, устало поеживаясь в тепле, могли, разумеется, только ответить: «Да ничего особенного. Все как обычно, милая...»

### I. Круг замыкается

Доктор надел очки, загасил докуренную до самых ногтей сигарету о подлокотник кресла, бросил в щель между окном и занавеской контрольный взгляд на поселок (и как бы «одобрив» тот факт, что там все без перемен), отмерил в стакан разрешенную дозу палинки и разбавил ее водой. Определение приемлемого со всех точек зрения *уровня* — после возвращения из больницы — доставило ему немало хлопот: дело в том, что при выборе соотношения палинки и воды пришлось, как бы ни было тяжело, принимать во внимание надоедливые и явно утрированные предостережения главврача («Если не прекратите пить и не сократите резко дневную порцию сигарет, то готовьтесь к самому худшему и заранее пригласите священника...»), а посему, после долгой душевной борьбы, он отказался от мысли о «двух частях палинки на одну часть воды» и смирился с пропорцией «одна к трем». Не спеша, маленькими глотками, он осушил стакан, и теперь, когда уже миновали несомненно мучительные испытания «переходного периода», он с некоторым удовлетворением констатировал, что можно привыкнуть даже к такому «мерзкому пойлу», ибо если первую разбавленную дозу он с негодованием выплюнул, то эту, теперешнюю, уже смог проглотить без особенных потрясений — возможно, из-за того, что за минувшие дни ему удалось овладеть способностью отделять в этом «пойле» то, что в нем хорошо, от того, что в нем плохо. Он поставил стакан, быстро поправил сдвинувшийся со своего места на сигаретной пачке спичечный коробок и, окинув довольным взглядом протянувшуюся от кресла к стене «батарею» полных бутылей, пришел к заключению, что может спокойно смотреть в лицо надвигающейся зиме. Все это было отнюдь не «само собой разумеющимся», ведь всего лишь два дня назад, когда его «под личную ответственность» отпустили домой из городской больницы и машина «скорой помощи» свернула к поселку, его тревога, от недели к неделе усиливавшаяся, тут же переросла в панический страх, ибо он был почти уверен, что все придется начинать сначала: он найдет свою комнату разоренной, вещи — разбросанными, хуже того, в тот момент он даже не исключал, что «эта шельма госпожа Кранер», воспользовавшись его отсутствием, под предлогом уборки проникла в его жилище со своими «погаными вениками и вонючими тряпками» и порушила все, что он с таким кропотливым трудом и величайшим тщанием создавал годами. Однако страхи его оказались беспочвенными: комнату он застал точно в том же виде, в каком оставил ее три недели назад, тетради, карандаши, стакан, спички и сигареты находились именно на тех местах, где должны были находиться, не говоря уж о том, что когда «скорая помощь» свернула на грунтовую дорогу и затормозила перед его домом, он с облегчением вздохнул, не заметив в соседских окнах ни одного любопытствующего лица. Никто его не тревожил не только пока санитар — за хорошую мзду — затаскивал в дом его вещи, кошелки с продуктами и наполненные у Мопса бутыли, но и позже никто из соседей не отважился нарушить его покой. Разумеется, он не питал иллюзий насчет того, что за время его отсутствия с «этим тупым дурачьем» могло произойти что-нибудь существенное, и все же он вынужден был признать кое-какие позитивные сдвиги: поселок как будто вымер, прекратилась раздражающая суетливая беготня; беспрерывно льющийся дождь, как всегда, когда окончательно наступала осень, не давал им покинуть свои берлоги, так что доктор не удивился, что никто из них так и не высунулся из дому, если не считать Керекеша, которого два дня назад он заметил из окна «скорой помощи» бредущим через поле Хоргошей в сторону тракта; но и его он видел лишь краткий миг, ибо тут же от него отвернулся. «Надеюсь, до самой весны никого из них не увижу», — записал он в своем дневнике и осторожно поднял карандаш, чтобы не повредить бумагу, которая за время его продолжительного отсутствия так пропиталась влагой, что достаточно было неосторожного движения, чтобы она сразу же прорвалась... Словом, особых причин беспокоиться у доктора не было, ибо «высшая сила» сохранила его наблюдательный пункт в целости и сохранности, что же касается пыли и сырости, то возмущаться их разрушительным действием было бы странно, ведь «испуганно хорохориться» перед лицом распада и тлена, как он полагал, совершенно бессмысленно. Однако когда после возвращения он впервые переступил порог комнаты, то немного опешил (из-за чего позже укорял себя), увидев, что в оставленном на несколько недель помещении все покрыто мельчайшей пылью и от стыков потолка со стенами тянутся чуткие ниточки паутины, почти сходящиеся посредине; но он быстро справился с этой нелепой растерянностью, поспешно выдворил санитара, собравшегося уже рассыпаться в благодарностях за внушительный «гонорар», после чего обошел комнату и принялся внимательно изучать «характер и степень распада». Идею уборки — сначала как «явно излишнюю», а затем как «совершенно бессмысленную» — он отклонил, потому что во время оной — ведь это же совершенно ясно — легко было уничтожить то, что могло подтолкнуть его к более основательным наблюдениям; поэтому он ограничился тем, что протер стол и лежащие на нем предметы да слегка вытряхнул одеяла, и тут же приступил к работе. Он мысленно представил себе положение, существовавшее здесь несколько недель назад, а затем внимательно осмотрел все вокруг — голую лампочку, свисавшую с потолка, выключатель, пол, стены, обшарпанный платяной шкаф, груду мусора возле двери — и, насколько было возможно, постарался точно отобразить в своем дневнике произошедшие изменения. Весь день и всю ночь, а затем и весь следующий день он работал почти без остановки, если не считать коротких, на пару минут, погружений в дрему, и лишь после того, как он счел, что все в подробностях зафиксировал, доктор позволил себе продолжительный, более чем семичасовой сон. По завершении этих трудов он с радостью констатировал, что после вынужденного перерыва его работоспособность не только не снизилась, но даже несколько возросла; хотя верно и то, что по сравнению с тем, что было, заметно ослабла его сопротивляемость «отвлекающим факторам»: если прежде свалившееся с плеч одеяло, соскользнувшие на кончик носа очки или кожный зуд не могли вывести его из равновесия, то теперь самое незначительное изменение отвлекало его внимание, и он мог возобновить ход мысли, только когда, ликвидировав «нервирующие его мелочи», восстанавливал «исходное состояние». Следствием этой деградации было то, что этим утром, после двухдневной борьбы, ему пришлось избавиться от будильника, купленного «по случаю» еще в больнице, который, после длительных торгов и сомнений, он приобрел, дабы регулировать строгий порядок приема лекарств; однако он так и не смог привыкнуть к его громкому, душераздирающему тиканью, пальцы его рук и ног непроизвольно перенимали дьявольский ритм часов, и когда под конец — помимо периодического кошмарного звона — он столкнулся еще и с тем, что голова его стала дергаться в такт сатанинскому механизму, он ухватил будильник, распахнул дверь и, трясясь от ярости, вышвырнул его во двор. Покой был восстановлен, и теперь, уже не первый час наслаждаясь едва не утраченной тишиной, он недоумевал, почему не решился на этот шаг раньше — еще вчера или позавчера. Он закурил, медленно выпустил изо рта струйку дыма, поправил сбившиеся одеяла и снова склонился над дневником. «Слава богу, дождь льет не переставая. Лучшей защиты и быть не может. Самочувствие сносное, хотя после долгого сна я слегка одурманен. Вокруг тихо, ни шороха. В доме директора выбиты дверь и окно, непонятно, что там случилось и почему он их не починит». Он вскинул голову и вслушался в звенящую тишину, затем взгляд его остановился на спичечном коробке: на мгновение у него появилось совершенно определенное чувство, что коробок вот-вот соскользнет с сигаретной пачки. Он затаил дыхание и стал наблюдать за ним. Но ничего не произошло. Он снова смешал напиток, закупорил бутыль, тряпкой смахнул со стола воду, поставил на место кувшин — также купленный у Мопса за тридцать форинтов — и выпил палинку. Его охватила истома, укутанное в одеяла тучное тело расслабилось, голова свесилась набок, и медленно смежились веки; но дремал он недолго, поскольку и пары минут не смог выдержать приснившегося ему зрелища: на него набросилась лошадь с выпученными глазами, в руках у него был железный прут, и он — в ужасе — со всей силы ударил им лошадь по голове, а затем, как он ни пытался, не мог удержаться и бил животное раз за разом, пока из раскроенного черепа не показался студенистый мозг... Доктор достал из аккуратно сложенной на краю стола стопки тетрадь с заголовком ФУТАКИ и продолжил начатую когда-то запись: «Не осмеливается высунуть нос из машинного зала. Наверняка дрыхнет в кровати или таращится в потолок. Или, как дятел, стучит по спинке кровати своей кривой палкой, вызывая из древесины могильных червей. Он даже не подозревает, что тем самым отдает себя во власть силы, которой он так страшится. Эх ты, чокнутый, я еще побываю на твоих похоронах». Он смешал новую дозу, с мрачным видом выпил, после чего запил глотком воды утренние лекарства. За оставшуюся часть дня он дважды — около полудня и в сумерках — фиксировал «условия освещения» и набросал несколько схем постоянно менявших свою конфигурацию ручейков на грунтовой дороге, а затем, когда уже — после Шмидтов и Халичей — было закончено описание предполагаемой обстановки, царившей на душной кухне Кранеров, до его слуха вдруг долетел отдаленный звон колокола. Он отчетливо помнил, что уже слышал эти звуки за день до того, как попал в больницу, равно как не сомневался и в том, что его превосходный слух не обманывает его и на этот раз. Но к тому времени, как он раскрыл дневник на записях за тот день (и не обнаружил в них и намека на колокольный звон — по-видимому, это событие просто вылетело у него из головы или он не придал ему особенного значения), звон прекратился... Он тут же зафиксировал это совершенно непонятное происшествие и тщательно перебрал возможные объяснения: несомненно, что поблизости нет никаких церквей, если не считать уже многие годы заброшенной и разваливающейся часовни в бывшем владенье Хохмайса, ну а город был слишком далеко, чтобы оттуда хоть что-нибудь доносилось, так что и эту возможность он должен был исключить. У него мелькнула мысль, что, может быть, это Футаки или Халич, а может, и Кранер забавляются так со скуки, но и эту идею пришлось отбросить, поскольку он сомневался, чтобы кто-то из них был способен столь ловко подражать церковному колоколу... Но не мог же его обмануть его изощренный слух!.. Или все-таки?.. Быть может, в силу своего особого дара он стал уже столь чувствительным, что способен теперь даже в тихом и близком шорохе различить глухой звон отдаленного колокола?.. Он растерянно вслушался в тишину, закурил сигарету, но поскольку долгое время ничего не происходило, решил прекратить ломать голову, пока какой-нибудь новый сигнал не поможет ему найти правильное объяснение. Он вскрыл банку консервированной фасоли и, съев половину, отставил ее от себя, поскольку желудок был не способен единовременно переварить больше чем несколько ложек еды. Он решил, что всю ночь будет бодрствовать, ведь невозможно заранее знать, когда именно вновь зазвонят эти «колокола», и если их следующий звон будет таким же кратким, то достаточно будет на пару минут задремать, чтобы упустить его... Он смешал себе новую дозу напитка, принял вечерние лекарства, а затем, ногой вытолкнув из-под стола чемодан, долго перебирал иллюстрированные журналы. До рассвета доктор листал их, разглядывал в них картинки, но тщетно он бодрствовал, тщетно боролся с сонливостью, «колокола» больше не зазвонили. Доктор поднялся с кресла и походил по комнате, разминая затекшие члены, затем снова сел и, когда синева рассвета окрасила оконное стекло, погрузился в глубокий сон. Проснулся он только около полудня, обливаясь потом и, как всегда с тех пор, как привык к продолжительному сну, яростно ругаясь и крутя головой по сторонам, взбешенный тем, что впустую потратил время. Он быстро нацепил на нос очки, перечитал в дневнике последнюю фразу, затем откинулся в кресле и выглянул в щель на улицу. Снаружи накрапывал дождь, серое небо все так же мрачно нависало над поселком, и перед домом Шмидтов покорно гнулась под холодным ветром облетевшая акация. «Все дрыхнут без задних ног, — записал доктор. — Или сидят по кухням, подпирая скулу кулаком. Директору школы, похоже, плевать на разбитую дверь и окно. Вот наступит зима — тогда задницу себе отморозит». Внезапно, словно на него снизошло озарение, он выпрямился в кресле. Поднял голову, устремил глаза в потолок и тяжело задышал; затем схватил карандаш...«Вот он встает, — писал доктор в каком-то все углубляющемся трансе, но при этом следя, чтобы грифелем не прорвать бумагу. — Чешет себе мошонку, потягивается. Обходит комнату и снова садится. Выходит побрызгать. Возвращается. Садится. Встает». Доктор лихорадочно набрасывал слово за словом и не просто видел, что все происходит именно так, но и *знал* с абсолютной уверенностью, что отныне иначе и быть не может. До него постепенно дошло, что годы долгой, мучительной и упорной работы наконец принесли плоды: он стал обладателем такой уникальной способности, которая позволяет ему не просто противостоять вечно однонаправленному порядку вещей своей постоянной готовностью к описанию происходящего, но в какой-то мере *определять* даже сам механизм свободно бурлящих на первый взгляд событий!.. Он вскочил, покинув свой наблюдательный пост, и взволнованно, с горящими глазами принялся расхаживать из конца в конец по тесному помещению...Безуспешно пытался он несколько успокоиться: осознание этого факта обрушилось на него так внезапно, подкралось так незаметно и застало его настолько неподготовленным, что в первые минуты он даже не исключал того, что утратил рассудок... «Возможно ли это? Или я сошел с ума?» Он еще долго не мог успокоиться, от волнения у него пересохло в горле, сердце бешено колотилось, со лба градом катился пот. Был момент, когда ему показалось, что он вот-вот разорвется, рухнет под навалившимся на него грузом вещей, его огромное, располневшее тело так и металось по комнате, пока он, задыхаясь, не свалился обратно в кресло. Ему сразу, *одновременно,*  требовалось обдумать так много всего, что он вяло сидел в холодном и режущем свете, ощущая, как мозг буквально болит и в душе нарастает хаос... Он осторожно взял карандаш, вытянул из стопки тетрадь с надписью ШМИДТ, раскрыл на нужной странице и неуверенно, как человек, имеющий все основания опасаться «возможных тяжелых последствий» своего поступка, написал фразу: «Он сидит спиною к окну, от его фигуры на пол падает слабая тень». Тут он нервно сглотнул, отложил карандаш и, дрожащими руками смешав новую порцию палинки, осушил половину стакана. «На коленях он держит красную кастрюлю с картофельным паприкашем. Но не ест. Нет аппетита. Захотев помочиться, встает, ставит кастрюлю на пол, огибает стол и через заднюю дверь выходит во двор. Возвращается и садится. Госпожа Шмидт что-то спрашивает у него. Он не отвечает. Подальше отпихивает ногой стоящую на полу кастрюлю. Есть не хочется». Доктор, по-прежнему дрожащими руками, закурил сигарету, отер взмокший лоб и, как крыльями, взмахивая локтями, проветрил под мышками. Поправив на плечах одеяла, он снова склонился над дневником. «Или я сошел с ума, или сегодня после полудня я осознал, что милостию Божьей сделался обладателем магнетической силы. Я способен определять словами ход происходящих вокруг меня событий. Но пока что я представления не имею, что я должен делать. Или я все же сошел с ума...» Его охватили сомнения. «Мне все это только кажется», — пробормотал он и решил предпринять новую попытку. Он отложил дневник и придвинул к себе тетрадь с надписью КРАНЕР. Отыскав последнюю запись, он лихорадочно стал писать. «Он лежит в комнате на кровати, одетый-обутый. Сапоги свесил, чтобы не испачкать покрывало. В комнате духота. На кухне гремит посудой госпожа Кранер. Кранер что-то ей говорит в открытую дверь, та что-то ему отвечает. Кранер в сердцах поворачивается спиной к двери и зарывается лицом в подушку. Пытается заснуть, закрывает глаза. Засыпает». Доктор нервно вздохнул, смешал себе новую порцию палинки, закупорил бутыль и беспокойно огляделся по сторонам. С опаской и страхом он вновь констатировал про себя: «Дело ясное, при определенном уровне концентрации внимания я способен решать, что будет происходить в поселке. Потому что здесь происходит то, что мной сформулировано. Правда, мне совершенно неясно, каким образом я могу определять ход событий, если я...» В этот момент он снова услышал «колокола». На этот раз он успел лишь понять, что вечером не ошибся — он слышал реальные звуки, однако на то, чтобы определить, откуда именно доносится этот гулкий звон, времени не хватило, потому что, едва долетев до его слуха, звуки вновь растворились в пронзительной тишине, и когда затих последний их отголосок, в душе доктора осталась такая пустота, словно он потерял что-то очень важное. Ему почудилось, что в этих странных далеких звуках он расслышал «казалось, уже утраченную мелодию упования», обещание, ставшее уже почти беспредметным, невразумительные слова некоего судьбоносного послания, из которых можно было понять только то, что оно «означает что-то хорошее и задает направление моим непонятным способностям...». Он решил все-таки отложить свои сумасшедшие записи и поспешно надел пальто, сунув в карман сигареты и спички, ибо чувствовал, что важнее всего сейчас хотя бы попытаться отыскать источник этого странного колокольного звона. На свежем воздухе у него на мгновение закружилась голова, он потер воспаленные веки, а затем — чтобы не привлекать к себе внимание сидящих по домам посельчан — покинул дом через калитку, ведущую на зады, и быстро, как только мог, зашагал по тропе. Добравшись до мельницы, он остановился, не имея понятия, в правильном ли направлении он идет. Войдя в огромные ворота мельницы, он услышал доносящееся откуда-то сверху хихиканье. «Девицы Хоргош». Он вышел с мельницы и растерянно огляделся, не зная как быть. Обойти поселок и направиться к Соленой Пади?.. Или пойти по тракту к корчме? А может быть, стоит двинуться к усадьбе Алмаши? Или остаться пока что здесь, возле мельницы, дожидаясь, не прозвучит ли опять «колокольный звон»? Он закурил, откашлялся и, не в силах решить, идти дальше или остаться, нервозно потоптался на месте. Он смотрел на акации, обступившие огромное здание, содрогался на холодном колючем ветру и думал, не глупость ли вся эта скоропалительная прогулка, не поспешил ли он, ведь между двумя моментами, когда звенели «колокола», прошла почти целая ночь, так с чего он взял, что скоро опять их услышит... Доктор уже собирался вернуться домой и там, закутавшись в теплые одеяла, подождать, пока что-нибудь снова произойдет, но в этот момент опять зазвучал «колокольный звон»... Он поспешил на площадку, вытоптанную перед мельницей, и на этот раз ему удалось в какой-то степени разгадать загадку: «колокольный звон», похоже, звучал где-то по другую сторону тракта («Откуда-то из бывшего владения Хохмайса!..»), и теперь он не только смог примерно определить направление, но и вновь убедился, что этот звон содержит в себе какое-то недвусмысленное послание, обнадеживающий призыв или обещание, что это не плод больного воображения, не обманчивая игра внезапно нахлынувшей на него сентиментальности... Воодушевленный, он двинулся в сторону тракта, пересек его и, не обращая внимания на грязь и лужи, зашагал в сторону владения Хохмайса «с сердцем, полным надежд, упований и чаяний»... Он чувствовал, что этот «звон» вознаградит его за все пережитые страдания, за мучительные поиски верных слов, за его настойчивость и упорство... И когда он точнее поймет смысл этого призыва, то, без сомнения, сможет, обладая необыкновенной властью, придать «делам человеческим» небывалый размах... Его охватила почти детская радость, когда в конце владения Хохмайса он увидал маленькую обветшалую часовню, и хотя он не знал, сохранился ли в этом разрушенном во время последней войны и не подававшем с тех пор ни малейших признаков жизни зданьице колокол или что-то подобное, но и такая возможность была не исключена... Ведь уже много лет никто не бывал здесь, если только не останавливался иногда на ночлег какой-нибудь полоумный бродяга... Доктор остановился у входа в часовню и попытался открыть дверь, но, как он ни дергал, ни рвал ее, ни наваливался на нее всем телом, дверь не поддавалась. Он обошел здание и с другой стороны обнаружил в осыпающейся стене небольшую прогнившую деревянную дверцу; он легонько толкнул ее, и она, скрипя, отворилась. Пригнув голову, доктор вошел в часовню, где его встретили паутина, пыль, грязь, вонь и мрак; от скамей остались одни обломки, валявшиеся на полу, алтаря не было вовсе, а растрескавшиеся, выщербленные плиты пола поросли бурьяном. Доктор резко обернулся, почувствовав в углу, неподалеку от бывшего входа, чье-то тяжелое дыхание. Подойдя ближе, он увидел скрюченную фигуру: перед ним был невероятно старый, морщинистый, дрожащий от страха ссохшийся человечек, который лежал на полу и, что было заметно даже в темноте, испуганно сверкал глазами. Как только он понял, что его обнаружили, он отчаянно застонал и ползком перебрался в противоположный угол. «Вы кто такой?» — справившись с минутным страхом, решительным тоном спросил доктор. Человечек не отвечал, а только сильнее съежился, напряженный и готовый к прыжку. «Вы что, не поняли, что я спросил?! — повысил тон доктор. — Кто вы такой?!» Старец забормотал что-то невразумительное и, словно бы защищаясь, поднял перед собой руки. А затем разразился рыданиями. «Что вы здесь делаете? — сердито рявкнул на него доктор. — Вы что, в бегах?» И, видя, что человечек так и не перестает скулить, вконец потерял терпение. «Здесь есть колокол?!» — заорал он на старика. Тот в испуге вскочил, тут же прекратил рыдания и замахал руками. «Ко-ло-ол! Ко-ло-ол! — вопил он, жестом приглашая доктора следовать за ним. Он открыл дверцу в нише рядом со входом и указал наверх: — Ко-ло-ол! Ко-ло-ол!» — «Боже мой! — пробормотал доктор. — Это же сумасшедший. Ты откуда сбежал, ненормальный?!» Тот двинулся наверх, доктор следовал за ним, отставая на несколько ступенек и стараясь держаться поближе к стене, чтобы под его весом не обрушилась гнилая и опасно скрипящая лестница. Когда они поднялись на крошечную колокольню, от которой уцелела только кирпичная стена (а башню давным-давно смело бомбой или ураганом), доктор тут же очнулся от «болезненной и смешной экзальтации», которую он испытывал последние несколько часов. Посреди хлипкого, лишенного крыши сооружения висел маленький колокол — он был подвешен к балке, один конец которой опирался на кирпичную стену, а другой был положен на перекладину лестничного пролета. «Как ты смог взгромоздить сюда балку?» — горько спросил доктор. Старик на мгновение тупо уставился на него, а затем шагнул к колоколу. «Ту-ки и-ту-у-т! Ту-ки и-ту-у-т! Ту-ки и-ту-у-т!» — нечленораздельно завопил он и застучал по колоколу железякой. Доктор, побледнев, прислонился к кирпичной кладке, а затем закричал лихорадочно стучащему в колокол человеку: «Прекрати! Немедленно прекрати!» Но тот пришел в еще большее отчаяние. «Ту-ки и-ту-у-т! Ту-ки и-ту-у-т! Ту-ки и-ту-у-т!» — упрямо орал он и еще сильнее бил в колокол. «Сам ты турок, псих малахольный!» — рявкнул на него доктор, собрался с силами, спустился с колокольни и, выйдя на свежий воздух, постарался как можно скорее сбежать подальше, чтобы не слышать пронзительных диких воплей сморщенного старика, которые, словно звуки охрипшей трубы, преследовали его до самого тракта. Уже смеркалось, когда он вернулся домой и занял свой наблюдательный пост у окна. Лишь долгие минуты спустя он обрел прежнее спокойствие, и когда дрожь в руках унялась настолько, что он смог поднять бутыль, доктор смешал себе очередной напиток и закурил. Он выпил палинку, взял дневник и попытался облечь в слова все, что ему только что пришлось пережить. Он с горечью поглядел на бумагу и записал: «Непростительная ошибка. Я перепутал благовест с похоронным звоном. Какой-то грязный бродяга! Беглый сумасшедший! Какой я болван!» Он укутался в одеяла, откинулся в кресле и выглянул на грунтовую дорогу. За окном тихо накрапывал дождь. Постепенно самообладание вернулось к нему. Он вспомнил события минувшего дня, «миг своего озарения», затем достал тетрадь, озаглавленную ГОСПОЖА ХАЛИЧ, и, открыв ее на странице, где заканчивались записи, принялся писать: «Сидит на кухне. Перед ней Библия, она тихо бормочет себе под нос. Поднимает глаза. Ей хочется есть. Она выходит в кладовку и возвращается с колбасой, салом и хлебом. Начинает, чавкая, жевать, откусывает хлеб. Иногда перелистывает страницы Библии». Хотя работа оказала на самочувствие доктора положительное воздействие, тем не менее он, просмотрев записи, сделанные в течение дня в тетрадях ШМИДТ, КРАНЕР и ГОСПОЖА ХАЛИЧ, печально признал, что все делал совершенно неверно. Он встал и принялся ходить по комнате, временами в задумчивости останавливаясь и вновь продолжая путь; затем он обвел комнату глазами, и взгляд его уперся в дверь. «К чертям собачьим!» — проревел он, достал из платяного шкафа коробку с гвоздями, ухватил одной рукой несколько гвоздей, в другую взял молоток, подошел к двери и, с нарастающим ожесточением стуча по округлым шляпкам гвоздей, в восьми местах заколотил дверь. Успокоившись, он вернулся на свой наблюдательный пункт, закутался в одеяла и — после некоторого раздумья выбрав пропорцию «половина на половину» — смешал новый напиток. Он задумчиво уставился прямо перед собой, затем глаза его внезапно сверкнули, и он достал новую тетрадь. «Шел дождь, когда...» — написал он, но, покачав головой, зачеркнул написанное. «Когда Футаки проснулся, за окном шумел дождь, и...» — попробовал он опять, но и это показалось ему «никуда не годным». Он помассировал переносицу, поправил очки и, облокотившись о стол, подпер голову ладонью. И словно чудесную картину, отчетливо увидел перед собой весь путь, который ему предстояло пройти: с обеих сторон на него наползает туман, а посередине, на узкой полоске, сияют лица, что в будущем превратятся в прах, со следами, оставленными на них дьявольской историей их удушья. Он снова потянулся за карандашом, теперь уже чувствуя, что он на верном пути; тетрадей, палинки и лекарств ему хватит хоть до весны, и пока не вывалятся гвозди из прогнившей двери, никто его не побеспокоит. Осторожно, чтобы не продырявить бумагу, он начал писать: «В один из последних дней октября, на рассвете, еще до того, как на западной стороне поселка на потрескавшийся солончак падут первые капли немилосердно долгих осенних дождей (и до самых заморозков море зловонной грязи зальет все дороги, отрезав поселок от города), Футаки пробудился от колокольного звона. В четырех километрах к юго-западу от поселка, в бывшем владенье Хохмайса, стояла заброшенная часовня, но там не то что колокола не осталось, но и сама колокольня была разрушена еще во время войны, ну а город слишком далеко, чтобы оттуда хоть что-нибудь было слышно. И вообще: торжествующий этот гул вовсе не походил на отдаленный звон; казалось, ветер подхватывал его где-то рядом («Вроде как с мельницы...»). Привстав на локте, он всмотрелся в крохотное, как мышиный лаз, оконце кухни, но за полузапотевшим стеклом поселок, омываемый утренней синевой и замирающим колокольным звоном, был нем и недвижен; на противоположной стороне улицы, в далеко отстоящих один от другого домах, свет пробивался только из занавешенного окна доктора, да и то потому лишь, что вот уже много лет он не мог заснуть в темноте. Футаки затаил дыхание, чтобы в отливной волне колокольного звона не упустить ни единой выпавшей из потока ноты, ибо хотел разобраться в происходящем («Ты, никак, еще спишь, Футаки...»), и потому ему важен был каждый, пусть даже самый сиротливый звук. Своей известной кошачьей походкой он бесшумно проковылял по ледяному каменному полу кухни к окну и, распахнув створки («Да неужто никто не проснулся? Неужто никто не слышит, кроме меня?»), высунулся наружу. Лицо обдал едкий, промозглый воздух, и ему пришлось ненадолго закрыть глаза; но тщетно он вслушивался в тишину, которая от петушиного крика, отдаленного лая собак и от завывания налетевшего несколько минут назад резкого беспощадного ветра делалась только глубже, он ничего не слышал, кроме собственного глухого сердцебиения, будто все это было лишь наваждением полусна, какой-то игрой, будто просто «кто-то меня напугать решил». Он тоскливо взирал на зловещее небо, на обуглившиеся ошметки лета, не доеденные прожорливой саранчой, и вдруг, присмотревшись к ветке акации за окном, увидал, как следуют чередой друг за другом весна, лето, осень, зима, как будто в застывшем кристалле вечности выкидывало свои фортеля само время, прочерчивая сквозь сутолоку хаоса дьявольские прямые, творя иллюзию высоты и выдавая блажь за неотвратимость... и увидал себя, распятого меж колыбелью и гробом, мучительно дернувшегося в последней судороге, чтобы затем, по чьему-то сухому трескучему приговору, в чем мать родила — без знаков различия и наград, — быть переданным мойщикам трупов, хохочущим живодерам, в чьих расторопных руках он уж точно познает меру дел человеческих, познает ее окончательно и бесповоротно, ибо он к тому времени уже убедится, что всю жизнь играл с шулерами в игру с заранее известным исходом, под конец которой он лишится последнего средства защиты — надежды когда-нибудь обрести дом. Повернув голову на восток, к строениям, когда-то шумным и полным жизни, теперь же пустынным и обветшалым, он с горечью наблюдал, как первые лучи раздутого красного солнца пробиваются сквозь стропила полуразрушенной, с ободранной крышей, фермы. «Надо решаться, в конце концов. Нельзя мне тут оставаться». Он снова забрался под теплое одеяло и подложил руку под голову, но не смог сомкнуть глаз: этот призрачный колокольный звон напугал его, но еще больше пугала внезапная тишина, угрожающее безмолвие, потому что он чувствовал, что в эту минуту может произойти что угодно. Но ничто вокруг не пошевелилось, он и сам лежал на кровати не шевелясь, пока между молчаливыми до сих пор окружающими предметами не завязался встревоженный разговор...»

1. Ф. Кафка, «Замок». Перевод М. Рудницкого. [↑](#footnote-ref-1)
2. Перевод Л. Мартынова. [↑](#footnote-ref-2)